

Тадеуш
Доленга-Мостович

Профессор Вильчур

Талантливый хирург, человек редкой души, Рафал Вильчур становится объектом разнузданной травли, организованной его бывшим учеником, ближайшим коллегой профессором Добранецким. Вынужденный покинуть Варшаву, Вильчур возвращается в глухую приграничную деревушку, где волей судьбы уже провел несколько лет и где его знали как знахаря. Здесь развиваются дальнейшие события романа, в центре которого жизнь профессора Вильчура – жизнь, полная любви к людям и самопожертвования.

Тадеуш Доленга-Мостович
Профессор Вильчур

Глава 1

Профессор Ежи Добранецкий медленно положил телефонную трубку и, не глядя на жену, внешне безразличным тоном сказал:

– В субботу у нас общее собрание Совета докторов.

Пани Нина, не отводя от него пристального взгляда, спросила:

– И что еще нужно было Бернацкому? Это же он звонил?

– А... мелочь. Некоторые организационные вопросы, – отмахнулся Добранецкий.

– Она слишком хорошо знала мужа, чтобы под маской безразличия не разглядеть тревогу, чувствовала, что на него снова свалилась какая-то неприятность, что он снова потерпел поражение, мучительное поражение, что ему опять не повезло и что все это он хочет скрыть от нее. Ах, этот слабый человек, не умеющий бороться! Позицию за позицией он сдает другим, и его все больше отталкивают в тень, в ряды серых, второразрядных докторов. В эту минуту она почти ненавидела его.

– Что нужно было Бернацкому? – спросила она подчеркнуто холодно.

Он встал и, шагая по комнате, снисходительно заговорил:

– Разумеется, они правы... Вильчур заслужил... А мне на отдых. Столько лет был председателем Совета... Но мы же не можем забыть, что Вильчуру причитается какая-то моральная компенсация за все его несчастья...

Пани Нина рассмеялась. В ее больших зеленых глазах сверкнула ирония. В искривленной линии губ, этих прекрасных губ, которые манили его даже на работе, выразилось почти отвращение.

– Компенсация?... Но он уже давно получил ее с избытком! Ты, наверное, ослеп! Отнимает у тебя одну должность за другой. Лишил тебя руководства клиникой, студентов, пациентов, доходов... Компенсация!

Добранецкий нахмурил брови и тоном, не терпящим возражения, произнес:

– Все это он заслужил. Вильчур – известный ученый, гениальный хирург.

– А кто же ты? Шесть лет назад, когда я выходила за тебя замуж, мне казалось, что ты сам считаешь себя лучшим хирургом и славой в науке.

Добранецкий сменил тон. Опершись о край стола, он наклонился над женой и ласково заговорил:

– Дорогая Нина, ты должна все-таки понять, что существуют определенные градации, определенная иерархия, разные способности и значимость людей... Как же ты можешь упрекать меня в том, что я достаточно самокритичен, что бы признать, что уступаю Вильчуру по многим позициям?... Хотя...

– Хотя, – поймала она его на слове, – не о чем говорить. Ты хорошо знаешь мое мнение по этому вопросу. Если у тебя не хватает достоинства и воли для победы, то у меня этого

достаточно. Меня не устраивает роль жены какого-то нуля. И предупреждаю тебя, если дойдет до того, что, в конце концов, ты будешь вынужден переехать в какое-нибудь Пикутково, я с тобой не поеду.

– Нина, не преувеличивай.

– О, именно этим все и кончится. Ты думаешь, я не знаю. Уже сейчас Вильчур покровительствует доценту Бернацкому. Они столкнут тебя! Мне не за что выкупить шубу у скорняка! Тебя, конечно, это не волнует, но я этого не потерплю! Я создана не для того, чтобы быть женой какого-то нищего. И предупреждаю тебя...

Она не закончила, но в ее голосе отчетливо прозвучала угроза.

Профессор Добранецкий тихо сказал:

– Не любишь ты меня, Нина, и никогда не любила...

Она покачала головой.

– Ошибаешься. Но любить я могу только настоящего мужчину. Настоящего, это значит такого, который умеет бороться и побеждать, который готов пожертвовать всем для своей любимой женщины.

– Нина, – произнес он с укором в голосе. – Разве я не делаю все, что только в моих возможностях?

– Ты ничего не делаешь. Мы становимся все беднее, с нами все меньше считаются, нас отодвигают в тень. А я не создана жить в тени, и помни, что я тебя об этом предупреждала!

Она встала и направилась к двери. Он окликнул ее:

– Нина!

Она повернулась. В ее глазах, еще минуту назад полыхавших гневом, он увидел ужасающий холод.

– Что еще ты хочешь мне сказать? – спросила она.

– Чего ты хочешь от меня?.. Как я должен поступить?..

– Как?.. – она сделала три шага ему навстречу и отчетливо произнесла: – Уничтожь его! Убери с дороги! Стань таким же беспощадным, как он, и тогда сможешь сохранить свое положение!

Она задержалась на минуту и добавила:

– И меня... Если для тебя это имеет какое-нибудь значение.

Оставшись один в комнате, он тяжело опустился в кресло и задумался. Нина никогда не бросала слов на ветер. А он понимал, что любит ее, что без нее жизнь утратила бы всю прелесть и потеряла бы всякий смысл для него. Когда шесть лет назад он просил ее руки, то имел основания считать, что не просит одолжения. Правда, он был значительно старше ее, но вполне преуспевающим, популярным, да и слава не обходила его. Здоровье его тоже не подводило.

Последние три года оказались для него роковыми. Служебные и материальные неудачи подорвали нервную систему. Он, действительно, скрывал от Нины повторяющиеся приступы желудочной боли, но не в состоянии был скрыть их результаты. Он все больше полнел, плохо спал, на отеком лице появились зеленые мешки под глазами.

Нина даже не догадывалась, как тяжело он переживает свое поражение. Упрекала его в отсутствии самолюбия, его, кто всю жизнь только и руководствовался амбицией, кого амбиция вынесла наверх!!

Падение началось в один из дней, когда нашли, когда он сам нашел пропавшего профессора Рафала Вильчура. Как хорошо он помнил этот день! Темный зал суда и на скамье подсудимых бородатый мужик в потрепанной сермяге, знахарь, сельский знахарь с приграничных районов, осужденный за врачебную практику, за операции, проведенные с помощью примитивных, заржавевших слесарных инструментов, за операции, которые спасли жизнь многим беднякам из забытой людьми деревни...

Знахарь...

Профессор Ежи Добранецкий единственный узнал в нем своего давнего шефа и учителя, профессора Рафала Вильчура, с исчезновением которого на протяжении нескольких лет постепенно, но уверенно добивался его положения в науке, в практике и в жизни.

Имел ли он тогда право утаить свое открытие? Имел ли право тем самым обречь Вильчура на жалкое существование в нищете, в неведении, кто он, каковы его фамилия, титулы,

происхождение?.. Сейчас профессор Добранецкий не хотел задумываться над этим. Он знал одно: тот памятный день три года назад стал проклятием в его жизни.

Рафал Вильчур легко справился с многолетней амнезией. Память вернулась к нему так же быстро, как когда-то была утрачена, а вместе с памятью все, что было его жизнью до случившейся трагедии. Он вернулся на свою кафедру, а Добранецкий взамен получил второстепенную. Вильчур принял руководство клиникой и хирургической клиникой университета. Более того, его возвращение получило огромный резонанс, который принес ему еще большую славу, авторитет и деньги.

Вот и сегодня снова настаивали, чтобы Добранецкий добровольно отказался от места председателя Совета докторов и предложил кандидатуру Вильчура, который может рассчитывать на единогласное избрание. Да, они все считают это само собой разумеющимся. Они – это коллеги, это пациенты, это слушатели медицинского отделения. Для них всех очевидно, что первенство принадлежит Вильчуру. Хотя и он сам, Ежи Добранецкий, минуту назад сказал жене, что тоже согласен с таким мнением, но это было неправдой.

Все в нем протестовало против действительности, против необходимости постоянного отказа от занятых позиций. Чем сильнее сгибали его неудачи, тем сильнее рос его гнев, отчаяние, ненависть. Он боялся говорить с Ниной об этом.

Боялся, чтобы ее пылкая и необузданная натура не зажгла в нем искру, от которой могут взорваться собравшиеся в нем пласты бунта.

А собиралось их все больше и больше. Сегодня Нина в первый раз открыто и безжалостно сказала, что ей не за что выкупить шубу. Правда, у нее их было много и без новой она с успехом могла бы обойтись, и все же ее слова он воспринял как пощечину. Он гордился тем, что никогда и ни в чем не отказывал ей, что засыпал ее дорогими подарками, что для нее купил этот особняк на Фраскатти, для нее содержал многочисленных слуг, шикарные автомобили, устраивал шумные приемы. Может быть, не только для нее, возможно, и для себя, но вершину блаженства он чувствовал тогда, когда видел в ее глазах такой знакомый горделивый блеск, чувство гордости от осознания первенства, которое обеспечивало ей в обществе положение и слава мужа.

Нина... Потерять ее... Сама мысль об этом была для Добранецкого невозможной. Но он знал, что, если не произойдет какое-нибудь чудо, катастрофа будет неизбежной. Вот уже три года его доходы тают непрерывно, а он не может решиться на сокращение расходов по дому. Если отсутствие денег вынуждало его ограничиваться, он ограничивал собственные расходы, стараясь скрыть это от жены. Работал все больше, делал все больше операций, не гнушаясь даже мелкими гонорарами, поступавшими от бедных пациентов. И все же долги росли. Для сохранения особняка пришлось взять приличную ссуду, а проценты выплачивать было нечем.

– Но это неважно, – грустно подумал он, – с этим я бы справился, мог бы даже перебраться в какое-нибудь более скромное жилище, если бы только Нина воспринимала ситуацию не столь драматично.

Сам Добранецкий мучительно переживал потерю своего высокого положения в обществе, которое, как ему казалось, он получил навсегда после исчезновения Вильчура.

Не далее чем вчера он пережил новое унижение: ни один студент не пришел на его лекцию. Он сбежал из актового зала, точно гнали его насмешливые взгляды пустых стен. Родилась мысль о самоубийстве. Все закончилось болезненным приступом боли в желудке, а потом целый день шум в ушах от чрезмерного количества принятой белладонны. К счастью, в тот день у него было несколько простых операций, которые не требовали особого напряжения, внимания и прошли нормально.

– Уничтожь его...

Так сказала Нина. Он грустно усмехнулся. Как же он мог уничтожить Вильчура!.. Разве хватать в университетских коридорах студентов и затаскивать их на свои лекции, или отыгрываться на тех молодых врачах, которые предпочитают ассистировать на операциях в клинике Вильчура, или забирать у него богатых пациентов... Он знал, что не выдержит конкуренции, хотя значительно дешевле берет за операции и – какой стыд – позволяет себе торговаться.

Он посмотрел на часы. Время приближалось к пяти. Сегодня Нина принимала гостей. Скоро они начнут собираться. Их приходило все меньше, потому что салон становился менее привлекательным для знакомых. Больше бывало лишь тогда, когда предварительно разносилась весть о том, что придет профессор Вильчур.

– Уничтожь его, – сказала Нина.

Уничтожить Вильчура – это значило уничтожить его известность, уничтожить веру пациентов в безошибочность его диагнозов, в уверенность и точность его руки.

Он встал и начал ходить по комнате. Были и другие способы – способы муравьиной, скорее кротовой, подрывной работы, кропотливого подкапывания с помощью использования тех слабых сторон, которые остались у Вильчура после перенесенной амнезии. Но Добранецкий брезговал такими средствами борьбы. Он знал, что Вильчур сохранил из своей практики знахаря приверженность к различным травам и мазям сомнительного происхождения. Знал он, однако, и то, что эти примитивные средства не могут принести вреда больным, и не оправдывал поведения Нины, которая не упускала ни одного случая, чтобы посмеяться над знахарством; она использовала свою привлекательность, чтобы заразить собственной иронией молодых врачей, бывающих в их доме.

Однако проводимая таким образом агитация против Вильчура приносила ничтожные результаты. По госпиталям и клиникам начали ходить анекдоты, в которых, когда они до него доходили, Добранецкий узнавал злое остроумие своей жены. Молодые врачи со свойственным их возрасту отрицанием всего, что не отвечает моде, охотно подхватывали эти иронические ноты, чтобы, снижая авторитет известного специалиста, повысить собственный. Иногда даже они категорически не советовали своим пациентам обращаться за консультацией к Вильчуру, но это были редкие случаи.

Две недели назад в нескольких варшавских газетах появились статьи и фельетоны, в которых были использованы те же анекдоты. Там, правда, не называлась фамилия Вильчура, но читатели легко могли догадаться, о ком идет речь. Автором этих публикаций Добранецкий не без основания считал Нину. В последнее время он часто встречал в доме журналистов, которые раньше никогда у них не бывали. Неожиданный интерес Нины к представителям прессы не мог ускользнуть от внимания Добранецкого.

Эта акция Нины оставляла не только неприятный осадок в душе. Была еще и грустная уверенность в бесполезности этих усилий.

– Уничтожь его, – повторила она, – если я тебе дорога...

Добранецкий, закусив губу, остановился у окна. Сквозь голые ветви осенних деревьев виднелся белый свет фонарей. Издалека доносился монотонный шум города. На мокром асфальте слышался шум автомобиля.

Вот и первые гости. Следовало переодеться.

Глава 2

Профессор Вильчур на минуту замолчал. Его взгляд медленно переходил с одного лица на другое в переполненном до отказа зале, где царил абсолютная тишина. Он чувствовал, что в этой аудитории каждое его слово попадает в сердце и в каждом сердце оно находит живой отклик.

– Потому что призвание доктора, – снова зазвучал его голос, – это творение самой благородной и бескорыстной любви к ближнему, какую Бог посеял в наших сердцах. Призвание доктора – это вера в братство, это свидетельство общности людей. И когда вы пойдете к людям, чтобы выполнить свое назначение, помните, прежде всего, об одном: любите!

Он постоял еще с минуту молча, потом улыбнулся, чуть-чуть кивнул головой и своим тяжелым шагом вышел из аудитории.

Сколько же раз, сколько сотен раз, закончив лекцию, мерил он шагами этот широкий коридор под бурю аплодисментов, которые раздавались в аудитории после его выхода. Но

сегодня была необычная лекция, и не об обычных вещах говорил профессор Вильчур своим слушателям. И сам он не был в своем обычном состоянии.

В последнее время до него доходили все более странные и мучительные слухи. Вначале они поразили его так глубоко, что он не мог в них разобраться. Они показались ему чем-то случайным, непонятным, даже абсурдным. И не потому, что касались его; если бы подобные оскорбительные мнения высказывались о профессоре Добранецком, о докторе Ранцевиче, Бернацком или даже о молодом Кольском, это потрясло бы его так же сильно. До сегодняшнего дня он не хотел и не мог поверить, что эта кампания злостной клеветы против него была организованной акцией и исходила из одного источника. Ведь у него не было врагов, поэтому и не верилось. Никому не желал он зла, никому не нанес обиды. Всю свою жизнь оставался верным тем принципам, о которых говорил сегодня, заканчивая свою лекцию.

– Это невозможно, – повторял он про себя, проходя по освещенному коридору.

Только у дверей деканата он взглянул на часы: было 11.00. К своему удивлению, в приемной он увидел несколько незнакомых ему посетителей. При его появлении они встали, а секретарь объяснил:

– Это представители прессы. Они хотели попросить у пана профессора интервью.

Вильчур улыбнулся.

– Еще мало вам? Мне казалось, что за три года вы сумели удовлетворить интерес всех читателей. Замучите вы их моей персоной и моими переживаниями.

– Нет, пан профессор, – ответил один из журналистов, – на этот раз речь идет о вашем новом пациенте.

– О пациенте? О каком пациенте?

– Это Леон Донат.

Вильчур развел руками.

– Что же я могу вам об этом сказать... Здесь нет ничего серьезного. Насколько я знаю из отчетов моих коллег, операция будет несложной и пациенту ничто не угрожает.

– Однако, пан профессор, это операция горла, горла, которое приносит несколько миллионов злотых в год. Ну, и популярность Доната. Пан профессор, вы понимаете, что эта операция представляет событие, интересующее не только Варшаву, но и всю Европу, да что там, весь мир. Что бы пан профессор ни рассказал нам сегодня, все будет сенсацией.

– Ну, хорошо, – согласился Вильчур. – Однако я должен уже ехать в больницу и по дороге смогу ответить на ваши вопросы.

Внизу ждал большой черный лимузин профессора. Они сели в него, и, пока автомобиль продвигался по запруженным людьми улицам, журналисты записывали в блокнотах выводы Вильчура.

В своей занятости только сейчас он понял, что именно на его клинику будет обращено внимание миллионов почитателей великого певца. Доктор Люция Каньская еще вчера сказала ему, что вся польская пресса с большим удовлетворением отметила весть о том, что Донат, не доверяя итальянским, французским и немецким хирургам, доверил операцию своего горла именно ему, профессору Вильчуру, и поэтому решил на далекое путешествие в Варшаву.

Хотя описания и снимки свидетельствовали, что по существу операция не представляла сложности, Вильчур не удивлялся опасениям певца, для которого голос был всем смыслом существования, а даже незначительное колебание руки хирурга во время операции лишило бы его славы и колоссальных доходов.

По приезде в клинику Вильчур заметил, что и здесь царит возбуждение. У ворот собралась огромная толпа в ожидании приезда певца. В холле и в коридорах было активное движение. Вильчур попрощался с журналистами и по пути в свой кабинет заглянул в комнату дежурного врача. Застав там медсестру, он спросил:

– Кто сегодня дежурит?

– Доктор Каньская, пан профессор.

– Это хорошо, – отметил про себя профессор.

У себя он застал профессора Добранецкого, что-то обсуждающего с молодым Кольским. Оба были возбуждены беседой, но сразу же умолкли, когда вошел Вильчур. Поздоровались, после чего Кольский кратко доложил состояние здоровья пациентов и закончил:

– Инженера Лигниса пан профессор собирался сегодня осмотреть сам. Пани Лясковская и пан Жимский также просили, чтобы пан профессор навесил их. Это все на третьем этаже. Тот несчастный, которого привезли с раздробленным тазом, перенес внутреннее кровоизлияние, и он в бреду. Мне кажется, что ему уже нельзя помочь.

– Благодарю вас, коллега, – ответил Вильчур и, взглянув на часы, добавил: – Я должен прежде всего осмотреть горло Доната. Подготовлена ли малая операционная?

– Да, пан профессор.

– Большую вы сегодня займете, наверное, часа на четыре? – обратился Вильчур к Добранецкому. Был бы рад, если бы вам удалось его спасти.

Добранецкий пожал плечами.

– Совершенно безнадежный случай. Один шанс из ста.

Когда Вильчур надевал халат, за окнами раздавались крики все громче и громче. Доктора улыбнулись и поняли все без слов. Однако Кольский заметил:

– Все-таки люди ценят искусство больше, чем здоровье. Ни одному из нас не подготовили бы такую овацию.

– Вы забываете, коллега, о профессоре Вильчуре и его популярности, – бросил Добранецкий.

– Популярностью я обязан не тому, что являюсь доктором, а тому, что был пациентом, – ответил Вильчур и вышел из кабинета. Сразу же после него ушел Кольский.

Добранецкий тяжело опустился в кресло. Его лицо как бы застыло в сосредоточенности. Спустя минуту нажал кнопку звонка. Вошла медсестра.

– В какую палату поместили Доната? – спросил он.

– В четырнадцатую, пан профессор.

– Моя операция в час?.. Прошу проследить, чтобы уведомили доктора Бернацкого. Спасибо, пани.

Когда сестра вышла, он встал и посмотрел на часы. Подождав полчаса, доктор вышел. На первый этаж вела широкая мраморная лестница. Четырнадцатая палата была рядом с ней. Он постучал и вошел. Донат передевался с помощью сестры. Увидев Добранецкого, он весело приветствовал его:

– О, профессор! Как я рад видеть вас. Будете меня сегодня резать?

– Добрый день, маэстро. Выглядите вы хорошо, – задержал руку певца в своей. – Но почему вы говорите это мне? Вы же сами пожелали, чтобы вас оперировал Вильчур. Не доверяете, дорогой маэстро, своему старому доктору.

– С полным доверием к вам, пан профессор, – натянуто улыбнулся Донат.

– Оставим в покое эти вопросы, – с легкостью согласился Добранецкий. – Лучше расскажите мне, как поживаете. Разумеется, не о своих артистических успехах – этим пестрит вся пресса, – а вот как насчет личных дел? Вы по-прежнему безудержно пользуетесь успехами у женщин?

Донат искренне рассмеялся:

– О, этого всегда мало! – у него загорелись глаза.

– Вы должны оберегать свое сердце от женщин в прямом и переносном смысле слова, – пошутил Добранецкий.

И у доктора были основания говорить так. Несмотря на свой цветущий вид, почти атлетическое сложение, живой темперамент, Донат с детских лет не отличался здоровым сердцем. Его мать, пользуясь дружескими отношениями с Добранецким, неоднократно обращалась к нему за советом по поводу здоровья сына.

Донат оживленно рассказывал как раз о каком-то своем новом приключении, когда постучали в дверь. Вошла доктор Каньская. В соответствии с распорядком она должна была осмотреть уже подготовленного к операции пациента. Однако, увидев у пациента профессора, задержалась у двери.

– Вы меня ищите? – спросил Добранецкий. – Хорошо, что увидел вас. Будьте так любезны, осмотрите там моего старичка. Вы знаете, палата 62. Скоро ему на операцию. Пара общеукрепляющих уколов, если сочтете нужным, пригодилась бы ему. Спасибо вам, поспешите.

Доктор Люция хотела о чем-то спросить, но Добранецкий уже повернулся к Донату:

– И что же дальше, маэстро?

– Очень красивая девушка, – заинтересовался Донат. – Она доктор?

– Да, это наш молодой терапевт, – объяснил Добранецкий.

Спустя несколько минут появился доктор Кольский с санитаром.

– Уже пора, маэстро, в операционную. Операция началась в точно назначенное время. Операцию нельзя было отнести ни к разряду сложных, ни к тяжелым. Однако с целью безопасности для горла пациента местная анестезия была противопоказана, и Доната подвергли общему наркозу.

Ассистировали доктор Янушевский и доктор Кольский. Яркий свет прожектора отражался в зеркальном диске и освещал горло оперируемого изнутри. С правой стороны, за железой, выступала более темная, чем слизистая оболочка, опухоль в форме половинки лесного ореха. Правда, сейчас она не мешала пению Доната и, как доброкачественная опухоль, не могла угрожать его здоровью, однако в последнее время увеличивалась, поэтому безопаснее было ее удалить. По возможности нужно было разделиться с двумя небольшими спайками, оставшимися после прошлогоднего воспаления горла. Все вместе по расчетам профессора Вильчур не должно было занять более 25-30 минут.

В тишине операционного зала электрические часы с неизменной точностью выбивали секунды. Большая стрелка как раз приближалась к одиннадцатой минуте, когда доктор Кольский, следивший за пульсом пациента, резко повернулся к стоящей за ним сестре и сделал нетерпеливый знак рукой.

Слов не нужно было.

Опытные пальцы сестры уже наполнили шприц, и спустя минуту игла погрузилась под кожу пациента. Пробежали еще две минуты, и процедуру нужно было повторить.

На восемнадцатой минуте профессор Вильчур вынужден был прервать операцию.

Операционная наполнилась топотом быстрых шагов. Тележка с кислородным аппаратом. Искусственное дыхание. Снова уколы.

На двадцать пятой минуте пациент умер.

Причина смерти не вызвала никаких сомнений. Все было ясно: сердце оперируемого не выдержало наркоза. Профессор Вильчур снял перчатки и маску. Его лицо застыло в каком-то каменном выражении. Ему не в чем было себя упрекнуть, но смерть человека в его клинике во время проводимой им операции, к тому же несложной, была для него ударом. Он не задумывался еще в эти минуты над тем, какой резонанс будет иметь этот трагический случай и что повлечет за собой. Для него лично страшно было то, что в клинике, которой он руководил, из-за какого-то непонятого недосмотра, чьей-то ошибки или недобросовестности не стало человека, который еще полчаса назад, улыбающийся и полный доверия, рассказывал ему о своем здоровье и жизни.

Во взглядах персонала Вильчур обнаружил отражение собственных мыслей. Он молча вышел из операционной. Снимая в гардеробе халат, он чувствовал непомерный груз на плечах и нечеловеческую усталость.

В своем кабинете Вильчур застал почти весь персонал клиники: доктора Ранцевича, доцента Бернацкого, у которого начался нервный тик, Добранецкого с папиросой, Кольского, бледного, с хмурым лицом, Жука, доктора Люцию Каньскую и еще несколько человек. Здесь царил молчание. Профессор приблизился к окну и спустя минуту, ни на кого не глядя, спросил:

– Кто из вас сегодня дежурил?

После короткой паузы раздался дрожащий и тихий голос доктора Каньской:

– Я, пан профессор.

– Пани? – с некоторым удивлением спросил Вильчур. – Вы обследовали его перед операцией?

Он повернулся и смотрел на нее с осуждением в глазах. Именно она, та, к кому он питал самую большую симпатию, которой доверял больше, чем всем, и которой предсказывал как молодому доктору прекрасное будущее, именно она совершила эту страшную оплошность...

– Вы забыли его обследовать?

Доктор Люция покачала головой.

– Я не забыла, пан профессор, но, когда я пришла в его палату, там был пан профессор Добранецкий. Пан профессор сказал мне обследовать другого пациента... поэтому я думала, что Доната он уже обследовал сам... Я так поняла, так мне показалось. Взгляды присутствующих устремились на Добранецкого, который слегка покраснел и пожал плечами.

– Вы обследовали его, коллега?

В глазах Добранецкого сверкнула злоба.

– Я? С какой стати? Это ведь относится к обязанностям дежурного терапевта.

Его надменно поднятая голова и вытянувшееся лицо выражали возмущение.

– Мне казалось... – начала доктор Люция, глотая слезы, – я подумала...

– И что из этого следует? – с иронией спросил Добранецкий. – Вы всегда выполняете свои обязанности, обязанности, от которых зависит жизнь пациента, только тогда, когда вам ничего не кажется, когда у вас не складываются какие-то впечатления?..

Доктор Люция кусала губы, чтобы не разрыдаться. В тишине раздался возбужденный голос доктора Кольского:

– Я встретил коллегу в коридоре, и она сказала мне, что пан профессор все сделал... Что пан профессор лично знаком с Донатом...

Добранецкий нахмурил брови.

– Да, я зашел к нему, как к старому знакомому, чтобы поддержать его. Разумеется, я бы обследовал сердце, если бы мне могло прийти в голову, что пани так легкомысленно относится к выполнению своих обязанностей.

По лицу Люции текли слезы. Губы ее дрожали, когда она говорила:

– Не легкомысленно... Я была уверена, что... Не могу присягнуть, но почти уверена, что вы дали мне понять, что сами займетесь этим, потому что... Я... никогда.

Последние слова смешались и растворились в рыдании...

– Если здесь и есть чья-то вина, – взорвался Кольский, – то, во всяком случае, не панны Люции!

На лице профессора Добранецкого выступили темные пятна. Он сделал шаг назад и выкрикнул:

– Ах, так?! Значит, здесь такие методы? Я вижу, что затевается против меня какая-то интрига! Хотите свою вину свалить на меня! Может быть, я должен отвечать за отсутствие дисциплины в клинике, за необязательность отдельных привилегированных лиц из персонала?.. Было бы возмутительно, если бы не коренился во всем этом очевидный абсурд. О нет, мои дорогие! Я не боюсь интриг и клеветы. Я не боюсь ответственности, когда она, действительно, лежит на мне. Но сейчас, когда вы вынуждаете меня, я не собираюсь дальше скрывать то, о чем думаю. Да, я скажу открыто. На протяжении ряда лет я руководил этой клиникой, и у меня подобные случаи были абсолютно исключены. У меня господствовала дисциплина, у меня никто не пользовался каким-то особым отношением, у меня каждый нес ответственность за выполнение своих точно определенных обязанностей. Может быть, поэтому меня считали слишком суровым и требовательным начальником, но зато тогда не играли жизнью людей!.. Вот как раз Донат и является жертвой этих случаев, которые господствуют здесь сейчас. Они убили Доната, и, слава Богу, не я несу за случившееся ответственность!..

Не только произнесенные слова, но и поза, взгляд и выражение лица Добранецкого дышали осуждением всех собравшихся в кабинете.

В тишине раздался голос профессора Вильчура:

– Я попросил бы коллегу успокоиться и не выносить приговоры. Никто здесь не плетет против вас интриги, никто не сомневается в ваших заслугах, никто не обвиняет вас. За все, что происходит в клинике, несу ответственность я.

– Вот именно. И я так думаю, – иронически усмехнувшись, ответил Добранецкий, кивнул головой и вышел из кабинета.

После смерти Доната на операционном столе в клинике воцарилось подавленное настроение. Весть о случившемся, конечно же, быстро донеслась до города, и не прошло и часа, как холл клиники наполнился журналистами и фоторепортерами.

Смерть Леона Доната, тенора, который как раз находился в зените славы, должна была потрясти весь мир. Поскольку смерть наступила при столь неожиданных обстоятельствах,

событие это становилось сенсационным. Старательно работали карандаши репортеров, собирая крупницы информации у врачей, сестер и даже у служащих клиники. Только профессор Вильчур не хотел принять никого из репортеров, сообщая, что ему нечего сказать. Зато его заместитель, профессор Добранецкий, охотно дал интервью. В нем он со всей лояльностью дал свою оценку и признание профессора Вильчура, как известного хирурга и добавил, что проведенная им операция не могла закончиться летальным исходом и не закончилась бы, если бы не отдельные недостатки в организации работы клиники. Мимоходом отметил также, что раньше подобное не встречалось, как в те времена, когда клиникой руководил еще молодой тогда и не обремененный тяжестью глубоких переживаний профессор Вильчур, так и тогда, когда он сам, профессор Добранецкий, был здесь руководителем.

– Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, – сказал он. – Руководство таким учреждением требует очень много сил, нерастраченной энергии, не ослабленной трагическими переживаниями твердости. Каждый из нас, врачей, отдает себе отчет, по крайней мере, должен отдавать отчет в том, что несет большую ответственность за жизнь вверенных ему пациентов, что свою благородную миссию может выполнить только тогда, когда сам полон духовных и умственных сил, которые, впрочем, с течением времени исчерпываются, даже в тех случаях, когда жизнь протекает нормально. Поэтому со всей убежденностью должен стать на защиту профессора Вильчура и считаю, что имею право требовать для него снисхождения.

– Господа, – продолжил он, – ваши читатели хорошо знают, какие тяжелые переживания вырвали профессора Вильчура на долгие годы из нормального образа жизни. Поверьте мне, что факт многолетней амнезии, потери памяти, и прозябания в нужде, в страшных условиях среди простолудинов не может не отразиться на психике, на умственных способностях и на воле человека. И так заслуживает восхищения то, что профессор Вильчур нашел себе достойный источник силы духа, что спустя столько лет сумел перейти от практики знахаря, от самых примитивных способов лечения к руководству большой клиникой, где и молодого, энергичного человека могли бы испугать чрезмерно сложные организационные решения, требующие неустанной бдительности и постоянного контроля. Убедительно прошу вас, господа, подчеркнуть мое большое уважение к профессору Вильчуру, который в своем возрасте, когда любой другой доктор, жизнь которого протекала нормально и спокойно, ищет отдыха, все еще занимает руководящее положение.

Прощаясь с журналистами, профессор Добранецкий условился, что интервью будет опубликовано как можно точнее.

– Я не могу, разумеется, оказать влияние на характер и качество комментария журналистов по поводу этого случая. Однако мне бы не хотелось, чтобы в результате искажения высказанных мной мыслей кто-нибудь из читателей сделал неправильные выводы о моем отношении к случившемуся.

К пяти часам вечера на улицах Варшавы появились экстренные выпуски, сообщающие о смерти известного тенора. Корреспонденты зарубежных газет прислали длинные телеграммы. Все международные линии телефонов на Берлин, Вена, Париж долгое время были заняты.

В городе ни о чем другом не говорили. В экстренных выпусках сообщались только сухие факты, но сами заголовки уже содержали осуждение: "Великий певец Леон Донат умер под ножом профессора Вильчура", "Не обследовано перед операцией сердце", "Жертва преступной халатности в клинике профессора Вильчура"...

Варшава бушевала. Перед зданием клиники собралась многотысячная толпа почитателей таланта умершего певца. Оттуда раздавались резкие окрики в адрес профессора Вильчура и вообще персонала. Чуть было не избил выходившего из клиники доктора Жука, а полиция с трудом справилась с толпой, чтобы дать возможность проехать "скорой помощи", которая привезла какого-то пациента.

В самой клинике воцарилось похоронное настроение. Пожалуй, один только профессор Вильчур не прервал своих ежедневных занятий. Старался не замечать выражения лиц подчиненных, их нервозности, казалось, не знал о волнении в городе, казалось, не слышал криков возмущенной толпы под окнами.

Он как раз закончил вечерний обход пациентов и спускался вниз в тот момент, когда привезли нового. Ассистирующий профессору доктор Кольский хотел заняться его приемом, но Вильчур сам подошел к врачу "скорой помощи", чтобы принять больного. С носилок, с которыми два санитаря направились в приемный покой, раздавались тихие стоны, путь отмечался густыми каплями черной крови.

– Что с ним? – спросил профессор Вильчур.

Врач "скорой помощи" объяснил:

– Ножевая драка, состояние безнадежное, несколько глубоких ран грудной клетки и живота. Только немедленная операция как-то может помочь. Поэтому я привез его к вам, здесь ближе.

– Прошу его сразу на стол, – обратился Вильчур к доктору Кольскому.

Доктор задержался на секунду.

– Его будет оперировать доктор Ранцевич?

– Нет, я сам займусь им, – ответил Вильчур.

Кольский побежал сделать распоряжения, затем проследил, чтобы с раненого сняли его лохмотья. Это был какой-то бродяга. На его давно не бритом лице было несколько неглубоких кровоточащих ран. Он умирал. Неровное дыхание с запахом алкоголя почти прекратилось.

Операционная была готова. Пришла доктор Люция, бледная, с покрасневшими от слез глазами.

– Идите домой, – мягко обратился к ней Кольский. – Я обо всем позабочусь. А здесь даже нечего обследовать. Не знаю даже, донесут ли его до операционной.

Подошел профессор Вильчур. Он наклонился над пациентом и выпрямился, протирая рукой глаза.

– Кто он? Я знаю этого человека. Я, наверное, видел его когда-то.

– "Скорая помощь" сообщила только имя и фамилию, – пояснил Кольский. – Его зовут Циприан Емел.

– Емел? – повторил профессор. – Откуда я знаю его?

На пороге появился санитар и сообщил, что все готово. После снятия временных бинтов оказалось, что раны были не так глубоки и не столь опасны, как определил врач "скорой помощи". Только одна была особенно опасной. Острие ножа рассекло брюшную полость и довольно широко желудок. Легкие были не затронуты, зато большая потеря крови представляла серьезную опасность.

– Второй труп на протяжении одного дня в этой операционной, – прошептала сестра доктору Кольскому. – Зачем профессор сам делает эту операцию?

Кольский ничего не ответил. Тем временем профессор Вильчур своими большими, казалось, неуклюжими руками с поразительной ловкостью зашивал одну рану за другой. Однако мысль его все время работала, как бы отыскивая в памяти портрет этого человека.

– Емел, – повторял он про себя. – Циприан Емел... Я совершенно уверен, что знаю его.

Операция была закончена. Пациента забрали со стола живым. Искорка жизни, которая теплилась в нем, могла легко угаснуть или вновь разгореться. Его поместили на четвертом этаже в отделении для бесплатного лечения, а профессор Вильчур должен был прямо из операционной отправиться в канцелярию, где его уже ждал комиссар полиции и судебный следователь.

Власти под давлением общественности должны были обстоятельно расследовать причину смерти Доната. Профессора Вильчура проинформировали о том, что в акты уже внесены показания всех основных лиц, имеющих отношение к делу, а судебный следователь дал ему понять, что тяжесть обвинения ложится на доктора Люцию Каньскую, которая при расследовании и сама не отрицала своей вины. Это подтверждают также показания профессора Добранецкого, который, однако, причину видит вообще в организационных беспорядках, имеющих место в клинике.

Сколько усилий и аргументов должен был привести профессор Вильчур для того, чтобы убедить их, что доктор Каньская не несет здесь никакой ответственности, что профессора Добранецкого тоже нельзя в чем-нибудь обвинить. Главная причина – недоразумение и только недоразумение. О чем-то злом умысле здесь не может быть и речи, но

недоразумения подобного типа, конечно, не должны происходить в клинике, и Добранецкий прав, считая причиной смерти Доната плохую организацию.

– За организацию работы здесь отвечаю я, – закончил профессор Вильчур, – и только я виноват во всем.

– Разумеется, пан профессор, – сказал судебный следователь, – складывая бумаги в портфель, – здесь не может быть и речи о каком-то уголовном процессе. Однако вы должны быть готовы к тому, что близкие покойного Леона Доната или страховое общество, в котором покойный был застрахован, могут предъявить финансовые претензии. Я бы посоветовал вам, пан профессор, предварительно поговорить по этим вопросам со своим адвокатом.

– Благодарю вас, пан следователь, – сказал Вильчур.

Уже было десять часов, когда Вильчур вышел из клиники. Внизу увидел ожидавшую его Люцию. Ее вид растрогал его. И он подумал, что эта бедная, расстроенная девушка, подавленная событиями, в которых она по воле случая оказалась, может совершить что-нибудь необдуманное.

Он улыбнулся и взял ее под руку.

– Ну, милая пани, больше стойкости, больше стойкости. Нельзя так убиваться. Ни один человек не может быть абсолютно уверен в безошибочности своих действий. И ни один врач. Случилось, надо сожалеть об этом, надо удвоить внимание с этого момента, но нельзя впадать в депрессию.

Люция покачала головой.

– Нет, пан профессор. Это не депрессия. Это отчаяние при мысли о том, что пан профессор может действительно поверить в мою недобросовестность. Все обстоятельства складываются против меня... Мне бы так хотелось, чтобы вы позволили мне объясниться... Вильчур сильнее прижал ее руку.

– Но, дорогая панна Люция...

– Нет, нет, пан профессор, – прервала она. – Если быть объективной, я заслуживаю осуждения и знаю, что вы сейчас не сможете, не захотите пользоваться моим сотрудничеством. Но для меня важно только то, чтобы вы поверили мне, чтобы вы не сомневались... Моя вина не в халатности и не в легкомыслии... Возможно, только слишком большая вера в добрую волю и лояльность, профессора Добранецкого.. Я отвечу за все последствия... Если я даже лишусь права на практику, пусть будет так!.. Только поверьте мне...

– Милая пани, но я верю, верю, – убежденно заговорил Вильчур. – И можете быть спокойны, у вас никто и ничего не отнимет, вы останетесь в клинике, как и прежде, и мое доверие к вам не уменьшится ни на йоту.

Какое-то время шли молча, и вдруг Вильчур заговорил непривычным для него суровым тоном:

– Вы молоды, очень молоды, поэтому я прощаю вас, и это единственная истинная вина, за которую вы отвечаете. Единственное, в чем вы провинились сейчас... Я постараюсь забыть, что вы хоть на минуту могли усомниться в доброй воле профессора Добранецкого или какого-нибудь другого доктора. Доктор может ошибаться, но нет на свете такого, слышите, нет такого доктора, который по каким-либо причинам может допустить опасность смерти пациента. Это вы, как доктор, должны понять... Вы должны в это верить! С того момента, когда вы перестанете верить, следует перестать быть доктором.

– Я только хотела сказать, пан профессор, – отозвалась Люция, – что профессор Добранецкий...

– Не будем больше говорить об этом, – решительно прервал ее Вильчур. – Сохрани вас Бог объясняться с кем-нибудь... Ну, давайте оставим это... Видите, какая прекрасная ночь, сколько звезд.

Он наклонился к ней с улыбкой.

– Люблю осень. Люблю осень. А пани?

Глава 3

Содержание утренних газет заставило покраснеть пани Нину Добранецкую. Она распорядилась принести ей все. Среди них не было ни одной без интервью с ее мужем. Почти все содержали острые, осуждающие комментарии о преступной халатности в клинике, где ранее на протяжении многих лет царил образцовый порядок и высокий медицинский уровень. Одни газеты выступали с предложением отставки профессора Вильчура, другие выражали опасение в том, что если в этой клинике с такой халатностью отнеслись к богатому пациенту, известному во всем мире, то какой же подход к рядовым пациентам. Все публикации отмечали также, что многолетняя амнезия профессора Вильчура не могла не оказать влияния на нынешнее состояние его духовных сил; как доказательство приводилось оставшееся пристрастие знахаря к использованию трав, даже таких, которые официально наука уже давно признала бесполезными или вообще вредными. Данное мужем интервью показалось пани Нине слабым. Этот человек упустил блестящий случай для полного уничтожения противника и удаления его с горизонта. Не нужны были эти претенциозные комплименты в адрес Вильчура. Следовало выразительнее подчеркнуть его возраст и привести какой-нибудь пример проявления возврата амнезии. Просмотрев газеты, пани Нина нажала кнопку звонка.

– Пан профессор уже встал? – спросила горничную.

– Пан профессор ушел час назад.

– Час назад? – удивилась пани Нина.

Вчера она не видела мужа. О смерти Доната она узнала из экстренных выпусков.

Неоднократно пыталась дозвониться мужу, однако в клинике ей все время отвечали, что он подойти не может. Домой он возвратился поздно ночью, когда она уже спала. А сейчас, около восьми, вышел из дому, чего никогда не делал.

– Можешь идти и приготовить мне ванну, – отправила она горничную.

Пани Нина решила действовать. Прежде всего, следовало узнать, какой резонанс среди знакомых вызвали статьи из утренней прессы, и постараться как можно критичнее настроить разных влиятельных лиц к персоне Вильчура. Это было нетрудно в той атмосфере, какую создал случай. Каждый из собеседников пани Нины понимал, что она, как жена заместителя и самого близкого коллеги Вильчура, может располагать более точной и обширной информацией о ходе операции и причинах смерти Доната, чем пресса. И пани Нина оправдала их ожидания. У нее были широкие связи, и она умела говорить убедительно. В результате комментарии и сплетни вокруг трагического случая все нарастали, приобретая форму самых фантастических гипотез, домыслов и подозрений. Варшава была настолько пропитана этим событием, что оно не могло уйти также с газетных полос. Это не была кампания, направленная прямо против личности профессора Вильчура, хотя по существу была нацелена на его позицию в мировой медицине и на его известность хирурга.

Пани Нина не принадлежала к тем людям, которые неразборчивы в средствах борьбы. Не принадлежала она и к тем, кто останавливается, прежде чем сделать шаг, если этот шаг мог приблизить ее к цели. Спустя несколько дней как раз по этому поводу у нее с мужем произошел острый конфликт.

Профессор Добранецкий во время консилиума у одного из пациентов услышал от доктора Гриневича такое бессмысленное обвинение по адресу Вильчура, что из приличия вынужден был ему возразить. Упрек заключался в том, что якобы Вильчур в некоторых случаях вместо лечения пользуется знахарским "заговариванием". Добранецкий в какой-то момент даже подумал, что Гриневич просто провоцирует его.

– Чепуха это, пан коллега, – ответил он скривившись. – Как вы можете верить в подобные глупости?

– Моя сестра слышала это от вашей жены, – ответил доктор.

Добранецкий буркнул что-то о недоразумении, которое, должно быть, произошло, однако, вернувшись домой, стал отчитывать жену.

– Ты, действительно, не знаешь меры, у тебя отсутствует чувство здравого смысла. Ты же только компрометируешь меня таким образом. Нельзя убеждать людей в абсурде, которому ни один нормальный человек не поверит.

Пани Нина пожала плечами.

– Однако видишь, поверили.

– Или делают вид, что поверили, – подчеркнул он.

– Дорогой мой, будь уверен, если о ком-то говоришь плохо, тебе всегда верят.

– Однако я прошу тебя, Нина, останови свою кампанию. Вильчур прекрасно понимает, кому может понадобиться испортить его репутацию. В его поведении по отношению ко мне я заметил в последние дни больше сдержанности и холода. Если его выведут из равновесия, он может мне серьезно навредить.

– Каким образом?

– Очень простым, обвинив меня в проведении клеветнической кампании против него.

Она иронически улыбнулась.

– Обвинить перед кем?

– Это не имеет значения. В ученом совете, в Совете докторов и даже в прессе. Не забывай, что он все еще пользуется большим авторитетом. А одна операция со смертельным исходом... не может разрушить такой авторитет.

Профессор Добранецкий был прав. Смерть Доната не смогла сокрушить авторитет профессора Вильчура, однако серьезно поколебала его. Наиболее откровенно это прозвучало на собрании Совета во время выборов.

Положение Вильчура все еще оставалось настолько прочным, что Добранецкий счел само собой разумеющимся снять свою кандидатуру, а на место председателя выдвинуть кандидатуру Вильчура. Началось голосование, и Вильчур был избран. Если бы собрание проходило двумя неделями раньше, избрание было бы единогласным, сейчас же профессор прошел только незначительным большинством голосов при нескольких воздержавшихся. Вильчур на собрании отсутствовал. Глубоко озабоченный своими проблемами, он просто забыл о нем. Получив сообщение о результатах, профессор написал короткое письмо в Совет, объясняя, что председателем быть не может по причине усталости, а также потому, что общественные посты должны занимать молодые люди. В действительности же его волновала лишь мысль о том, что, приняв выбор, он вынужден был бы встречаться с теми людьми, которые голосовали против него, которые поверили гнусной клевете и сплетням, носившимся по городу, находившим отражение в газетах и журналах.

Были у него и другие заботы. Как раз в один из последних дней недели к нему обратился представитель страхового общества, в котором был застрахован Донат на крупную сумму. Общество придерживалось мнения, что ответственность за смерть певца несет профессор Вильчур и он должен уплатить страховую квоту. Для Вильчура это означало разорение. Несмотря на это, не задумываясь, он заявил, что готов возместить сумму полностью. Мог ли он согласиться на процесс, экспертизу, на вытаскивание на свет божий всех тех подозрений, которые скопились не только у него самого, но и у Люции Каньской, и у Кольского, наверное, и у других? Они должны были бы предстать перед судом и, наверное, кто-нибудь из них затронул бы эти вопросы, выступил бы с этими подозрениями, сама мысль о которых вызывала у Вильчура тревогу и отвращение. Нет, на это он согласиться не мог.

Таким образом, он лишился почти всего своего состояния. Клиника, вилла, дом на улице Пулавской – все это перешло в собственность страхового общества. Дирекция этого общества, продемонстрировав доброжелательность, оставила Вильчура во главе клиники и назначила ему довольно высокое жалованье, а также оставила пожизненное право занимать виллу. Дело было решено спокойно и без широкой огласки, что для Вильчура было важнее всего. С виду ничего не изменилось. О том, что Вильчур перестал быть в клинике всевластным хозяином и был в зависимости от председателя страхового общества Тухвица, никто не знал.

Собственно, сам Вильчур тоже не чувствовал этой перемены. Он давно уже не придавал большого значения деньгам. В прежние годы, когда была еще с ним его жена, блаженной памяти Беата, он мог работать по многу часов в сутки, верил, что с помощью роскошных автомобилей, дорогих мехов и драгоценностей может доставить ей радость, подарить счастье. И вот однажды она оставила все это, оставила и ушла, забрав маленькую Мариолу. С ее уходом развеялись его иллюзии. Все прежние усилия, тяжелая и упорная борьба за

улучшение быта показались ему смешным недоразумением, бессмысленным трудом, трагической ошибкой.

А потом пришли годы... совершенно иные годы... Кто знает, не следует ли их благословить, годы, проведенные на дорогах скитаний, годы, проведенные среди добрых людей, когда работа с топором в руке или тяжелым мешком на спине была работой ради простого куска хлеба... Потеря памяти... Да. На протяжении многих лет не знал, кто он, откуда, не знал свою фамилию, имя. А не была ли для него потеря памяти тогда благодеянием? Не должен ли он благословить Бога за то, что он лишил его возможности помнить прошлое, осознать смертельную рану в безумно любящем сердце, полученную из-за женщины, безгранично любимой женщины...

Из прошлого осталась у него только Мариола... Осталась ли?..

За три года, после того как она вышла замуж, он видел ее только один раз и не обижался за это ни на нее, ни на Лешека. Что ж, у каждого своя жизнь. Птенцы покидают свои гнезда, выют свои и уже никогда не возвращаются в старые. Дочь с мужем поселились в Америке и, хотя пишут часто, в их письмах все больше ощущается расстояние многих тысяч километров и иные, чужие условия жизни, которые отделяют их от него.

— Я им не нужен, — думал Вильчур, — а при их состоянии они даже не почувствуют того, что после меня не осталось наследства.

После смерти... Впервые пришла мысль о том, что он уже старый. До сих пор масса ежедневной работы и его неисчерпаемая энергия заслоняли тот факт, что он приближается к возрасту, в котором большинство людей думает уже только о смерти. Когда прочел эти слова в интервью Добранецкого, они показались ему такими смешными и жалкими, впрочем, как и все его коварные излияния. Однако проходили дни и недели, а он все больше думал о своей старости.

Правда, как и прежде, ежедневно в семь часов был уже на ногах, а в восемь часов в клинике, но после обеда чаще сидел дома, преимущественно в одиночестве.

Он чувствовал себя уставшим. Постоянные нападки, на которые он не отвечал, отражались на состоянии его нервной системы, на его самочувствии.

Как раз в это время он начал пить. Это не было дурной привычкой. Просто старый, опытный Юзеф, слуга Вильчура, как-то предложил ему выпить рюмочку коньяку.

— Вы замерзли немного, пан профессор. Это вам поможет.

С того дня, когда в послеобеденные часы он усаживался в кабинете у камина, всегда рядом с кофе на столике стоял коньяк. Несколько рюмок разогревали его и позволяли уйти от тягостной действительности, создавали иллюзию безмятежности и удовлетворения. А прежде всего успокаивались нервы, которые в последнее время нуждались в покое.

Постоянные нападки на Вильчура должны были оказать свое влияние и на его окружение. В клинике, как он заметил, часть персонала относилась к нему критически и явно симпатизировала Добранецкому, возможно, по убеждению, а может быть, для того, чтобы приблизиться к нему, предвидя, что скоро он вновь придет к власти.

Отношение Вильчура к Добранецкому внешне не изменилось. Вынужденные ежедневно встречаться в клинике, они по-прежнему советовались друг с другом, проводили консилиумы и заседания. Однако оба старались ограничить контакты до минимума. Избегали также какого бы то ни было спора. Поэтому, когда профессор Добранецкий сказал секретарю, чтобы больше не назначали ему пациентов с четвертого этажа (бесплатное отделение), Вильчур принял это заявление спокойно и с того времени сам проводил обход этих больных.

Именно в этом отделении его встретило неожиданное переживание. Во время одного из обходов он узнал человека, которого привезли под фамилией Циприана Емела, а скорее, Емел узнал Вильчура.

Было это так. Профессору сообщили, что пациент пришел в себя. Когда Вильчур вошел в палату и наклонился над больным, тот открыл глаза и долго всматривался осознанным взглядом в лицо профессора, потом чуть-чуть улыбнулся и сказал:

— Хау ду ю ду, далинг.

— Откуда я знаю вас? — спросил Вильчур. Пациент усмехнулся, открыв гнилые зубы.

— Нас представил церемониймейстер на приеме у княжны Монтекукули.

Профессор рассмеялся.

– Действительно, узнаю ваш голос и манеру говорить.

– Это несложно, мон шер. У меня обычай менять голос только раз в жизни: в период отроческой мутации. Что же касается манеры разговаривать, то не перестаю быть изысканным. Профессор подвинул себе стул и сел.

– Однако это случилось давно, очень давно, – задумчиво произнес Вильчур. Емел прикрыл глаза.

– Если бы еще мог удивляться чему-нибудь на этом свете, то удивился бы, что не встречаемся на том. Что за стечение обстоятельств! Благодетель, если мне не изменяет память, много лет тому назад вас лишили возможности продолжать брэнное существование и отправили ад патрес. Меня несколько душевных приятелей отправили в том же направлении недавно. И вот мы встречаемся в теплой больнице. Пан доктор?

– Да, – ответил Вильчур. – Я оперировал вас. Вас жестоко порезали.

– Мне очень жаль, что я затруднил вас, сеньор. Миле грация. Но поскольку вы доктор, прежде всего скажите мне, не отрезали ли вы мне какой-нибудь конечности.

– Нет. Вы будете совершенно здоровы.

– Это довольно приятная новость. Приятная для Дрожжика, который, наверное, там тоскует обо мне и выплакивает свои прекрасные очи. Может быть, вспоминаете Дрожжика, дотторе?

– Дрожжика? – профессор поднял брови...

– Да, май дия, говорю об известном истэблишмент Дрожжик, ру Витебская квинз... Ресторан с точки зрения донощикиков зачислен в третий разряд, но перворазрядный с товарищеской, бытовой и нравственной точки зрения. Истэблишмент Дрожжик. Ни о чем это вам не говорит? Рандеву эlegantной Варшавы. Хай лайф... Именно там мы имели честь и удовольствие...

Профессор Вильчур потер лоб.

– Неужели?.. Это вы... вы тогда затронули меня на улице?..

– Си, амиго. Точно так, именно так. Мы вошли к Дрожжику, чтобы за рюмкой сорокапятипроцентного раствора алкоголя решить некоторые абстрактные понятия, что нам вполне удалось. Насколько я припоминаю, у вас тогда были какие-то неприятности и, к сожалению, толстый бумажник в кармане. С того дня пользовался вашим советом как аргументом, многократно провозглашая добродетель бедности. Я всегда считал, что богатство не приносит счастья. Если бы у вас тогда не было столько денег, вас бы не угостили ломом по голове и не бросили бы в карьер.

Емел взглянул в глаза Вильчура и добавил:

– Нет, майн херр, я не принимал в этом участия. Узнал я обо всем назавтра. Районные новости, легенда, Еще одна легенда для размышлений – исчезновение вещей. Вильчур непроизвольно потянулся рукой к темени, на котором остался шрам.

– Значит, это было так?

– Да, командир. Мне и не снилось, что я когда-нибудь еще встречу тебя. С того дня профессор часто навещал Емела, который довольно быстро поправлялся, и поручил его заботам панны Люции, а она взялась за это с удвоенным усердием. Вильчур не мог не отметить, что эта молодая девушка с необычной жертвенностью отдается работе, как бы желая исправить ту ошибку, которую совершила. Не мог он также не заметить, что Люция одаривает его особой симпатией, что ее взгляд полон тепла, сердечности, дружелюбия и в нем как будто таится какая-то просьба.

Иногда они вместе выходили из клиники, и тогда она провожала его домой. Чаще всего они говорили о работе; случалось, однако, что беседа переходила на личное. Он узнал, что Люция – сирота, что она из Сандомежа, но с детских лет воспитывалась в Варшаве. Ее воспитание и образование оплачивала тетка, которой тоже не стало несколько лет назад. Она рассказала ему также, что когда-то была обручена, но вскоре убедилась, что молодой инженер, который изображал любовь, был человеком никчемным, и тогда она рассталась с ним.

– А сейчас я вижу, – заметил Вильчур, – что коллега Кольский очень интересуется панной. Она слегка пожала плечами.

– Кольский, профессор, именно коллега, он очень порядочный парень. Я люблю его и ценю его качества, но это не те качества, которые могли бы вызвать более глубокое чувство.

Некоторое время они шли молча.

– А разве у женщины чувство вызывают какие-то качества?.. Не красота, не молодость, не... возможно... привлекательность?..

Она покачала головой.

– Нет, профессор. То, о чем вы говорили, может заинтересовать только очень недалеких женщин. Я думаю, что мы... что я искала бы в мужчине прежде всего богатство его души, хотела бы найти в нем как бы большую библиотеку переживаний, мыслей, трагедий и взлетов, как бы музей, живой музей. Я не умею этого объяснить. Возможно, это плохие сравнения. Скажу так: хочу, чтобы его душа была разносторонней, чтобы содержала в себе столько черт и привлекательности, чтобы я за всю свою жизнь не сумела бы узнать и открыть их в нем. И я не думаю, что в своем желании я должна быть исключением. Мне кажется, что это присуще женщинам, всем женщинам... Та жадность, та неутолимая жажда наблюдать за многими, многими сокровищами, которых наш разум не охватывает и которые можно ценить и уважать... Потому что, только уважая, можно любить. Белый пушистый снег покрыл улицы Варшавы и едва скрипел под ногами. Свет фонарей преломлялся в синеватых полосах тени. Деревья стояли в снежном оперенье, тихо, неподвижно, величественно.

– Это неправда, – произнес после долгого молчания Вильчур. – Когда-нибудь вы убедитесь, что это неправда.

– Я никогда этому не поверю, – убежденно запротестовала Люция, но он, казалось, не слышал ее слов и продолжал дальше.

– Это молодость диктует вам такие слова, молодость внушает эти мысли. У вас нет опыта. Любовь... Любовь послушна телу... Она послушна законам природы, а душа? Душа – это душа, ее место абстрактно, и этому никто не поможет.

В его голосе прозвучали ноты отчаяния, и Люция сказала:

– Я не убедилась в этом и думаю, что профессор весьма пессимистично смотрит на эти вещи.

– Потому что я убедился в этом, – ответил он, грустно улыбнувшись. – Может быть, когда-нибудь я расскажу вам эту историю, может быть, когда-нибудь, чтобы предостеречь вас. А сейчас вот мой дом. Спасибо вам за приятную прогулку и беседу. Вы очень добры, панна Люция.

Он поцеловал ей на прощанье руку. Снимая в передней шубу, он взглянул в зеркало и отметил, что не побрит.

– Юзеф, – обратился он к слуге, – напоминай мне, пожалуйста, ежедневно утром, что мне следует побриться.

– Каждый день все готово, – с обидой в голосе ответил слуга.

– Да, но я не всегда об этом помню...

Сказанные слова напомнили ему о сегодняшней статье в одной из газет, опять перемальвающей дело о смерти Доната. Какой-то ретроград, скрывающийся под инициалами доктор Х.У., доказывал там, что полностью вылечить амнезию практически невозможно. Память, по мнению этого невежды, полностью не возвращается, а вследствие этого повторяются новые атаки.

Что за абсурд! И, пользуясь такими приемами, они пытаются заставить его отказаться от клиники. Если бы они знали, что клиника в настоящее время является собственностью страхового общества, наверное, нашли бы способы для новых интриг.

Профессор надел халат и сел у камина. Юзеф принес горячий кофе и вечерние газеты. Возможно, умышленно, а может быть, случайно слуга положил их так, что, бросив на них взгляд, Вильчур прочел на первой странице заголовок: "Профессор Вильчур выплатил семье покойного Леона Доната миллионную компенсацию".

Прошло несколько минут, пока он взял в руки газету.

"Стало известно, – читал он, – что общество, в котором был застрахован трагично скончавшийся в клинике профессора Вильчура всемирно известный польский певец Леон Донат, угрожало незадачливому хирургу начать процесс о возмещении нанесенного ущерба. Понимая, что процесс этот он проиграет, поскольку смерть великого тенора наступила по причине халатности и беспорядков, царящих в клинике профессора, он вынужден был выплатить страховую сумму, равную двум с половиной миллионам злотых.

Для покрытия этой огромной суммы в собственность страхового общества ушла клиника профессора, его вилла, почти все, чем он владел. Невозможно не посочувствовать известному хирургу, что его коснулось разорение, однако, с другой стороны, пусть этот случай станет предостережением для всех тех докторов, которые легкомысленно распоряжаются жизнью вверенных им пациентов..."

Вильчур отложил газету и едва слышно произнес:

– Однако случилось...

Снова подлили масла в огонь. Сработала чья-то не деликатность, чья-то болтливость или злобное шпионство, подпитанное снова сплетнями. И опять начнется новая оргия нападок.

– Я не голоден и есть не буду, – сказал он слуге, когда тот доложил, что ужин на столе.

– Может быть, хотя бы чашку бульона?

– Нет, спасибо. Приготовь мне, Юзеф, еще кофе... Да еще коньяку.

В эту ночь профессор Вильчур не ложился совсем. Большое количество выпитого кофе и алкоголя сделали свое дело. Утром он увидел в зеркале свое посеревшее, измученное и отекавшее лицо. Несмотря на усталость, он заставил себя тщательно выбриться и, как всегда, ровно в восемь был в клинике.

Нетрудно было заметить, что вчерашняя газетная информация была уже известна всем.

Доктор Жук, докладывая программу дня и состояние больных, правда, не осмелился спросить о чем-нибудь Вильчура, но его взгляды свидетельствовали о том, что вопросы висели на кончике языка.

Программа предусматривала пять операций: одна трепанация черепа, в трех следующих нужно было сложить сломанные кости конечностей и, наконец, операция по удалению аппендикса у привезенной ночью четырнадцатилетней девочки. За исключением первой, все операции были обычными и не представляли сложности.

Закончив часовой обход, профессор пришел в операционную. После памятного случая с Донатом он дополнительно осматривал лично каждого пациента, проверяя состояние его сердца и восприятие усыпляющих средств. Это отнимало много времени, но он предпочитал полагаться только на себя.

Первая операция длилась больше часа и прошла нормально. Послегриппозный мозговой нарыв был разрезан и очищен. Последующие операции тоже прошли спокойно. Однако последнюю Вильчур решил перенести на полчаса позже: ночь без сна и нервное напряжение давали о себе знать.

Когда Вильчур сидел в ординаторской, пришел Добранецкий, поздоровался и предложил:

– Ранцевич сказал, что вы устали. Может быть, на операцию по удалению аппендикса назначить кого-нибудь другого?

– Нет, благодарю вас, – усмехнулся Вильчур.

– Да и я сейчас свободен... Возможно...

– Нет, я вам очень признателен, – не мог справиться с повышенным тоном Вильчур.

Затем он встал и нажал кнопку звонка.

– Пациентку в операционную, – раздался за дверью голос санитаря.

Добранецкий вышел. Вильчур открыл аптечку, взял бром, всыпал большую дозу в стакан, налил воды и выпил.

Приступая к операции, он уже полностью владел собой и каждым своим движением.

Диагональный разрез был рассчитан точно. Несколько капель крови на белом жировом слое и сине-фиолетовый лабиринт кишок. Раскаленный провод электроаппарата, мгновенно зашипев, выполнил свое задание, и вздутый аппендикс оказался в стакане с формалином.

Операция подходила к концу. На сорок пятой минуте профессор Вильчур наложил швы.

... Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, – считал доктор Жук инструменты.

Больную вывозили из операционной.

– Не хватает одного, – спокойно объявил доктор Жук.

Мгновения растерянности. Профессор Вильчур, который уже снимал маску, охрипшим голосом сказал:

– Обрато на стол.

Необходимо было второй раз вскрывать брюшную полость для того, чтобы из свитков кишок достать маленький металлический предмет, сверкающий никелем. Жара в операционной и усталость действовали так, что Вильчур последним усилием воли

удерживал свой мозг в сознании, а руки в подчинении, но чувствовал, что близок к обмороку. К счастью, он выдержал до конца.

Пациентку забрали из операционной, когда она уже просыпалась после наркоза.

Пошатываясь, Вильчур вышел за ней в холодный коридор. Сорвал с лица маску и несколько минут стоял, опершись о подоконник. Постепенно восстанавливалось сознание, и возвращались силы. Он понял также, что шум, который он слышит, является результатом большой дозы брома. Он медленно направился в ординаторскую. Там с помощью санитаря переоделся и попросил принести ему туда шубу и шляпу. Даже не заходя в свой кабинет, он вышел на улицу.

Тем временем клиника гудела как улей. По правде говоря, случаи с операционными инструментами, оставшимися в брюшной полости, – довольно частое явление. Это случается со многими хирургами, вызывая необходимость повторной операции. Однако профессор Вильчур славился неслыханным присутствием духа и предусмотрительностью. У него подобных случаев никогда ранее не было.

Разумеется, ассистирующие во время операции коллеги заметили слабость профессора, а доктор Жук, наблюдая за ним очень внимательно, предвидел даже обморок и подготовился к тому, что лично заменит профессора в конце операции, если что-нибудь с ним случится. Сейчас вся элита клиники собралась в кабинете профессора Добранецкого, который говорил:

– Мы все его уважаем: признаем его заслуги, одариваем его своей симпатией, но это не дает нам право закрывать глаза на факты: он – старый человек, ему нужен отдых, но он не хочет ничего слышать. Подобные случаи будут повторяться с ним все чаще. Я, действительно, не знаю, что предпринять.

Среди общих поддакиваний раздался дрожащий голос доктора Люции Каньской:

– Не надо ничего делать. Здесь нужно распахнуть окна и выветрить ту омерзительную атмосферу, над созданием которой работают недобросовестные люди. Нужно противодействовать отвратительным сплетням, клевете и клеветам. Я не знаю, смог ли бы кто-нибудь сохранить спокойствие и равновесие среди той клеветы, подлых, коварных интриг и кротовых подкопов, которыми окружили профессора Вильчура. Это позор! Стыд! Но ошибаются те, кто из личных грязных интересов пытается заставить профессора Вильчура сдать. Они просчитаются. Такой человек, как он, не согнется перед подлостью ничемных интриганов. Все порядочные люди станут на его сторону!..

Профессор Добранецкий побледнел и нахмурил брови.

– Мы все на его стороне, – заявил он авторитетно.

– Да? И вы тоже, пан профессор? – она заглянула ему прямо в глаза.

Добранецкий не сумел спрятать возбуждение.

– Моя дорогая пани, когда вы еще изволили ходить в школьном платьице, я издал биографию профессора Вильчура! Вы еще слишком молоды и чересчур смело позволяете себе пренебрегать дистанцией между нами. Не думаю, что есть необходимость объяснять это вам конкретнее.

Доктор Люция растерялась: действительно, между ней и Добранецким была такая дистанция, как между рядовым и генералом, и только внезапный гнев позволил ей забыть об этом на минуту.

Воспользовавшись тем, что Добранецкий повернулся к доценту Бернацкому, Люция вышла из кабинета. Кольского она нашла на втором этаже, где он заканчивал перевязку. Она была так расстроена, что он спросил:

– Что-нибудь случилось?

Она покачала головой.

– Нет-нет. Ничего серьезного. Только они снова что-то затевают... Я хотела бы с вами поговорить.

– Хорошо. Через пять минут я буду свободен. Подождите меня в моей комнате.

В глазах его была грусть и беспокойство. Когда он вошел, Люция сидела за столом и плакала.

– Какой омерзительный и страшный мир! Кольский деликатно взял ее за кончики пальцев и заговорил спокойным мягким тоном:

– Он всегда был таким. Борьба за бытие – это не детская и не дружеская игра, это война, непрерывная война, в которой защищаются не только словами, но и зубами и когтями. Тяжело. Но, вероятно, так должно быть. Ну, успокойтесь, панна Люция, я прошу вас, успокойтесь, пожалуйста.

Глава 4

Председатель Тухвиц задумчиво стучал карандашом по стопке тонких карточек, исписанных машинописью.

– Я прочитал вашу докладную записку, пан профессор, – говорил он, не поднимая глаз на сидящего с другой стороны стола Добранецкого, – прочитал и должен сказать, что вы ставите меня в чудовищно неприятное положение. Конечно, я должен согласиться с некоторыми вашими аргументами, но ни с точки зрения закона, ни сам лично ничем не могу помочь.

Добранецкий задвигался в кресле.

– Извините, но я вас не понимаю.

На лице Тухвица появилось раздражение.

– Видите ли, пан профессор, я в ваших медицинских вопросах ничего не смыслю. Я – финансист и точно знаю свои обязанности. Так вот, профессор Вильчур поступил с нами весьма порядочно, как джентльмен. Конечно, он мог не взять на себя вину, а свалить ее на терапевта, которая не обследовала Доната. Разумеется, тогда он имел бы право на частичную долю ответственности как хозяин клиники, и суд, я думаю, признал бы за ним это право. Однако сомневаюсь я в том, что тогда мы смогли бы получить всю сумму страховки, и разбирательство тянулось бы годами. Я должен быть ему благодарен или уж, по крайней мере, относиться так же по-джентльменски.

– Но разве не ценой жизни следующих пациентов? – с сарказмом вставил Добранецкий.

– Конечно, если дело действительно обстоит так, как вы говорите и как вы здесь написали, я согласен, что профессор Вильчур должен уйти. Но я его заставить не могу. У меня с ним заключен договор, в силу которого он останется руководителем клиники, пока сам не откажется. Это, во-вторых. Есть еще и третий пункт. Знаете, есть у меня по отношению к Вильчуру гражданский долг. Много лет назад он лечил мою мать и спас ей жизнь.

В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Председатель медленно прикурил трубку.

– Из этих всех аргументов, – отозвался Добранецкий, – существенным является один: ваш договор с Вильчуром. Но и здесь есть выход. Не мог ли бы пан председатель подумать о чем-нибудь вроде пенсии? Я думаю, что на такое решение вопроса профессор Вильчур мог бы согласиться, разумеется при определенном давлении.

– Но я не могу оказывать никакого давления, – запротестовал председатель.

Добранецкий сделал паузу.

– Поскольку общество под вашим председательством является хозяином клиники, вы должны быть заинтересованы в ее репутации, потому что репутация и только репутация представляет главную ее ценность. С момента, когда клиника начнет утрачивать славу лучшего учреждения этого типа в столице, упадут ее доходы, а поэтому и объективная ценность.

– Я это хорошо понимаю, – согласился председатель. – Поэтому я должен заверить вас, что мы не собираемся оставлять ее для себя. Мы готовы продать ее первому претенденту, который обратится к нам. Продадим даже с определенным убытком.

Глаза Добранецкого забегали.

– Через сколько месяцев мы могли бы поговорить об этом?

– Не пан профессор?.. – поинтересовался председатель.

Добранецкий сделал неопределенный жест рукой.

– Не я один, я не располагаю такими средствами, но надеюсь найти несколько коллег, которые вошли бы со мной в совместное предприятие. Естественно, речь об этом могла бы идти лишь в случае смены руководства. Поймите меня правильно, пан председатель, дело

не в том, что именно я хотел бы принять руководство клиникой. Прежде всего, речь идет о безопасности пациентов и о поддержании на должном уровне учреждения, одним из создателей которого, и смело могу об этом заявить, я являюсь. Председатель встал.

– Я подумаю обо всем этом, пан профессор, и скоро дам вам ответ.

– Буду ждать его с нетерпением, поскольку продление существующего положения действительно грозит серьезными последствиями.

Председатель проводил Добранецкого до дверей и снова погрузился в свое бездонное кресло. В сущности, это дело имело для него весьма неприятный привкус. Если бы это зависело от него, если бы не отвечал он за финансы общества, предпочел бы на все это махнуть рукой и предоставил бы событиям собственный ход.

Ему не понравился Добранецкий. Он знал, конечно, что это известная и уважаемая личность, ученый высокого уровня и человек, играющий немалую роль в светской жизни Варшавы. Однако отношение профессора к Вильчуру показалось председателю некрасивым, а возможно, даже нечестным.

С другой стороны, он уже не однажды слышал отзвуки, подтверждающие данные, содержащиеся в докладной записке Добранецкого.

В тот вечер председатель Тухвиц за ужином рассказал жене обо всем и услышал такой совет:

– Дорогой мой, лучше всего ты поступишь, если встретишься с Вильчуrom и поговоришь с ним откровенно.

– Ты права, – согласился он. – Сделаю это на следующей неделе.

О составлении докладной записки Добранецким в клинике знали, так как в ее редактировании участвовало несколько врачей, принявших сторону автора. Разумеется, это событие нельзя

было удержать в тайне, и скоро оно стало известно Вильчуру. Он молча выслушал, усмехнулся, пожал плечами и ничего не сказал. На следующий день в присутствии нескольких сотрудников он обратился к Добранецкому:

– Мне положен короткий отпуск. Поскольку как раз приближаются Рождественские праздники, я хотел бы попросить коллегу заменить меня, если, разумеется, у вас нет своих планов.

– Никаких. На праздники я остаюсь в Варшаве. А вы уезжаете? Надолго?

– На две-три недели, по крайней мере, у меня такие планы.

– Возможно, к дочери, в Америку?

– О нет, – неохотно ответил Вильчур, – это слишком дальняя дорога.

Воспоминание о Мариоле снова вызвало у него горькое чувство досады. Как раз несколько дней назад он получил от нее пространное письмо. Сведения о смерти Доната дошли уже и до них, как и то, что Вильчур должен был заплатить огромную компенсацию, которая разорила его. Знала Мариола и о кампании, которая велась против ее отца, однако в письме он не обнаружил того сочувствия, которое ему было так необходимо.

"Мы огорчены неприятностями папы, – писала Мариола. – Но Лешек прав, когда говорит, что, может быть, это к лучшему, папа не будет переутомляться. В возрасте папы нужно больше заботиться о своем здоровье, чем о здоровье других. Слава Богу, наше материальное положение позволяет папе уйти на отдых. Лешек, находящийся сейчас в деловой командировке в Филадельфии, вчера позвонил мне и просил сообщить папе, что он будет ежемесячно высылать тысячу долларов и даже больше, если папе этого не хватит". Кроме этих нескольких строчек, письмо содержало много информации о материальных успехах Лешака и о каких-то непонятных успехах их обоих.

Письмо это глубоко ранило Вильчура. Единственные близкие ему люди полагали, что выполняют свой гражданский долг, если позаботятся о том, чтобы он не чувствовал недостатка в деньгах. И они тоже, как и клика Добранецкого, считали, что он должен отказаться от своей любимой работы, что непригоден для нее и должен уступить место более молодым.

Они не могли понять, что для него отказ от работы хуже смерти, что это было бы признанием перед обществом и перед самим собой в том, что ни обществу, ни себе он уже не нужен, что стал хламом, просто использованным инструментом, который выбрасывается

на свалку. И это в то время, когда более всего он хочет работать, действовать, быть полезным.

Он сказал Добранецкому неправду: он не собирался куда-нибудь уезжать. Ему просто хотелось какое-то время побыть в одиночестве, дать отдых нервам, вернуть прежний покой, собраться с мыслями и найти в себе силы, которые позволят пережить вражескую кампанию.

Он предупредил слугу, чтобы всем, кто его будет спрашивать, всем без исключения, тот говорил, что профессор уехал на несколько недель, куда – неизвестно, чтобы никого не впускал. Старый Юзеф точно понял распоряжение и отправлял от дверей как знакомых, так и пациентов профессора. Он даже не надоедал ему сообщениями о том, кто приходил, а профессор, в свою очередь, не спрашивал его об этом.

Два первых дня он провел в постели, а затем взялся за просматривание специальной и научной литературы, с которой еще не был знаком. Однако его деятельная натура быстро начала восстанавливаться. Все чаще он поглядывал на часы и скоро понял, что этот отдых, в сущности, утомляет его больше, чем работа. Отметив это, занялся упорядочением записок и других материалов, которые уже год собирал для трактата о хирургическом лечении саркомы. Когда уже все было готово, он тотчас же сел писать, а поскольку каждая работа целиком поглощала его, то с раннего утра и до поздней ночи он просиживал за столом, вставая только для того, чтобы наскоро съесть обед или ужин.

Спустя неделю работа была закончена, что, собственно, не обрадовало Вильчура. Его стала охватывать тоска. Мысли постоянно роились вокруг дел, связанных с кликой, а это не оказывало положительного влияния на состояние его нервной системы. Достал из библиотеки несколько книг давно забытых, а некогда любимых поэтов, но и это не смогло заполнить его свободное время. Бесцельно бродил он по комнатам, часами стоял у окна, всматриваясь в пустоту бесшумной улицы.

В конце концов, начал скрупулезно выспрашивать у Юзефа, кто приходил, кто звонил и что говорил.

Однажды, стоя у окна, он увидел человека с елочкой. Взглянув на календарь, он понял, что наступил Сочельник. Прошло уже много лет, как эта дата утратила для него эмоциональный смысл, какой имела тогда, когда в этом доме была семья, когда за праздничный стол он садился с Беатой, когда под елкой возвышались горы подарков для маленькой Мариолы...

Внезапно Вильчура охватило болезненное чувство одиночества. Мысли быстро пробежали по галерее знакомых, сотрудников, коллег.

Нет, никто из них не близок ему, ни с кем из них у него не было теплых отношений...

Люция... Профессор улыбнулся. Да, это хорошая, это прекрасная мысль. Я позвоню ей и приглашу на праздничный ужин. Панна Люция наверняка не откажет...

Воодушевленный этой мыслью, профессор Вильчур начал быстро листать телефонную книгу. Однако, найдя номер Люции, он заколебался.

Трудно было себе представить, чтобы эта молодая девушка не имела какого-нибудь плана проведения праздника, чтобы не получила приглашения уже давно от кого-нибудь более интересного в какой-нибудь веселый милый дом, в котором будет елка, где есть дети, где она погрузится в атмосферу семейного тепла, того тепла, по которому он сейчас так затосковал. Вероятнее всего, ее пригласила семья Кольского, а может быть, Зажецкие, о которых она так часто вспоминала.

Профессор отложил телефонную книгу. Он решительно не имел права пользоваться ее расположением, возможно из жалости к нему, лишая ее этого прекрасного вечера для удовлетворения своего желания.

Однако Вильчур не мог перестать думать о Люции, о ее добром, чутком и внимательном отношении к нему, отношении, в котором так ясно звучали самые лучшие и нежные чувства. Во всяком случае, он решил в один из ближайших дней увидеться с ней, а сегодня следовало каким-то образом сделать для нее что-то приятное. Подумав, он нажал кнопку звонка и обратился к входящему Юзефу:

– Юзеф, пойдите в какой-нибудь ближайший цветочный магазин, купите двадцать роз и попросите отправить их на адрес Люции Каньской. Адрес найдете в телефонной книге.

– Пан профессор, вы напишете карточку?

– Нет, нет, – запротестовал Вильчур, – никаких карточек.
– А какого цвета должны быть розы?
Вильчур недовольно нахмурил брови.
– Ну... могут быть, а я знаю, какие там бывают?
– Красные, желтые, белые.
– Белые? Ну, так пусть будут белые.
– А если я белых не найду? – педантично спросил слуга.
– Ой-ой, не надоедай мне, Юзеф. Но я же не могу знать этого. Посоветуйся с пани в магазине.
– Слушаюсь, пан профессор.
Вернувшись через час, Юзеф доложил, что по совету пани в магазине выбрал розовые, что пани спрашивала, для кого, и он ответил, что розы для молодой и очень красивой особы, но без любовных намерений. Она ответила, что удобнее всего подойдут именно розовые, потому что...
– Хорошо, хорошо, – прервал Вильчур. – Спасибо, Юзеф.
Когда слуга вышел, Вильчур пробормотал про себя.
– Страшно болтливый этот Юзеф.
В сущности, Вильчур сам был тому виной, потому что от тоски вызывал слугу для беседы. И вот в тот день, когда уже смеркалось, он услышал, что Юзеф с кем-то ругается в передней. Позднее он спросил, кто это был и чего хотел.
– Какой-то бессовестный оборванец, пан профессор. Он требовал, чтобы я его впустил к вам, и осмелился, извините, говорить, что он ваш приятель.
– Приятель? – удивился Вильчур. – Он не назвал свою фамилию?
– Назвал, только какая-то странная фамилия. Он был не похож на еврея, а фамилия совсем еврейская. Какой-то Шекспир.
Профессор рассмеялся. А звали его Вильям?
– Да, именно так, пан профессор. А водкой от него несло, извините, за три версты. Значит, я вижу, что это человек безответственный, может, даже элемент какой-нибудь. А нахальная bestия! Я ему говорю, что пана профессора нет в Варшаве, а он мне отвечает, извините, что ему достаточно какого-то, только не помню какого, но чего-то паскудного, тела спирального или чего-то в этом роде. Но уж когда назвал меня цербером, я не выдержал и выбросил его за двери. Конечно, сразу же вымыл руки, потому что от такого и бактерии разные на человека могут перескочить.
В ту же минуту из закрытой на зиму комнаты, выходящей на балкон, раздался звон разбитого стекла. Юзеф подскочил к двери. Едва успел ее открыть, как на пороге показался Циприан Емел.
– Шекспир! – закричал Юзеф. – Вломился! Полиция! Я тебя проучу!
Он схватил его за воротник, а поскольку был выше и сильнее, тряс его, как собака кролика. Емел попросил без всякого возмущения:
– Президент, скажи своему Атласу, чтобы он прекратил это землетрясение. Быстро говори ему, а то я сам его обезврежу.
Одновременно с последним словом он наградил Юзефа таким тумакон под ребра, что тот отпустил его сразу и, проклиная, отскочил на несколько шагов.
– Юзеф, оставь его в покое, – вмешался профессор Вильчур.
– Может быть, вызвать полицию, пан профессор? – с негодованием спросил слуга.
Емел смерил его презрительным взглядом.
– Вызови, архангел, и прикажи себя оседлать. Позволь ему, президент, сдаться в руки полиции. Непростительно, что такая физиономия, как у него, до сих пор не в полицейском альбоме. Альбом был бы в неописуемом восторге от его достойной физиономии. А сейчас отойди, недостойный Лепорелло, и оставь нас, потому что уже дело к вечеру.
Профессор сделал знак рукой, и Юзеф, который готовился снова броситься в сторону Емела, пожав плечами, направился к двери.
– Даритель блаженства, – поспешно обратился Емел, – прикажи своему мамелюку, далинг, чтобы он принес какую-нибудь горячительную жидкость, которой мы смогли бы наполнить наши внутренности. Как хирург, ты должен знать, что ничто не оказывает такое

положительное влияние на заживление ран, как сорокапятипроцентный раствор алкоголя.

Доведи курс до конца.

Профессор усмехнулся.

– Когда тебя выписали из больницы?

– Сегодня, май бьютифул френд. Туманным декабрьским утром вышел я в свет холодный и чужой. И прикажи дать мне воды во имя любви к ближнему или во имя чего-нибудь другого, что придет тебе в голову в данную минуту.

На вопросительный взгляд слуги профессор ответил утвердительным кивком головы.

Циприан Емел свободно развалился в кресле и, когда Юзеф вышел, рассмеялся.

– Ну и профан, темнота беспросветная. Он думал, что, закрыв передо мной дверь, лишит меня возможности увидеть тебя, дорогой мастер. Когда-то, правда, были такие времена, что дверь, действительно, представляла для меня какое-то препятствие, но уверяю тебя, что это были давние времена. У меня, между прочим, какая-то странная привычка не верить, что кого-то нет дома, если в это же время я вижу его в окне. Как раз, идя сюда, я увидел твой бюст, далинг.

Профессор объяснил:

– Я не принимаю никого, потому что хочу отдохнуть. Поэтому слуга получил распоряжение...

– Сатис. Прощаю тебя. Я великодушен и снисходителен. Временами я тоже ищу уединения, однако только в тех случаях, когда располагаю относительно незначительным количеством алкоголя, но обречен чьим-нибудь милым соучастием в принятии пищи. Я думаю, мой дорогой эскулап, что ты укрываешься по какой-то другой причине. Это неважно. Я, однако, должен принести тебе благодарность за то, что ты посшивал мои бранные останки и привел их в состояние общественной пригодности. Собственно говоря, я не знаю, не оскорбил ли ты этим актом вечность, которая уже лихорадочно поджидает меня. Представь себе ангельские хоры и не менее выразительные сатанинские хоры, взаимно перекликающиеся в соответствии со всеми законами оперного искусства в споре за мою возвышенную душу! А тем временем какой-то тип, какой-то хомо симплекс, владеющий странными навыками штопать людские кишки, вырывает у них вожделенную добычу. Вильчур рассмеялся.

– Это было не так уж сложно.

– Как бы там ни было, я посчитал уместным нанести тебе, мон шер, визит. И наношу. Извини, что полы моего сюртука коротковаты и я, может быть, не выгляжу джентльмен лайк, но внешность стократно компенсируется внутренним возвышенным состоянием. Загляни в мои глаза и увидишь душу мою в парадном костюме. Без преувеличения могу тебе признаться, дорогой кардинал, что я почувствовал к тебе ничем не обоснованную симпатию и влечение, которое обеспокоило бы меня самого, если бы не моя уверенность в том, что проблемы, относящиеся к департаменту Эроса, я ликвидировал давно к обоюдному, это значит моему и Эроса, удовлетворению. Любовь, шер ами, является изобретением людей, которые не любят думать, для которых мышление представляет значительные трудности. Что касается меня, то я за собой этого никогда не замечал. Я мыслю так же легко, как ты, например, с легкостью вырезаешь ножиком в человеческом теле выкрутасы для удовлетворения своего инстинкта мясника.

Вошел Юзеф с надменным и презрительным видом, неся на подносе две бутылки – коньяк и водку, а также рюмки и кофе. При его появлении Емел воскликнул:

– Приветствую тебя, о паладин, мажордом и почтенный слуга. Я рад, что для своего пана ты принес водку, а для меня коньяк. Однако я отметил в тебе некоторые проблески интеллигентности. Можешь рассчитывать на мою благосклонность, страж домашнего очага. Когда профессор выгонит тебя, обратись ко мне. Кто знает, кто знает...

Слуга с невозмутимым видом поставил все на стол и демонстративно вышел. Вильчур сказал:

– А знаешь ли ты, приятель, что сегодня Сочельник? Может быть, вместе проведем этот вечер?

Емел наморщил в раздумье брови.

– У меня, правда, уже есть более раннее приглашение к председателю Совета Министров и князю Радзивиллу, но я предпочитаю остаться с тобой. Я влюбился в тебя, убедившись, что ты умеешь слушать. Невелика премудрость быть простым глупым человеком и иметь

желание постоянно говорить, чтобы заполнить свою духовную пустоту, а мудрость заключается в том, чтобы уметь слушать, и поэтому, цириссимо, я останусь с тобой, но все-таки при условии, что твое гостеприимство не ограничится тем количеством алкоголя, какое я вижу в тех резервуарах, а твоя неразговорчивость – нынешними границами. Уже стало совсем темно, и Вильчур зажег свет. Из столовой доносились отзвуки приготовлений к ужину. Профессор заглянул туда и сказал:

– Юзеф, ужин на два человека.

Он радовался обществу этого странного человека. Его болтовня действовала успокоительно. Под покровом неукротимой словоохотливости иногда скрывались какие-то глубокие и неожиданные мысли, какие-то поразительные связи, которые позволяли отключиться от собственных проблем и склоняли к абстракции. Чего больше мог сейчас желать Вильчур?

Сидя за столом, Емел ел мало, зато пил и говорил много. Юзеф с нескрываемой брезгливостью поменял ему тарелку и поставил заново наполненные графины.

– Нравишься ты мне, приятель, – похлопал Емел слугу по плечу. – Можешь рассчитывать на меня. Если тебя твой патрон в один прекрасный день отправит в отставку, обратись ко мне. Я порекомендую тебя своему безмерно великодушному Дрожжику. Скажи мне только, сможешь ли ты исправно выбрасывать менее симпатичных гостей за дверь?

На преисполненном достоинства лице Юзефа отразилось сильное волнение. Он сделал полшага вперед, а его руки произвели такие движения, точно он хотел незамедлительно доказать, что ни с чем так хорошо не справится, как с тем, чтобы выбрасывать нежелательных гостей за дверь. Однако Емел не обратил на это внимания и продолжал разговор:

– Задумывался ли ты когда-нибудь, синьоре, над удивительной загадочностью социологического механизма, в котором всегда есть определенное количество людей, что облюбовали себе гильотизм. Предопределенные пари. Невольники по предназначению и собственному принуждению. Их призвание – служить.

– Каждый служит кому-нибудь или чему-нибудь, – заметил Вильчур.

Емел покачал головой.

Я никому не служу, амиго. Я. Вот я весь перед тобой. Никому и ничему. Свобода.

Понимаешь ли ты слово "свобода"? Я его понял почти тридцать лет назад. Когда-то и я был невольником, невольником бесчисленного количества господ, то есть: государство, значит, народ, а значит, религия, а значит, чувства разного рода и порядка, а значит, честь, амбиции. Не перечислить. И вдруг в один прекрасный день я понял, как страшно во всем этом я запутался. Меня охватило изумление, а потом пустой смех. И тогда одним грациозным прыжком я выскочил из этой свалки, освободившийся, независимый, свободный. Я даже не оглянулся, чтобы посмотреть, какие руины оставляю после себя. И уже ничто сегодня не сможет нарушить мою свободу.

– Разве только полиция, – буркнул поднос Юзеф.

Емел расслышал его замечание. Подняв палец кверху и обращаясь к слуге, он сказал:

– О темнота! Дуралей всеядный, связанный мыслями со своим телом. Ты никогда не попадешь в бочку Диогена, ты никогда не вознесешься на дирижабле своей души выше собственного тела. Оди профанум вулгус!.. Разумеется, я часто и охотно сижу в тюрьме, но дух мой не утрачивает своей свободы. Налей мне еще и удались, так как твое присутствие заслоняет мне перспективу вечности.

Вильчур кивнул головой.

– Можешь идти, Юзеф.

Юзеф поспешно воспользовался этим разрешением, но прежде чем пойти на кухню, тщательно позакрывал все комнаты, шкафы и ящики. Этот Шекспир не вызывал в нем ни малейшего доверия. Юзеф был склонен даже допустить, что было бы надежнее немедленно позвонить в комиссариат, и долго не мог уснуть, размышляя о том, не сделал ли он ошибку, оставив профессора один на один с этим омерзительным типом.

– Итак, император, – говорил тем временем Емел, раскачивая перед носом опустошенную минуту назад рюмку. – Да, император. Я снова вижу тебя не в лучшей форме. Тогда, насколько мне не изменяет моя гениальная память, какая-то женщина разорвала тебе сердце. Послушай меня: отдай дьяволу, что принадлежит ему. Все женщины, все от самой

старшей ведьмы с Лысой горы и до самой маленькой школьницы – это его департамент. Холера бы их взяла! Что, могут интеллигентного человека окружать создания, с обеих сторон заключенные в тесноте? В тесноте мозга и башмака, а внутри живот и всякие там органы. Какое же удовлетворение может дать человеку прикосновение губ, повторяю, к размазанному отверстию губ существ с куриными мозгами, звериными инстинктами, лишенных совести! Нет, владыка, это занятие не для порядочного человека. Ты выбрал плохую тему для трагедии.

Профессор Вильчур усмехнулся.

– Ошибаешься. У меня нет никакой трагедии. Я не переживаю никакой трагедии.

Емел прикрыл левый глаз, а другой, налившийся кровью, впери́л прямо в лицо Вильчура.

– Однако тебя терзает какая-то печаль, далинг. Я плохой теннисист, не очень точно боксирую, у меня не самый прекрасный голос, а еще хуже играю на органе, но психолог я великолепный. Я не призываю тебя к откровенности, да и не люблю исповеди. Одной из самых трудных вещей на свете мне представляется выслушивание чужих грехов, но на сей раз окажу тебе милость. Знай пана. Следует тебе знать еще и то, граф, что я – единственный человек на свете, перед которым можешь спокойно открыть душу, не опасаясь, что тебя встретит ирония, сочувствие, жалость или еще какое-нибудь подобное паскудство. Буду безразличен, как стена. Я как бы для этого создан, хотя евреи уже два тысячелетия нашли свою стену плача. Садись в таком случае, раби, у моего подножия и плачь. Над кем хочешь плакать, амиго? Дети, вдовы, сироты, неудачи в делах, биржевой крах или вообще мировая скорбь?..

Вильчур покачал головой.

– Люди... Люди... Злые люди.

Емел взорвался смехом.

– Христофор Колумб! О Ньютон и Коперник! Открыватель новой правды! Что за открытие, что за наблюдательность! Уважаемый советник заметил, что люди злы? А какими они должны быть? Ты бы хотел их, маэстро, превратить в ангельский хор. Для этого потребовалось бы незначительное усилие. Их следовало бы простерилизовать, очистить от всего того, что называется содержанием жизни. Ты – хирург, значит, произведи три ампутации: ампутацию карманов, ампутацию желудков, ну и так далее. Тогда они станут подобны баранам. Злые люди... Нет других. Это или жирные животные, стерегущие свою добычу и пережевывающие свое собственное сало, или бешеные псы, рвущиеся к горлу.

Других нет.

Емел встал и, громыхая кулаком по столу, повторил в ярости:

– Нет, нет, нет!..

– Я не разделяю твой пессимизм, приятель, – спокойно произнес Вильчур. – Я знаю других...

– На Марсе? На Луне?.. На какой планете? – взревел Емел.

– На нашей. На Земле.

– Ах, так? – саркастически рассмеялся Емел и вдруг, успокоившись, спросил учтивым тоном:

– Не даст ли мне уважаемый пан адрес?

Вильчур подпер рукой подбородок.

– Много таких адресов мог бы дать тебе, приятель. Много есть добрых людей.

– В таком случае как же надежно они скрываются. Ну, твое здоровье, святой Франтишек. Твое здоровье.

Одним духом Емел опрокинул свою рюмку, пальцем оторвал кусок лосося из тарелки, проглотил и махнул рукой:

– Реверендиссима, адрес я знаю только один: твой. Другого я предоставить тебе не могу, потому что не имею постоянного местожительства. Интересующихся направляй:

Истэблишмент Дрожжик. Постэ ресторантэ.

– Это неправда, – произнес Вильчур. – Их много. Только знаешь, их трудно заметить. Они менее активны, чем злые. Они не обращают на себя внимания. Занятые своей спокойной работой, они удовлетворяются куском хлеба, а те, другие, дерутся за быт.

– А, – перебил его Емел. – Так делишь, май диа, согласен. Но в таком случае прими во внимание, что те, активные, попросту живут за счет других. Те, которые не дерутся за быт,

просто выполняют роль корма. Растет травка, растет, а когда вырастет, слава Богу, придет какой-нибудь сукин сын, сожрет ее, как и не было травки. Ха-ха! Задумывался ли ты когда-нибудь, что такое город? Так вот город – это изобретение сатаны, а деревня – это травка. Города пожирают деревни. Чем больше жрут, тем алчнее становятся. Разбухают эти чудовища, давятся в лихорадке поедания, утопают в собственных экскрементах, всего ведь переварить не могут... Города...

Снова налил себе рюмку и продолжал:

– Ненавижу город, но притягивает меня уродливостью своих позорных процессов разъедания, оно сидит в его кишках. И если еще не давлюсь, то только потому, что сам являюсь его продуктом. Вот такие дела!

Он встал, принял наполеоновскую позу. Его свалявшиеся волосы, лоснившиеся от пота, небритое и грязное лицо, стеклянные пьяные глаза, лохмотья – все составляло одно отвратительное и опасное целое.

– Вот шэйдэвр, – затянул театральным тоном Емел, – вот лучшее произведение города, вот цвет нашей цивилизации, вот квинтэссенция прогресса!..

Вильчур вздрогнул. Действительно, в словах своего странного гостя он почувствовал какую-то правду. Трагикомическая фигура Емела, в самом деле, каким-то странным способом ассоциировалась с тем, что он говорил.

Профессор встал и приблизился к окну.

– Город, – подумал он, – город алчных зверей...

Улица была пуста. Откуда-то издали доносились какие-то размеренные звуки. Прошло достаточно времени, пока он понял, что это – колокола.

Звонили к рождественской мессе.

Глава 5

Вернувшись из Вилии от знакомых, Люция увидела в своей комнате большой букет роз. Она очень любила цветы, однако эти были для нее досадной неожиданностью. Она, конечно, не сомневалась, что прислал их Кольский, хотя в цветах не было карточки.

– Зачем он это делает, ну зачем? – подумала она с горечью.

В этой манере анонимно преподнести цветы было что-то студенческое и вместе с тем мешанское. Сколько раз она давала ему понять, что с ее стороны он не может рассчитывать ни на что, кроме симпатии и дружбы. Она искренне любила его, уважала его правдивость и характер, но он был для нее только коллегой и только коллегой мог остаться.

Уже не раз случалось так, что они оставались одни и не было срочной работы. Кольский всегда пытался направить разговор на что-либо очень личное. Ей стоило большого труда и дипломатии, чтобы не допустить этого. Все-таки она не хотела его огорчать. Однако он, казалось, не понимал мотивов, которыми она руководствовалась, или не хотел слышать того, что не может рассчитывать на ее чувства, а постоянно и упорно возвращался к своей теме.

Собственно говоря, ей не в чем было его упрекнуть, возможно, лишь в том, что он был полностью поглощен своей карьерой, что постоянно работал, учился, старался больше зарабатывать и попросту не мог понять ее поведения. Не далее как несколько дней назад, они едва не поссорились по этому поводу.

– Я не понимаю вашего отношения к своему будущему, – сказал он. – Вы тратите время на практику, которая не только не приносит вам ни гроша, но и не продвигает вас ни на шаг вперед в изучении медицины.

– Потому что вы – эгоист, – ответила она безразличным тоном.

Кольский искренне возмутился.

– Вовсе я не эгоист, только считаю, что для того, чтобы раздавать, прежде всего надо иметь. Поэтому, когда я стану действительно доктором в полном смысле этого слова, когда у меня будет хорошая практика, позволяющая мне и моей будущей семье не беспокоиться о быте, уверяю вас, панна Люция, я так же, как и вы сейчас, буду заботиться о каких-нибудь

детских приютах или доме престарелых. Профессор Вильчур, которого вы ставите так высоко, – смею вас заверить, что знаю это совершенно точно, – в начале своей карьеры не страдал филантропией, а лишь работал над собой и для себя.

Люция пожала плечами.

– Здесь не идет речь о филантропии. Насколько же вы не понимаете меня... Я не из чувства филантропии забочусь о бедных.

– Ну, все равно. Это можно назвать, если вам так удобнее, чувством общественного долга.

– Ну уж нет, пан Ян. Не может быть речи о долге там, где получаешь удовольствие. Я это делаю для себя. Меня радует тот факт, что я могу для чего-нибудь пригодиться, что действительно нужна этим людям, у которых нет денег на лекарства, на лучшего доктора.

– Согласен. Одобрю при одном условии: прежде всего надо стать этим лучшим доктором, больше времени уделять учебе в клинике, а не каким-то там стандартным заболеваниям, которые вас ничему не научат.

Она посмотрела ему прямо в глаза.

– Скажите мне, пожалуйста, не будут ли именно такие худшие врачи, как я, этим беднякам нужны всегда?

На лице Кольского появилось раздражение.

– Вероятно, но зачем этим должны заниматься вы, погрязая в этом ценой своих способностей и возможностей на будущее?

– Вот видите, в вас говорит эгоист. Моих способностей, моих возможностей. Вы не принимаете в расчет то, что я, возможно, и не ищу никаких других возможностей, что, может быть, нахожу самое большое удовольствие именно в таком, а не в другом использовании моих способностей. Как вы смешны в своем ослеплении! Вам кажется, что все люди должны иметь те же склонности и желания, что у вас.

– Не те же, только разумные, разумные!

Ей хотелось ответить, что рассудок в его интерпретации сводится к бухгалтерии, но она воздержалась.

Во всяком случае, этот разговор несколько охладил их отношения, и полученные сегодня розы Люция могла воспринять как форму извинения. Это предположение несколько рассердило ее. Во-первых, потому, что она знала чрезмерную бережливость Кольского, который из своих небольших доходов должен был выдать порядочную сумму на эти цветы. Она понимала, что сделал он это не без умысла и что эти расходы он будет долго помнить. Во-вторых, у нее было врожденное чувство неприятия чего бы то ни было от людей, с которыми она не могла или не хотела рассчитаться. Наконец, она понимала, что анонимность для Кольского была самоотверженным поступком, так как он принадлежит к тому типу людей, которые специально не гонятся за известностью, однако всегда стараются подчеркнуть свое присутствие в различных делах, свое участие.

Эти недостатки Кольского не вызывали у Люции возмущения, скорее она смотрела на них снисходительно. И все же она решила сделать ему выговор за присланные цветы и подчеркнуть, что ей не нужны подобные доказательства памяти.

Такая возможность представилась ей сразу же после праздников. Поздним вечером, работая в лаборатории клиники за микроскопом при исследовании крови одного из пациентов, она услышала за спиной шаги Кольского. Пользуясь тем, что можно сделать свои замечания, не глядя в глаза Кольскому, она с полной уверенностью обратилась к нему:

– Хорошо, что вы пришли. Как раз я хотела с вами поговорить. Зачем вы делаете такие вещи? Поверьте мне, что я не могу даже поблагодарить вас, потому что это не вызвало у меня ни малейшей радости.

Кольский искренне удивился.

– Я не знаю, о чем вы говорите, панна Люция.

– Не притворяйтесь. Я говорю о цветах. Вы делаете бессмысленные расходы, какие-то подарки, которые не соответствуют нашим отношениям.

– Я ничего не знаю ни о каких цветах, – заявил он решительно.

Она подумала, что он сам понимает сейчас бессмысленность своего поступка и пользуется анонимностью, чтобы не признаться в этом.

– Я не думала, что у вас так мало гражданской смелости, – сказала она холодно.

Некоторое время Кольский молчал.

– Панна Люция, – начал он, – наверное, здесь какое-то недоразумение. Кто-то хотел сыграть с вами, или со мной, или с нами обоими шутку и подписался моим именем. Гражданской смелости у меня всегда было достаточно, да и зачем мне стыдиться того, что я посылаю вам цветы? И я сделал бы это наверняка, – добавил он после минутного колебания, – если бы не знал, что у вас подобные проявления... дружеских чувств не найдут одобрения.

Люция повернула голову и смотрела на него с удивлением: не вызывало сомнения, что он говорил правду.

– Значит, эти розы не вы прислали?.. Присланы анонимно... Поэтому я думала... Извините меня, пожалуйста.

Ситуация была очень неприятной. Люция чувствовала себя так, точно она хотела убедить этого человека, что он любит ее больше, чем в действительности. Кольский был в отчаянии, оттого что совершил непростительную ошибку и на праздники не сделал Люции маленький рождественский подарок. Это могло выглядеть так, что он вообще о ней забыл. А возможно, Люция специально придумала эти розы, чтобы подчеркнуть его невнимательность по отношению к ней?..

Он стоял у лабораторного стола, в замешательстве глядя на ее склоненную фигуру в белом халате. Он видел ее светлые волосы, пылающие щеки, белые сильные руки, манипулирующие у микроскопа.

– Прошу вас, извините меня, – повторила она.

– О, вовсе не за что, – ответил он неловко.

– Есть за что, потому что подозревала, что вы могли совершить такую глупость, – уверенно ответила она.

– Это совсем не глупость, – запротестовал Кольский. – Это мне следует извиняться перед вами, что забыл о Рождестве для вас.

Она слегка пожала плечами.

– Не вижу, на каком основании именно вы должны были помнить о празднике для меня.

Нет ни малейшего основания.

Он заколебался.

– Основание, что следует помнить о тех, кого считаем самыми близкими для себя...

Понимая, к чему клонит Кольский, Люция со смехом прервала его:

– Действительно. Не слишком ли долго мы находимся близко друг к другу? Мне кажется, что вы уже должны быть в своем отделении.

Сейчас без четверти одиннадцать.

Однако Кольский продолжал:

– Почему вы, панна Люция, не хотите выслушать меня? Почему каждый раз, когда я хочу высказать вам то, что чувствую, чувствую уже давно, чем живу, что наполняет мои мысли... Почему вы...

Не поднимая головы от микроскопа, она быстро ответила:

– Потому что это не нужно и бесцельно.

– Но вы же знаете, вы не можете не знать, что я люблю вас, – заговорил он порывисто.

– Я знаю, что это вам только кажется. – Она быстро вынимала стекла из микроскопа.

Сделала несколько записей на бланке и встала.

Он загородил ей дорогу.

– Панна Люция, вы не увидите, пока не выслушаете меня. Почему?.. В чем вы меня упрекаете?

– Ни в чем.

– Так почему?.. Почему вы с таким пренебрежением, с таким страхом, сам не знаю, как это сказать, отвергаете мои чувства?

Она покачала головой.

– Я не отвергаю. Я просто не могу их принять, потому что не в состоянии ответить вам тем же.

– Разве же я прошу у вас этого? Разве я прошу у вас чего-нибудь? Я хочу только, чтобы вы позволили говорить вам о моей любви, я хочу только иметь надежду на то, что когда-нибудь в вашем сердце отзовется пусть не любовь, но хоть малейшая крупинка симпатии, доброжелательности, нежности...

Люция заглянула ему в глаза.

– Пан Янек, я хочу, чтобы вы меня поняли. Я чувствую по отношению к вам большую симпатию и доброжелательность, но знаю, уверена, что этого очень мало по сравнению с тем, что могу, что должна была бы чувствовать к человеку, с которым желала бы соединить свою жизнь. Я не ребенок, мне уже 26 лет. Вы должны знать, что я уже умею смотреть на людей, на жизнь и на себя трезво. Я считаю вас самым милым из моих коллег, и если, как вы правильно заметили, я так долго старалась уйти от этого разговора, то лишь по той причине, что не хочу потерять вашу дружбу, которую очень ценю. Но уж если вы вынудили меня, то считаю своим долгом заверить вас, что я вас не люблю и ни когда не полюблю. Кольский стоял бледный, с какой-то безнадежной улыбкой на губах. Жалость сдавила сердце Люции.

– Мне, действительно, жаль, пан Янек, – она взяла его за руку, – но вы же сами считаете, что лучше сказать все откровенно, чем обманывать вас какими-то обещаниями, которых я не могу и никогда не смогу выполнить.

– Значит, вы не оставите мне даже тени надежды? – едва слышно спросил Кольский.

– Даже тени, пан Янек. И не стоит жалеть об этом.

Она взяла со стола бланки и направилась к выходу. Когда была уже у двери, он позвал ее:

– Панна Люция, еще один вопрос. Она задержалась.

– Вы... вы любите другого?

– Разве это имеет значение? – спросила она после паузы.

– Очень большое, – ответил он.

– Да, я люблю другого.

– Еще один. Вы любите... Вильчур?

Она не ответила. Кольский приблизился к ней.

– Но это же безрассудство, панна Люция... Он же старый... человек, изнуренный жизнью... Что он может дать вам?.. Вы же сами знаете, как я уважаю его и с какой симпатией отношусь... Я бы не говорил вам всего этого, если бы не понимал чудовищную нелепость этого союза; он и вы. Он, который уже заканчивает жизнь, и вы, которая ее только начинаете. Он, в ком, наверное, уже родилось и умерло не одно чувство, и вы, которая этих чувств еще не знали. Поймите, это безрассудство. Я уважаю его и за многое благодарен, но я люблю вас, и мой долг сказать вам все это, панна Люция. Подумайте, что он может дать вам! Что он может дать вам!..

На лице Люции появилась усмешка.

– Дать?.. Дать?.. Насколько же вы не знаете меня!.. Он так много мне даст, все мне даст, если захочет принять. Принять то, что я могу дать ему.

Она смотрела на Кольского, но он чувствовал, что она его не видит. Ее глаза грустно улыбались.

Она постояла с минуту, потом медленно повернулась и вышла. Кольский не двигался с места. Еще минуту назад в нем все восставало против несчастья, но сейчас им овладела апатия. Он оказался перед чем-то, чего, конечно, понять не мог, сейчас он не мог оперировать категориями нормального рассудка, мерками, которыми привык пользоваться в отношениях людей, мерками, опирающимися на законы, которым он верил. И вдруг он понял, что совершенно не знал Люцию, ее психологию и вообще психологию женщин. Несмотря на свои тридцать лет, он имел весьма скромные познания в этой области. Выходец из бедной семьи, с раннего детства предоставленный собственной судьбе, он развил в себе инстинкт подчинения тем законам, которые руководили борьбой за жизнь. А поскольку он ничего не умел делать наполовину, то полностью отдался действительности. Действительностью же для него была работа и неустанно действующий импульс: вперед, быстрее, лучше!

Под таким лозунгом протекала его жизнь. Для личных удовольствий, развлечений ему лишь изредка удавалось урвать несколько часов. Знакомства с женщинами он относил как раз к развлечениям, пока не познакомился с Люцией.

В отделении все было в порядке. Ночь обещала быть спокойной. Он смело мог лечь в дежурной комнате, чтобы поспать, но спать совершенно не хотелось. Постепенно он упорядочивал свои мысли, а из них все отчетливее вырисовывался проект: если Люция

настолько безрассудна, следует сделать все, чтобы помешать ей, не позволить совершить такую ошибку, которая могла бы поставить на карту все ее будущее.

Никакие уговоры, естественно, не помогут. В этом он не сомневался. Оставалось только отдалить ее от Вильчура каким-нибудь удобным способом. Но каким?.. На это долго не находил ответа. Если бы он был с профессором в близких и дружеских отношениях, чтобы позволить себе поговорить с ним искренне и откровенно, у него были бы определенные шансы осуществить свой план. Кольский не сомневался, что этого мудрого человека переубедить не составило бы труда. Но сама ситуация была слишком интимной, личной, чтобы можно было коснуться ее. Да и, кроме того, этот шаг таил угрозу Кольскому: он понимал, что если бы Люция узнала о его несвоевременном вмешательстве, то вообще порвала бы с ним.

Нет, это не годилось.

Был еще один путь. Все в клинике понимали, что скоро, может быть через год, а может, через полгода, профессор Вильчур под давлением вынужден будет отказаться от клиники и уйти. До сего времени Кольский думал об этой неизбежности с грустью, но сейчас из-за Люции это показалось ему желанной возможностью. Он был уверен, что ему удастся, несмотря на конфликт Люции с профессором Добранецким, удержать ее в клинике. Он знал, что Добранецкий считается с ним, считается с его популярностью у коллег и в начальный период своего руководства не откажется на радикальные перемены. Наоборот, будет избегать конфликтов и постарается сплотить коллектив. А потом все как-нибудь устроится. В конце концов, Люция как доктор отличается многими достоинствами: трудолюбием, обязательностью, интуицией. Со временем Добранецкий помирится с ней... Эти размышления привели Кольского к выводу, что в собственных интересах, а прежде всего в интересах Люции не следует задерживать Вильчура в клинике. Наоборот, следует взаимодействовать с той группой, которая старается ускорить его отставку. С тяжелым сердцем принял доктор Кольский это решение, но иного принять все-таки не мог.

И Люция тоже не могла уснуть в эту ночь. Ее возмутил и расстроил разговор с Кольским, к которому он так грубо принудил ее. Она глубоко переживала его не деликатность и в то же время опасалась, что их отношения теперь уже не смогут вернуться к прежней свободе, не смогут ограничиваться дружбой, которую она так ценила. Своей нетактичностью он ничего не добился, а только все испортил. Возвращаясь домой, она упрекала себя в том, что отнеслась к нему слишком мягко. Следовало объяснить ему убедительнее, что означают такие признания и как она оценивает такую назойливость.

Занятая этими мыслями, она совсем забыла о цветах и только в своей комнате, увидев в вазе розы, задумалась:

– Если эти розы прислал не он, то кто же?..

У нее было немного знакомых и среди них никого, кто бы мог сделать нечто подобное. Она догадывалась, что нравится некоторым коллегам и, возможно, молодому Зажецкому, хотя все они знали, что им надеяться не на что.

И все-таки кто?..

Вдруг кровь ударила ей в лицо. Шальная, вздорная и дерзкая мысль! Однако что-то ей говорило, что-то ее убеждало, что-то утверждало в ней самую глубокую уверенность, что это он, профессор Вильчур, прислал ей цветы.

Сердце билось все сильнее и быстрее. Она всматривалась в розовый букет, точно ждала от него подтверждения своей догадки. И, наконец, она как бы получила это подтверждение и с облегчением улыбнулась.

Нет-нет. Интуиция в этом случае не могла ее подвести. Как ей хочется крепко прижать эти цветы к своей груди...

Наклонившись над ними, она почувствовала легкий, едва уловимый запах. Холодные лепестки нежно касались пылающих щек, и многие из них густым дождем осыпались на столик.

Однако!.. Значит, он помнил о ней, значит, думал о ней именно в рождественский день.

Я была так доверчива! Я поверила ему, когда он сказал, что уезжает!.. Конечно, он в Варшаве. Все праздники он провел в одиночестве. Совсем один.

Она взглянула на часы. Был уже первый час. Несмотря на это, решила позвонить, так как знала, что профессор никогда рано спать не ложится. Во всяком случае она узнает что-нибудь у Юзефа.

С лихорадочной поспешностью она набирала номер. В трубке долгое время раздавался размеренный гудок, после чего, наконец, послышался какой-то хриплый незнакомый голос.

– Душа покаянная, чего требуешь?

– Это... квартира пана профессора Вильчура? – неуверенно спросила Люция.

– Действительно, ты угадала, девочка. Это именно его земная квартира. Унд майн либхен, вас вилст ду нох мер?

– Нельзя ли попросить пана профессора? – после минутного колебания спросила озадаченная Люция.

– В зависимости о чем, голубка. Если золотые часы и кусочек сахару, думаю, что можно. Если для того, чтобы вырезать аппендикс, то я не советую. Если сыграть партию в гольф, то об этом не может быть и речи. Если просить руки, то опоздала как минимум лет на тридцать. Если попросить рюмочку алкоголя, то ничего из этого не получится, потому что я наложу свое вето. Хотя в святом писании говорится "просите и вам воздастся", заметь, беголовая, ведь не говорится, что дадут тебе то, о чем просишь. Просишь, например, печенье с миндалем, а получишь желтую лихорадку с осложнениями. Просишь о вдохновении, а тебе принесут яичницу из четырех яиц на сале. Боите а сурприсес. Сапрайспати с провидением. Ну, так о чем же ты просишь, миа белла?

– Я бы хотела попросить пана профессора к телефону, – сказала испуганная Люция.

– Невыполнимо, – категорически ответил хриплый голос. – Невозможно по трем причинам. Примо: профессора нет в Варшаве. Секундо: не далее как несколько часов назад он признал правильность моих убеждений: на разговоры с женщинами жаль времени. И тертио: если бы даже он был сейчас в Варшаве и пожелал бы потратить минут пятнадцать для разговора с тобой, то сделать этого не сумел бы, потому что лежит сейчас под столом, не проявляя ни малейшего желания приходить в сознание. Я держусь из последних сил. Адью, синьора, гуд бай.

Сказав это, он положил трубку.

Глава 6

Секретарь председателя Тухвица доложил:

– Профессор Вильчур сегодня вернулся из отпуска и готов принять вас прямо сейчас. Он интересовался, не беспокоит ли вас что-нибудь, но я ответил, что не знаю.

Тухвиц кивнул головой.

– Хорошо, спасибо. Попросите шофера заехать.

Десятью минутами позднее он уже был в клинике. Его сразу же провели в кабинет профессора Вильчура, который встал, чтобы приветствовать гостя.

– Мне следует принимать вас как гостя, как пациента или как шефа? – спросил он с улыбкой.

Председатель сердечно и долго жал ему руку.

– Слава Богу, на здоровье не жалею. Я хотел бы поговорить с вами, пан профессор, немного о делах.

– Слушаю вас, – кивнул головой Вильчур, одновременно указывая гостю кресло.

Тухвиц удобно устроился и, набивая трубку, сказал:

– Слишком мало вы отдыхали, дорогой профессор. Выглядите вы неважно.

Действительно, отпуск не способствовал улучшению состояния здоровья Вильчура, и это было заметно.

– Моя стихия – работа, – пояснил он серьезно. – Ничто не утомляет меня так, как бездействие.

– Я знаю кое-что об этом, – согласился Тухвиц. – Это входит в плоть и кровь, становится привычкой, опасной привычкой. Знаком я с этим. Мы с вами, кажется, одного возраста, а у

меня все еще нет желания бросить работу, хотя догадываюсь, что и у меня, как и у вас, пан профессор, молодые и смелые хотели бы столкнуть начальника, чтобы занять его место. Профессор Вильчур нахмурил брови. Собственно говоря, с самого начала он был готов именно к такому разговору.

– Я предвидел, – сказал он, – что местные интриги против меня дойдут до вас в форме сплетен или удачно поданных мыслей.

Председатель покачал головой.

– Нет, пан профессор. Они дошли до меня более непосредственным способом. Я получил докладную записку, подписанную несколькими докторами нашей клиники, записку, о которой как раз и хочу искренне и откровенно поговорить с вами. Уверяю вас, пан профессор, без какого-то конкретного замысла. Мне просто очень хочется рассказать об этом деле и вам же предоставить решающий голос. Я уважаю вашу порядочность и самокритичность.

– Весьма благодарен вам, пан председатель, за это, – сказал Вильчур.

– Я не хочу оказывать ни малейшего давления на ваше решение, ни малейшего, – продолжал Тухвиц. – Я просто не разбираюсь в этом. Я получил одностороннее освещение вопроса. Добавлю еще, что у меня сложилось впечатление, о котором я уже упоминал раньше, что ваши противники меньше руководствуются объективными побуждениями, а больше своей амбицией. Несмотря на это, я считаю, дорогой профессор, что кампания, начатая против вас подчиненным вам коллективом, не может не оказать влияния на нормальное функционирование учреждения. Эта ситуация требует оздоровления. Короче говоря, или вы соглашаетесь со своей отставкой, или должны будете убрать тех, кто выразил вам недоверие. Существующее положение не может продолжаться дальше.

Вильчур ответил с грустью:

– Я согласен с вами, пан председатель, полностью. Я хотел бы только услышать претензии, какие мне предъявлены.

Председатель открыл портфель.

– У меня с собой копия докладной записки. Оригинала нет, так как там подписи. Вы, разумеется, понимаете, что занимаемое мной положение требует соблюдения определенной секретности.

– Без сомнения, – согласился Вильчур.

– Само собой разумеется, в случае, если вы примете второе решение, я вручу вам оригинал, чтобы вы смогли уволить его авторов. Сейчас вручаю вам копию.

Он подал Вильчур несколько машинописных страниц. Профессор углубился в чтение. Как он и предполагал, ничего нового и существенного он в них не нашел. Все вертелось вокруг подозрений, что амнезия оставила в его психике значительный след, что знахарство извратило его методы лечения, что хромает организация работы в клинике из-за недосмотра, вялого администрирования и покровительства отдельным лицам персонала. Приведен ряд откликов прессы в подтверждение того, что клиника утрачивает свою безупречную репутацию, свое утвердившееся на протяжении долгих лет доброе имя лучшей клиники в столице.

Вильчур сложил страницы и с иронической улыбкой обратился к Тухвицу.

– Что вы об этом думаете? – серьезно спросил Тухвиц.

Профессор Вильчур взял карандаш.

– Отвечу по порядку на все претензии. Если речь идет об амнезии, то ни один из специалистов ни слова не упоминает о том, что ему пришлось когда-нибудь у кого-нибудь из пациентов наблюдать ее рецидив. Ни один. Вы, я думаю, догадываетесь, пан председатель, что я сам был заинтересован этой проблемой, и после того, как я пришел в себя, я изучил все, что когда-либо было написано на эту тему.

– Вполне понятно, – согласился Тухвиц.

– Таким образом, первая претензия отпадает. Вторая касается моего знахарства. Она вообще смешотворна. Не думаю, чтобы кто-нибудь из авторов этой докладной располагал более глубокими медицинскими знаниями, чем я. Большинство занятого здесь персонала черпало эти знания у меня, черпало и черпает. Именно во время моей знахарской практики я узнал несколько лечебных средств, неизвестных официальной медицине или заброшенных ею. На практике эти средства оказались хорошими и результативными.

Почему же я не должен их использовать? Медицина не претендует на безошибочность. Те специалисты, которые подписали этот документ, видимо, считают себя непогрешимыми. Остаются еще две претензии. Первая касается плохой организации работы в клинике, в результате чего она утрачивает свою репутацию. Пан председатель! Эту клинику основал я, основал много лет назад и думаю, что именно у меня есть право сказать, что ее прежнее доброе имя – это моя работа.

– Несомненно, – согласился председатель.

– Это правда, – продолжал Вильчур, – в последнее время репутация клиники стала портиться. Разберемся объективно почему. Здесь нет никаких других причин, кроме той, что люди, которые решили меня убрать, стараются испортить ее. Это просто агитация. Я не буду называть фамилий, не буду перечислять факты. Однако уверяю вас, что знаю, кто и каким образом вредит клинике. До настоящего времени я не сделал из этого никаких выводов. Я верил в людей, надеялся, что опомнятся, остановятся, что проснется у них совесть. Я верил и в то, что общество заметит, какими толстыми нитками шита эта грязная работа. Но я ошибся. Наконец, претензия последняя. Говорят, что я стар и измучен, что беспорядок в клинике – это результат истощения моей энергии и руководящих способностей. Пан председатель, я согласен, что моя энергия в последнее время подорвана, состояние нервной системы оставляет желать лучшего, мое здоровье надломлено. Это все правда. Но такое мое состояние имеет причину. Единственной причиной его является эта омерзительная кампания лжи и сплетен, которую проводят мои враги. Я понимаю, что вас, как представителя общества, которому принадлежит клиника, может мало интересовать, почему снизился авторитет руководителя клиники. Для вас важен результат, объективный факт: снизился. Поэтому я не могу воспользоваться любезно предоставленным мне правом принять решение. И прошу вас, не обременяйте меня решением этого вопроса.

– Однако если вы позволите, пан профессор, я буду настаивать на своем. Повторяю, я совершенно убежден в вашей объективности и знаю, что ваше решение будет единственно правильным.

Вильчур задумался и спустя несколько минут ответил:

– Хорошо, пан председатель. Но я прошу вас дать мне несколько дней. Я подумаю, а поскольку претензии ко мне изложены в письменной форме, мне бы хотелось ответить на них так же. Поверьте мне, что в данную минуту у меня еще нет никакого решения. Я должен обдумать все это, основательно исследовать ситуацию, должен проверить, буду ли я располагать достаточным аппаратом для ведения клиники после освобождения недовольных. Вы не упомянули, пан председатель, сколько из моих сотрудников подписало эту докладную; Но относительно хорошо зная всех своих подчиненных, я могу вас заверить, что среди них окажется наверняка больше таких, кто станет на мою защиту, чем тех, кто выступил против меня. Председатель встал.

– Я тоже в этом убежден. Я оставляю вам эту копию и буду ждать ваш ответ. Еще раз заверяю вас, пан профессор, в моем искреннем уважении и дружеском отношении к вам. После ухода Тухвица Вильчур долго размышлял. Красная лампочка над дверью его кабинета не гасла, и каждую минуту посетители, хотевшие с ним встретиться, напрасно заглядывали в приемную.

На двух листах бумаги Вильчур выписывал фамилии врачей, которые выскажутся за ту или другую сторону. Первую страницу открывал профессор Добранецкий, вторую – доктор Кольский. Этот предполагаемый список показал, что Вильчур мог рассчитывать на лояльность большинства персонала. Он решил сейчас же приступить к делу и поочередно с каждым провести беседу. Первого он вызвал доктора Кольского.

Вильчур молча приветствовал его, предложил сесть и, подавая докладную, сказал:

– Несколько коллег выразили в такой форме свое желание, чтобы я отказался от руководства клиникой. Возможно, вы будете любезны прочитать это.

Кольский слегка покраснел и погрузился в чтение. Прочитав, он поднял глаза на профессора.

– У меня к вам просьба, – обратился к нему Вильчур. – Речь идет о вашей искренности, об абсолютной искренности: выскажите свое мнение об этом трактате.

– Это... это, – заикаясь спросил Кольский, – это так необходимо, пан профессор?

Вильчур кивнул головой.

– Для меня да, и еще раз прошу вас сделать это совершенно искренне.

Кольский, по-видимому, смутился и начал неуверенно:

– Ну... разумеется... уже сам факт появления такой докладной, по моему мнению, можно считать чем-то вроде непристойности... Я допускаю, что даже Совет докторов мог сделать из этого свои выводы, ну, скажем, дисциплинарно. Это не по-товарищески. Во всяком случае, я считаю, что они должны были предупредить о своем шаге пана профессора. Если не сделали этого, ничто их не оправдывает. Выносить наружу внутренние дела клиники... это, действительно, непорядочно.

Он перевел дыхание и умолк.

– А что вы думаете о содержании докладной? – спросил Вильчур.

– С содержанием тоже нельзя согласиться, – постепенно овладевая собой, сказал Кольский.

– Здесь слишком сгущены краски...

– Сгущены, – вполголоса повторил Вильчур.

– Да, пан профессор, сгущены. Некоторые претензии вообще безосновательны. В них можно даже увидеть злую волю авторов. Например, эти рецидивы амнезии или ваша склонность применять лекарственные средства, не используемые сейчас вообще. Это совершенно несерьезные претензии.

Вильчур, который надеялся, что этот документ вызовет у его ассистента бурю возмущения и негодования, изумленно слушал его спокойные, деловые и, казалось, хладнокровные рассуждения.

– Кроме того, докладная составлена, – продолжал Кольский, – с откровенной недоброжелательностью по отношению к вам. Если бы я был адресатом, уже это вызвало бы у меня недоверие к авторам, натолкнуло бы на мысль о том, что для личной выгоды, а не для блага клиники воспользовались они существенными сторонами ситуации.

Профессор Вильчур приподнял брови и, глядя на Кольского, спросил:

– А что это за существенные стороны ситуации?

Кольский с минуту помедлил.

– Поскольку пан профессор настаивал на том, чтобы я искренне высказал свое мнение...

– Только об этом я и прошу, – подчеркнул Вильчур.

– В таком случае я буду откровенен. Вы знаете, пан профессор, с каким уважением, благодарностью и преклонением я отношусь к вам. Однако, будучи объективным, должен сказать, что коллегам нельзя отказать в правоте, когда они утверждают, что вы устали и что результаты этой усталости весьма неблагоприятно отражаются на работе клиники. В последнее время вы практически не обращаете внимания на то, что здесь происходит. А здесь сложилась очень неблагоприятная ситуация. Персонал возбужден, не прекращаются интриги, сплетни, сведения счетов. Словом, развал. Для руководства таким большим учреждением, вы согласитесь со мной, нужна сильная, уверенная рука, крепкие нервы, ну и почти постоянное присутствие на работе. Я понимаю, что, говоря это, доставляю вам огорчение, но, поскольку вы спросили меня, предпочитаю говорить открыто.

Он закончил, и в комнате воцарилось тягостное молчание. Наконец, профессор встал. Ему хотелось улыбнуться, подавая Кольскому руку. Однако он не смог справиться со своими чувствами.

– Спасибо, коллега, – лаконично сказал он.

Не произнеся ни слова, Кольский вышел из кабинета. Когда за ним захлопнулась дверь, Вильчур тяжело опустился в кресло.

Вот так внезапно со стороны, откуда он меньше всего ожидал, был получен удар. И удар этот был особенно болезненным, потому что его нанесла рука, от которой он ждал самой большой помощи.

Неужели на самом деле он утратил самокритичность?.. Неужели не сумел почувствовать упадок духовных и физических сил, который видят в нем уже не только враги, но и друзья? Неужели действительно стал бездарным человеком, дряхлой развалиной, помехой для других?.. Он, кто чувствует в себе столько силы, веры в себя, жажды работать!..

Он грустно посмотрел на стол, где лежали два листа бумаги. Затем медленно взял их, измял и выбросил в корзину. Зачем обращаться к другим? Все они, если отважатся только на такую откровенность, как Кольский, повторят то же самое. Вызывать их для того, чтобы

опять почувствовать унижение, чтобы услышать те страшные, сокрушающие слова – он верил, несправедливые, но сказанные с убеждением в их правоте...

Борьба была проиграна. Он понял это и сумел поступить так, как подсказывала ему совесть. Спокойно достал лист бумаги из стола и написал:

"Уважаемый пан председатель! Подумав и изучив ситуацию в клинике, я пришел к убеждению, что единственным правильным решением вопроса будет мой уход. Так как после принятия такого решения мне было бы очень тяжело оставаться здесь еще даже на несколько дней, я позволяю себе передать руководство клиникой профессору Ежи Добранецкому, моему заместителю, который в совершенстве владеет всеми вопросами. С уважением

Рафал Вильчур".

Он сложил страницу вчетверо, вложил в конверт, написал адрес председателя Тухвица и нажал кнопку звонка.

– Отправьте, пожалуйста, сейчас, – обратился он к курьеру, – и сообщите профессору Добранецкому, что я хочу с ним поговорить.

Добранецкого пришлось ждать недолго. Но этого было достаточно для того, чтобы Вильчур смог овладеть собой и поздороваться совершенно спокойно:

– Прошу садиться. Я хотел с вами поговорить, если вы располагаете временем.

Добранецкий взглянул на часы.

– У меня до операции двадцать минут.

– Ну, столько я не отниму у вас.

– О чем речь? – спросил Добранецкий.

– Недавно был здесь у меня председатель Тухвиц. Он сказал, что некоторые врачи нашей клиники подписали докладную, в которой предлагалось мое освобождение. Но председатель Тухвиц не назвал мне никаких фамилий. Я прочел эту докладную, и у меня есть основания предполагать, что ее автор – вы, автор и инициатор.

Добранецкий слегка прикусил губу, но поднял голову и, глядя в глаза Вильчур, ответил:

– Да. Я не собираюсь скрывать это.

– И причины нет у вас, – подхватил Вильчур.

– Нет причины, нет, – подтвердил Добранецкий. – Я не принадлежу к числу тех людей, которые чего-нибудь боятся и которые соглашательски готовы мириться с тем, что считают злом, вместо того чтобы любыми средствами противостоять этому.

Вильчур усмехнулся.

– Как вы точно выразились: любыми средствами. Вы не погнушались ни одним, но не об этом я хотел с вами говорить. Так вот, Тухвиц выдвинул альтернативу, оставляя за мной право выбора: или, оставаясь руководителем клиники, убрать из нее тех, кто, обманывая общественное мнение, вредит ей, или уйти самому.

Он умолк, ожидая вопроса Добранецкого. Тот, однако, лишь несколько побледнел, но не произнес ни слова. Вильчур смерил его презрительным взглядом.

– Тухвиц оставил решение за мной, и я его уже принял: несколько минут назад я послал ему письмо с отказом от руководства.

На лице Добранецкого выступили красные пятна.

– Я сообщаю об этом вам, потому что в том же письме содержится мое решение о передаче клиники в ваши руки. И я хотел спросить вас, окажете ли вы мне эту маленькую любезность принять ее.

Добранецкий пошевелил губами, но ничего не сказал.

– Это облегчило бы для меня ситуацию, – продолжал Вильчур спокойным тоном. –

Передавая руководство кому-нибудь другому, я был бы вынужден затратить много времени на всякого рода объяснения, в то время как вы, неоднократно замечая меня, прекрасно обо всем осведомлены. Только сегодня я вернулся из отпуска, поэтому мне меньше известны текущие дела клиники, чем вам. Так вы согласны?

– Согласен, – лаконично ответил Добранецкий.

Вильчур встал.

– Значит, вопрос решен, и я вас поздравляю. Добранецкий тоже встал и сказал:

– Прощайте, пан профессор.

Он протянул Вильчур руку, но тот покачал головой.

– Нет, извините. Руки я вам подать не могу.
Добранецкий на какой-то момент застыл как изваяние, потом вдруг резко повернулся и быстро вышел из кабинета.
У профессора Вильчура было еще довольно много работы. В его кабинете в шкафах и ящиках стола лежали книги, принадлежащие ему, записки, планы лекций... Следовало во всем этом разобраться, все это сложить, а затем попросить, чтобы запаковали. Когда он закончил эту работу, на улице уже смеркалось.
Вильчур оделся и, проходя через приемную, увидел Люцию. Она ждала его.
– Добрый вечер, панна Люция, – обрадовался он. – Я думал, что вас сегодня нет в клинике. Почему вы не заглянули ко мне?
– Я заходила сюда много раз, пан профессор, но над дверью вашего кабинета все время горела красная лампочка.
– Ах, да-да. Я был очень занят.
– Сегодня закончился ваш отпуск?
– Сегодня, – подтвердил Вильчур.
– Какой же вы нехороший, пан профессор! Все праздники ведь были в Варшаве, а я об этом ничего не знала.
Он улыбнулся, глядя на нее.
– А как вы узнали?
– У меня есть аж два доказательства вашего присутствия в Варшаве.
– Даже два?
– Да. Я звонила вам.
– Но Юзеф об этом мне ничего не говорил.
– Потому что вовсе не Юзеф подходил к телефону, а какой-то странный человек. Мне показалось, что... что он... Извините, пожалуйста, но мне показалось, что он душевнобольной.
– Душевнобольной?
– Ну да. Он говорил такие глупости и был, кажется, совершенно пьян.
Профессор рассмеялся и махнул рукой.
– Да, действительно. Это Емел. Вы знаете его. Это бывший наш пациент. Премилый человек.
– Премилый? – удивленно спросила Люция. – Кажется, был такой бандит в бесплатном отделении.
– Именно тот, – подтвердил Вильчур. – Это какой-то деклассированный интеллигент. Из него невозможно вытянуть, кем он был в прошлом. На сегодня он, действительно, бандит. Я даже не знаю, как его зовут. Познакомился я с ним много лет назад, и тогда, если мне память не изменяет, он назвался Обядовским или Обе-диньским. Сейчас носит фамилию Емел. Через год, возможно, сменит на какую-нибудь более удобную. Да, это странный человек. Он, действительно, бандит...
– И пьяница, – добавила Люция. – Мне было бы стыдно повторить вам все то, что он мне наговорил... Вы в самом деле пили с ним, пан профессор?
– Пил немного... может, многовато, – усмехнулся Вильчур. – Но вы одеты? Уходите?
– Да. Я ждала здесь вас, потому что курьер мне сказал, что вы скоро освободитесь.
– Прекрасно. Значит, идем.
Спустились легкие сумерки. Приятно дышалось свежим воздухом. Они перешли на другую сторону улицы. Профессор остановился и стал всматриваться в здание больницы. Почти все окна были освещены мягким белым светом. Высокий горделивый фасад представлял собой нечто достойное, спокойное и вечное.
Профессор стоял неподвижно. Проходили минуты. Озадаченная его необычным поведением, Люция заглянула ему в лицо и увидела две слезы, спадающие по щекам.
– Профессор! – произнесла она шепотом. – Что с вами?
Он отвернулся и, улыбнувшись, сказал:
– Разволновался немного. Я оставил здесь свое сердце...
– Оставили?
– Да, панна Люция. Оставил. Я никогда уже не вернусь сюда. Это – прощание.
– Что вы говорите, пан профессор?!

– Это так, панна Люция. Сегодня я был здесь в последний раз. Я подал рапорт об уходе, передал руководство профессору Добранецкому... Старый уже я, панна Люция. Люция не смогла ничего ответить: ей сдавило горло. Она дрожала как в лихорадке. Вильчур заметил это и нежно взял ее под руку.

– Пойдемте. Собственно, ничего страшного не произошло. Обычный порядок вещей: старики уступают место молодым. Так было с зарождения земли. Не переживайте, панна Люция...

– Это страшно... это страшно... – повторяла она дрожащими губами.

– Ничего страшного. Все так убеждали меня в том, что я должен отдохнуть, вот я, наконец, и поверил им. Давайте оставим это в покое. Как вы провели праздники? Она покачала головой.

– Ой, профессор, я, действительно, не могу собраться с мыслями. Эта новость обрушилась на меня как гром с ясного неба.

Он слегка рассмеялся.

– Ну, скажем, не совсем с ясного. Уже давно эта туча висела над моей головой, и раздавался не столько гром, сколько какое-то шипение и свист. Очень странная туча. Утешает меня лишь то, что единственный раскат грома прогремел по моему желанию... Ну, так расскажите мне, как вы провели праздники.

– Зачем же вы спрашиваете? – ответила она минуту спустя. – Вы же знаете, что они не могли быть веселыми для меня.

– Почему нет? Вы молоды, способны, перед вами открыта вся жизнь. Вы только вступаете в нее. Чем вы огорчены?

Вместо ответа она локтем прижала его руку. Так они долгое время шли в молчании.

– Была единственная минута в праздничные дни, когда я почувствовала себя счастливой. Очень счастливой. Это когда я поняла, что те розы прислали мне вы.

Профессор кашлянул от неожиданности.

– Я знаю, что это вы, – продолжала она. Вы сделали плохо, что не написали ни единого слова и не сообщили мне о том, что вы в Варшаве. Вы и так незаслуженно добры ко мне, пан профессор, что вспомнили и подумали обо мне.

– Подумал, старый эгоист, подумал о вас в рождественский вечер и, признаюсь, пришла мне в голову нелепая мысль пригласить вас на рождественский ужин.

Люция остановилась и заглянула ему в глаза. В ее взгляде он почувствовал столько тепла и радости, что у него сжалось сердце. Чтобы скрыть волнение, он заговорил:

– Я сидел в этом своем одиночестве, как барсук в яме, поэтому нет ничего удивительного в том, что мне приходили в голову самые головокружительные замыслы. Да еще в Рождество. Но не будем стоять здесь, пойдемте, мы мешаем движению. Рождество, елка, сено под скатертью. Воспоминания. Все это выводит человека из равновесия.

– Но почему, почему вы не вызвали меня? – сказала она с искренним упреком в голосе.

– Вовремя опомнился. Правда, мне хотелось быть с вами в тот вечер, но вы, наверное, нашли более приятное и веселое общество, соответствующее вашему возрасту...

– Нет-нет, не говорите так, – прервала она. – Вы же знаете, что больше всего мне хотелось бы провести с вами не только этот вечер, но и все вечера, все вечера до конца своей жизни. Голос его задрожал, когда он одернул ее:

– Не говорите глупостей!

– До конца жизни, – повторила она.

Он заставил себя улыбнуться.

– Ну, что касается меня, то вы немногим бы рисковали, потому что до конца моей жизни осталось не так уж много вечеров. Но не стоит говорить о таких вещах, ведь это же смешно. Если бы нас кто-нибудь подслушал, то мог бы повеселиться. У меня дочь почти вашего возраста, и я гожусь вам в отцы, да еще как.

– Но это не имеет никакого значения, – энергично запротестовала она.

– Имеет и большое.

– Для меня имеет значение только то, что я люблю вас, что я преклоняюсь перед вами и просто не представляю, как могла бы жить вдали от вас...

Сейчас остановился Вильчур.

– Панна Люция, – сказал он серьезно, глядя в ее горящие глаза. – Вы еще очень неопытны. Поверьте мне, что ваше чувство во всей своей красоте и свежести – это результат лишь недоразумения. Вам кажется, что вы любите меня, что я заслуживаю восхищения, расположения, наконец, сочувствия из-за тех переживаний, которые достались мне в последнее время. Но это не любовь. Через месяц или через год это пройдет, потому что должно пройти, и тогда вы убедитесь, что в эти минуты, сегодня, вы безрассудно приближались к пропасти. К счастью, у края этой пропасти есть барьер, который задержит вас. А барьер этот – мой опыт, знание жизни. Дорогая девочка, когда-нибудь вы будете благодарны мне за это. Когда-нибудь вы вспомните мои слова.

Люция грустно улыбнулась.

– Пан профессор, я не ждала другого ответа. Я знаю, что недостойна вас. Я знала, что вы так мне ответите. Конечно, что еще можно ответить женщине, любовь которой не находит отзвука в вашем сердце...

– Вы ошибаетесь, панна Люция. – Вильчур нахмурил брови. – То, о чем вы сказали мне, то, что чувствуете, – это большой, большой и ценный дар для меня. Человек, которому досталось в жизни так мало нежных чувств, умеет их ценить высоко. Однако это не значит, панна Люция, что я сумею ответить такими же чувствами. Жизнь делает свое, годы берут свое. Сердце старится, душа утрачивает свои живительные соки, становится терпкой и жесткой, высыхает, как пергамент. Это нужно понять, панна Люция.

– Не верю, – покачала она головой. – Три года мы знакомы, три года я присматриваюсь к вам, каждый день отмечаю проявление вашего чуткого сердца, великодушия и жизнеспособности вашей души. Ваше сердце молодо, как сердце ребенка. Ведь вы любите людей?

Профессор в задумчивости шел дальше.

– Да, дорогая, но это уже нечто иное. Это не личное, это не трогает до глубины души, не затрагивает все нервы, не становится содержанием дня и ночи. Как бы это вам объяснить? Между любящим сердцем молодого человека и моим такая же разница, как между полыхающим костром и тихим костелом... Вы понимаете, это два чувства, два разных чувства любви...

Они снова погрузились в молчание. Немногочисленные прохожие обходили их.

– И вы никогда не любили? – спросила Люция.

Вильчур поднял голову, как бы всматриваясь в какую-то точку между звездами, и, наконец, ответил:

– Любил когда-то... Ее звали Беатой.

Казалось, он забыл о присутствии Люции и обращался сам к себе:

– Она была молодой и красивой и никогда меня не любила. Она была моей женой. Давно, много-много лет назад... Была моей женой... Нет, не женой – сокровищем, королевой, ребенком. Я уже сам не знаю сейчас, она была смыслом моей жизни. Все мои мысли были о ней, каждый мой поступок – поступком для нее. Я любил. О, я знаю, что значит любить. Я помню себя в те годы, помню также, что я не сумел, я был не способен завоевать ее сердце. Вероятно, я был толстокожим. Я осыпал ее ласковыми словами, дрожал при мысли, что какое-нибудь малейшее желание не будет выполнено. Но у нее не было маленьких желаний. Она желала только одного: полюбить. А я не умел стать тем, кого бы она могла полюбить. Каждый день я видел в ее глазах как бы страх передо мной, то беспредельное пространство, которое разделяло нас, ее мир от моего. Она была самой примерной женой. Бывали даже такие минуты, когда я начинал верить в то, что мы сближаемся. Однако иллюзии быстро рассеивались. И снова я становился беспомощным перед этим молчаливым непонятым для меня существом, видимо так же непонятым для меня, как и я был для нее. Она вела себя по отношению ко мне как малый ребенок, оказавшийся в клетке слона: уважает его, но боится каждого своего движения, каждого своего слова, потому что не знает, как на него отреагирует этот большой и грузный зверь.

– Он замолчал, а спустя несколько минут Люция спросила:

– Ее нет?

Профессор кивнул головой и вдруг оживился.

– Пошли. Зайдемте ко мне. Я покажу вам ее фотографию.

И, точно не могло быть со стороны Люции никакого протеста, он сразу повернул в сторону дома. Вся внутренне дрожащая, Люция шла рядом с ним. Собственные признания, а сейчас признания профессора разожгли в ней досадные мысли и чувства: почему не жила она раньше, почему не узнала его раньше той, той глупой и недостойной, которая не сумела оценить свое счастье?..

Люция знала о том, что Вильчур когда-то был женат и что уже много лет он вдовец. Три года назад она даже познакомилась с его дочерью, пани Чинской, к которой почувствовала искреннюю симпатию. По городу кружилось так много противоречивых историй о романтическом прошлом семьи Вильчуров, что было трудно отличить правду от вымысла. Люция, впрочем, не обладала тем любопытством, которое заставляет некоторых женщин копать в чужих делах. Она предпочитала даже, если речь шла о Вильчуре, чтобы он и дальше оставался для нее такой загадочной фигурой, наполовину легендарной, наполовину реальной. Она желала узнавать его день за днем, так, как изучается страница за страницей трагическая история переживаний любимого героя, история его жизни, лабиринты его души.

Люция уже несколько раз была в вилле профессора по разным служебным вопросам. Однако принимал он ее всегда в гостиной. На этот раз он впервые проводил ее в кабинет. Войдя, он зажег свет и молча показал на большой портрет над камином.

Из широкой серебряной рамы на Люцию смотрела большими, как бы слегка удивленными глазами красивая женщина со светлыми волосами и нежным овалом лица. Вокруг маленького рта угадывалась какая-то грусть; красивая точеная рука с длинными аристократическими пальцами безжизненно лежала среди складок платья из темного шелка.

Ревность сдавила сердце Люции. Эта пани с портрета показалась ей необыкновенно красивой, непостижимо изысканной и нежной.

– Ее звали Беата... – услышала она за спиной голос Вильчура. – Однажды я вернулся и обнаружил дом... пустым. Она ушла, бросила меня, бросила ради другого, ради любви. Люция почувствовала, что сердце ее поднимается к самому горлу. Она вдруг повернулась, схватила руку Вильчура и лихорадочно, иступленно, рыдая, стала ее целовать, точно этими поцелуями хотела вознаградить его за обиду, глубокую обиду, нанесенную ему той женщиной...

– Что вы!.. Что вы делаете! Панна Люция! – возмущенно воскликнул Вильчур, мгновенно очнувшись от задумчивости. – Перестаньте, на что это похоже!

Он усадил ее, дрожащую от слез, в кресло, оглянулся в поисках графина с водой. На столе у камина стоял коньяк. Он налил рюмку и подал Люции, обращаясь к ней требовательным и в то же время мягким тоном, тем тоном, каким он обычно склонял пациентов к послушанию:

– Выпейте это сейчас.

Она послушно выполнила его приказ и пыталась овладеть собой, пока он говорил:

– Нужно управлять своими нервами, держать себя в руках. Какой же это из вас доктор, если чужие страдания настолько выводят вас из равновесия, что в старом благочестивом профессоре вы вдруг видите кардинала, которому нужно целовать руки? А может быть, вы этим хотели почтить мой преклонный возраст?.. Отнять у меня последние иллюзии? Ну, и как вы сейчас выглядите? Я прошу вас вытереть эти горькие слезы.

Он подал ей свой большой носовой платок, а Люция, вытирая глаза, повторяла:

– Ненавижу ее... Ненавижу...

Сидя в кресле, она постепенно успокаивалась.

– Ну как, может еще одну рюмочку? – спросил Вильчур.

Она запротестовала.

– Спасибо и очень прошу извинить меня за эту истерику. Я веду себя, действительно, ужасно.

– Из вежливости не смею перечить, – умышленно ворчливым тоном ответил Вильчур. – Не смею перечить. Вы ведете себя как малокровная школьница после перенесенной золотухи.

Он хотел ее рассмешить, но слова его не достигли сознания Люции.

– Вы... вы по-прежнему любите ее? – спросила она и сжала губы, чтобы снова не расплакаться.

Вильчур нахмурился.

– Милая пани, прошло уже столько лет, столько воды утекло, столько раз ее могилу весной покрывала новая трава... Время делает свое... Остались воспоминания, горькие и мучительные. Шрам. Я простил. И это все.

Он задумался, а потом добавил:

– Вот видите, здесь вы можете приобрести опыт, понять, что делает с нами время. Все проходит. То, что когда-то могло казаться нам вселенной, спустя годы представляется незначительной пылью и мы понять не можем, почему тогда мы подчинялись иллюзиям.

– О нет, – запротестовала Люция, – ведь вы и сейчас понимаете, что та женщина была для вас вселенной. Настоящая любовь, если даже утасла, остается чем-то большим.

Вильчур махнул рукой.

– Это у таких отшельников, как я. Кто знает, как бы я думал о Беате, если бы сразу после ее ухода на моем пути встретила какая-нибудь другая женщина...

Усмехнувшись, он добавил:

– Но на своем пути я не встретил нежных сердец. Моей дорогой не ходят женщины.

Люция с грустью сказала:

– Ходят, но вы их не замечаете. Когда же появляются такие навязчивые, которые предлагают себя сами, вы избываетесь от них с помощью проповеди о разнице в возрасте.

– Это не проповедь, – мягко сказал он. – Это совет. И дело не только в возрасте, не только в возрасте, панна Люция. Здесь еще следует принять во внимание, что я уже человек конченный...

– Что это вы говорите?! – запротестовала она.

– Да-да. Старая развалина, выброшенная за борт, – убеждал он ее серьезно. – Вы представьте себе, какие у меня перспективы. Я мог бы заняться частной практикой дома, но это вынуждало бы меня встречаться со всеми теми людьми, один вид которых вызывает у меня болезненное чувство. Я – хирург, но дома оперировать не могу, а отсюда вытекает, что я должен был бы просить об аренде операционных. Вы же понимаете, что после сегодняшнего моего ухода подвергать себя каким-то вопросам, замечаниям, комментариям или хотя бы взглядам было бы выше моих сил. Таким образом, что мне остается?

Догорание. Панис бене мерентиум. И без масла, потому что вы должны знать о том, что я совершенно разорен. Этот дом, в котором мы сейчас находимся, уже не принадлежит мне; мне только любезно предоставлено право доживать в нем...

Он с грустью улыбнулся:

– Доживать в надежде, что это не так уж долго продлится.

– Я совершенно не согласна с вами, – взволнованно запротестовала Люция. – Вам остается такая обширная область работы, как научная деятельность. Лекции в университете, клиника, литература...

Вильчур задумался.

– Это не в моем характере. Я могу писать только тогда, когда это заполняет мое свободное от активной работы время. Что же касается чтения лекций... Дорогая пани, они выживут меня и оттуда. Нет, ничего мне не осталось, кроме как закрыться в доме и ждать своего конца, а он, мне кажется, не заставит себя долго ждать. Так уж устроено в природе: ненужное уходит само, а я чувствую себя ненужным.

– Как раз об этом идет речь, пан профессор. Вы чувствуете себя ненужным, но я хочу вас заверить, что это минутное настроение, которое скоро пройдет. Я хочу вас заверить в том, что ваша жизнеспособность ни в чем не ослабела, ваш талант и энергия не сократились. Это – временная депрессия.

– Я не верю этому.

– Я постараюсь убедить вас.

– Каким образом?

– У вас начата большая работа о новообразованиях...

– Не столько начата, сколько заброшена. Уже год я в нее не заглядывал. Нет многих материалов. Следовало бы собирать их, заниматься поиском, классифицировать, но, признаюсь вам, делать это у меня нет никакого желания.

– Я буду помогать вам и займусь этим.

– Это было бы подарком с вашей стороны. Но вы хорошо знаете, панна Люция, что я такой жертвы принять не могу.

– Но это никакая не жертва. Выделите мне за работу часть авторского гонорара или, например, поместите рядом со своей фамилией мою: "При сотрудничестве доктора Люции Каньской", а это немало.

После многих настойчивых просьб Люции Вильчур, хотя и неохотно, согласился, наконец, и уже на следующий день они начали работу. Она приходила обычно в послеобеденное время. Вместе приводили в порядок рукопись, отмечали недостатки, выписывали из специальной литературы библиографию. Вечером они разговаривали за кофе, после чего Люция прощалась с профессором, чтобы на следующий день снова появиться с кипой статей или книг, подобранных в библиотеке.

Работа продвигалась с трудом. Вопреки предсказаниям Люции, депрессия Вильчура не проходила. Не раз откладывал он перо и впадал в многочасовые раздумья, после которых был уже не способен не только работать, но даже и разговаривать с Люцией.

Однажды она застала его пьяным. Она была близка к отчаянию, но храбрилась и продолжала упорно верить, что что-нибудь произойдет, что поменяется ситуация, изменится настроение Вильчура.

Так прошли два месяца. Время Люции проходило между клиникой и работой с профессором, а также в поисках работы в каком-нибудь другом месте. Хотя со стороны профессора Добранецкого она не испытывала по отношению к себе ожидаемых ею ранее притеснений, однако чувствовала она себя там скверно. Внешне в клинике все шло по-старому: никаких перемен, никаких передвижений. И все-таки атмосфера была совершенно иной. Более эмоциональные, а к ним относилась Люция, ощущали это на каждом шагу. Фамилию Вильчура здесь никто никогда не упоминал. В этом молчании выражался как бы стыд, что вот так легко отреклись от него, выбросили его, забыли.

С Кольским она встречалась значительно реже. После их последнего, резкого разговора он не пытался вернуться к той теме, хотя не изменил своего отношения к Люции. О личных делах не говорили вовсе. Поэтому он не знал о ее работе с профессором Вильчуrom. Не знал он и о том, что она ищет другую работу. Лишь однажды, когда мимоходом после разговора с Добранецким он сказал, что в клинике ее по-прежнему уважают, она коротко бросила:

– Меня это не интересует.

По существу, это должно было ее заинтересовать. В Варшаве было много врачей, и найти место не представлялось возможным. Она обошла уже десятки учреждений – и все безрезультатно. Записывали ее адрес, телефон и обещали сообщить, как только появится вакансия.

Наступил март, а с ним в тот год ранняя весна. На улицах появлялось все больше нарядных женщин и мужчин в костюмах. На деревьях распускались первые почки, некоторые кусты уже слегка зазеленели.

В то же время Люция не могла не заметить, что профессор с каждым днем становится все более мрачным и плохо выглядит. Она решила вытаскивать его на прогулки. Вначале он не хотел об этом и слышать, но, наконец, согласился при условии, что будут выходить вечерами, минуя те районы, где могли бы встретить знакомых.

– Сейчас, наверное, в деревне красиво... Вы встречали весну в деревне?

– Смутно припоминаю с детских лет.

– Вы много потеряли. Весна в деревне... Пахнет земля, вы понимаете? Земля пахнет и воздух пахнет! Птицы... Много птиц. Озабоченные, занятые, летают, чирикают, спешат, таскают какие-то стебельки, соломки, кусочки мха... А жаворонки высоко в небе!.. И коров выгоняют на пастбище... Небо такое светло-голубое... Таких несколько весен я провел в далеких приграничных областях на Беларуси... Вы бывали там когда-нибудь?

– Нет, никогда.

– Тихий, красивый край. Равнина мягко переходит в холмы, между которыми лежат озера, густые леса с перелесками из можжевельника и орешника, хаты, крытые соломой... не все: у более состоятельных – гонтом или drankой, а в общем – беднота. Бедные простые люди... Добрые люди. Вот, жаль, что не вспомнил об этом, когда разговаривал с Емелом. Он утверждал, что все люди злые. Но он говорил о городе. Узнал бы он тот край, познакомился бы с теми людьми... Может быть, он и прав. Город – это чудовище. Отделил человека от земли асфальтом и бетоном. Откуда ему черпать чувства? Чувства идут из земли, как все

живительные соки. В городе они высыхают, дробятся, превращаясь в пыль, остается только мозг, разгоряченный борьбой за быт, мозг, который не способен мыслить, а только ком-бини-ро-вать! Планировать какие-то махинации, чтобы побыстрее, побольше, похитрее! Человек не видит себя, не видит света. Посмотрите на эти дома. Они закрывают горизонт, окружают нас со всех сторон... Остаются лишь маленькие отверстия, как бы тоннели, по которым мы можем выбраться изнутри этого чудовища. Сколько шоссежных дорог, сколько железнодорожных путей...

Он задумался, а спустя некоторое время продолжал:

– Есть на границе такой маленький городок, под названием Радолишки. Несколько улочек, небольшой костел, деревянная церковка и одна или две тысячи жителей. Через Радолишки проходит широкий тракт, обсаженный старыми березами; березы толстые, сучковатые, искривленные, кора у них шероховатая, потрескавшаяся от старости. Тракт вроде мощный, но осенью и весной стоят на нем лужи, а летом ветер подымает облака пыли. За городком тракт поворачивает на юг, и уже через несколько минут вдалеке виднеется мельница, мельница старого Прокопа Мельника. Мельница водяная, стоит над тремя прудами. Один пруд большой, густо обросший молодыми ивами и лозами, второй поменьше в форме как бы лотка. Берега пологие, луг спускается почти к самой воде, дно в пруду песчаное, там женщины на доске вальками стирают белье, а на другом берегу, где буйно разрослась ольха, купаются... Но это уже после праздника святого Яна. Там верят, что купание раньше этого праздника может повредить здоровью... Зато нижний пруд круглый, точно его кто-то циркулем вымерил. Здесь купают коней и поят скот. С шумом обрушивается каскад пенящейся воды, а сверху слышится неустанный рокот жерновов. В прудах плавают гуси, утки, иногда сядет на воду чирок, или лебедь перелетный, или нырок. Мельница Прокопа Мельника... Добрые, простые люди. Три года я не был там. О, там, конечно, помнят меня. Для них я не был ненужным человеком. Для них я не был помехой...

Он задумался.

– Вы не скучаете о них? – спросила Люция.

– Что вы говорите? – очнулся профессор.

– Я спрашивала, не скучаете ли вы о них.

Лицо Вильчура озарилось улыбкой.

– Хотелось бы их увидеть. Там, должно быть, многое изменилось за эти три года. Василь, наверное, женился. Наталка выросла. Ольга и Зоня, видимо, тоже нашли себе мужей...

Хорошие женщины.

Повернувшись к Люции, он рассмеялся:

– Зоня даже насильно хотела за меня... Вот была бы радость, если бы туда приехал...

Люция подумала, что путешествие в эти Радолишки, которые он вспоминает с такой теплотой, подействовало бы на него благоприятно: успокоило бы его нервы, позволило бы оторваться от недавних переживаний. Он бы возвратился оттуда обновленный, с новым запасом энергии.

– Вы знаете, пан профессор, а почему бы вам их не навестить?

– Навестить? – удивился профессор.

– Ну да. Вы говорите о них с такой теплотой, так мило вспоминаете о них. Это было бы для вас приятным путешествием, ведь вы так давно не выезжали из Варшавы.

Вильчур посмотрел на нее.

– Ха, – произнес он, – хотите избавиться от меня хотя бы на короткое время.

Она рассмеялась.

– Вот именно. Хочу избавиться от вас. Видите, профессор, как я бескорыстна. Уговариваю вас на это путешествие, хотя знаю, что там, под Радолишками, вздыхает по вас какая-то Соня или Зоня.

Они вместе смеялись. Профессор уже давно не чувствовал себя так легко, и Люция понимала, что в такое состояние его привели воспоминания об этой мельнице. И она решила действовать по принципу: куй железо, пока горячо.

– Seriously, профессор, я не вижу причин, по которым вы должны были бы отказывать себе в этом удовольствии.

– Вы знаете, это неплохая мысль, и, я думаю, там были бы рады моему визиту.

– И вы бы развеялись немного, взглянули бы на старые углы, которые вы так любите, вдохнули бы другого воздуха. Собственно говоря, ничто сейчас не удерживает вас в Варшаве. Весна так прекрасна!

С того дня мысль Люции не давала Вильчуру покоя. Действительно, перспектива побывать на мельнице Прокопа казалась ему все более привлекательной. Он оживился, рассказывал Люции все новые подробности о мельнице и о своей жизни там.

Спустя неделю, неустанно подогреваемый ее разговорами, в один из дней он; наконец, объявил:

– Я решил: еду в Радолишки. Но до моего отъезда мы должны завершить сбор материала для первого тома, а упорядочите его вы уже после моего отъезда.

Она очень обрадовалась этому его решению и с удвоенным усердием принялась за работу. Однако стало очевидно, что работа продлится не менее чем месяц. Это вселяло в Люцию опасение, что профессор тем временем может изменить свое решение.

И это действительно случилось, но в направлении, совершенно непредвиденном.

Однажды, когда Люция, как всегда, пришла после обеда, она увидела в кабинете профессора небывалый беспорядок. Все ящики стола были открыты, на софе громоздились кипы книг, на подоконниках стояли открытые хирургические кассеты.

– Что случилось? – взволнованно спросила она.

Возбужденный, с чувством радости на лице, даже забыв поздороваться с ней, Вильчур объявил торжественным тоном:

– Панна Люция, я нашел. Я нашел для себя выход и сейчас знаю, что делать и зачем я живу. Я покидаю Варшаву навсегда. Да, панна Люция. Я был просто ненормальным или одурманенным, что не понял этого раньше. Да, я возвращаюсь к ним и уже навсегда. Здесь меня убедили в том, что я непригодный, но там, там, я знаю, я буду нужен. Там я докажу себе и другим, что я еще не совсем непригодная рухлядь, что я еще могу работать долгие-долгие годы на благо людей, только не этих жестоких людей жестокого города. Только там я был таким счастливым, именно там. Теперь вы видите, что такое город: он затирает, одурманивает. Среди этих улиц, этого гама, суеты, страстей человек забывает о том, кто он, забывает о своем назначении и желаниях. Я попал в этот водоворот и как безумный крутился в нем, не умея понять, что не здесь мое место, что все меня тянет туда, к тем людям!

Взволнованный, он ходил по кабинету, продолжая говорить:

– Я уже все распланировал: продам вещи, мебель, библиотеку и получу таким образом сумму, которая позволит мне хоть как-то оборудовать для себя маленькую лабораторию на мельнице, домашнюю аптечку и тому подобные вещи. Вы не представляете себе, как я счастлив. Там во всей округе только один врач, который к тому же горе мыкает и не может бесплатно лечить бедняков. Кроме всего прочего, он не хирург. Вспомнят они давние времена, времена моего знахарства, только сейчас это будет совсем иначе. В моем распоряжении будут дезинфицирующие средства и первоклассные инструменты. О-го-го, много там найдется для меня работы. Уже сейчас я вспомнил, что у дочери лесника опухоль в области печени, понимаете? Я, конечно, не мог ей помочь, не располагая специальными инструментами, но сейчас попробую. Правда, прошло три года, но, может быть, она еще жива.

Люция стояла неподвижно, не сводя с него тревожного взгляда. Он что-то говорил дальше, но она уже не слышала, полностью поглощенная одной мыслью о том, что он уезжает навсегда, что она не сможет ежедневно видеть его, помогать ему, заботиться о его делах, о его здоровье. Ее охватывало чувство горечи от осознания того, что он принял решение об отъезде, не подумав даже, каким ударом это будет для нее. Ему даже не пришло в голову, что она будет страдать. Не подумал о ней, не принял ее в расчет. Вот и сейчас, казалось, не видит ее. Измеряя быстрыми шагами комнату вдоль и поперек, он говорил:

– Я совершил чудовищную ошибку, что вообще оттуда уехал. Ну зачем, зачем, если мне было там так хорошо? Там мое место, там отдохну от этого города, там найду уважение и привязанность. Вот так. В этом заключается счастье, а если не счастье, то во всяком случае чувство удовлетворения, чувство пригодности и нужности. А это почти то же самое.

Он говорил о них, говорил о себе, только ни словом не обмолвился о ней. Люция, однако, не относилась к числу тех женщин, которые легко сдаются. Где-то в подсознании

родилось неожиданное решение. Уже в следующую минуту мысль выразилась в конкретных словах:

– Я поеду с вами, пан профессор. В первое мгновение он не понял.

– Что вы сказали? Повторила громче:

– Я поеду вместе с вами.

– О, это замечательно, – обрадовался он. – Но мне бы хотелось, чтобы вы приехали навестить меня, когда я уже там устроюсь, все организую. Я вам покажу там все. Вы увидите, как там красиво и как там хорошо...

– Нет, профессор, – прервала она, – я хочу поехать с вами, поехать и остаться там с вами. Он недоверчиво посмотрел на нее.

– Что это за шутки?

– Это вовсе не шутки. Я еду с вами.

– Что за нелепая мысль!

– Почему нелепая?!

– Ну потому что куда вам в таком возрасте в глухую провинцию? Нет, об этом даже не может быть и речи.

– Но я все-таки поеду, – настойчиво заявила она.

Вильчур остановился возле нее.

– А нельзя ли узнать зачем? Почему вы должны туда ехать?

– Я буду помогать вам.

– Но мне не нужна никакая помощь.

– Вы говорите неправду. В каждой операции нужна помощь.

Вильчур возмутился:

– Для этого не нужна помощь врача, достаточно сельского мужика или бабы.

– Вот уж не верю, чтобы кто-то незнакомый с медициной мог пригодиться больше, чем дипломированный врач. А кроме того, вы сами говорили, что там будет большой наплыв больных, что вам приходилось часто поручать перевязки кому-то неопытному. Я знаю, что пригожусь вам, и женская забота вам тоже не помешает. Почему бы мне не поехать? Да и с Варшавой меня тоже ничего не связывает, ничто меня здесь не удерживает.

Вильчур рассердился.

– Это очень плохо, потому что вас должно здесь удерживать. Здесь есть для вас широкое поле деятельности, здесь вы сделаете карьеру, найдете себе подходящего мужа. И вообще нет смысла даже говорить об этом, потому что от меня зависит, возьму я вас или нет, а я вам заранее заявляю, что не возьму. Моя совесть ни минуты не была бы спокойной, и я считал бы себя последним негодяем, если бы закрыл перед вами мир где-то на далекой окраине. Я старый, и мне ничего уже не нужно. Мне достаточно того, что могу служить другим людям. А вы молоды, у вас вся жизнь впереди, и вы еще имеете право на личное счастье.

Люция покачала головой.

– Прекрасно. Но вы, пан профессор, не принимаете во внимание того, что мое личное счастье заключается в том, чтобы как раз помогать вам.

– Это вздор. Спустя несколько месяцев или год все это выветрится у вас из головы, и только тогда вы почувствуете, как вы несчастны, как вам скучно, как вы разочарованы, а я должен буду переживать с полным чувством собственной вины. Я плохо сказал: не буду должен, а не буду потому, что не возьму вас, и вопрос исчерпан. Если вы хотите оказать мне услугу, помогите, пожалуйста, избавиться от этого магазина. Здесь будет много работы, а я уже горю нетерпением поскорее уехать.

Категоричность профессора была столь убедительной, что Люция больше не возвращалась к этой теме. Полемицировать с Вильчуром было бы совершенно безнадежным делом.

Несмотря на это, она не старалась затянуть подготовку к его отъезду. Она усердно занялась поиском покупателей и распродажей. Одновременно она помогала профессору закупать все необходимое.

В результате все сборы приближались к концу. Отъезд был намечен на 14 апреля. Накануне вечером Вильчур попрощался с Люцией. Его поезд отправлялся в семь часов утра, и ему не хотелось поднимать ее так рано, чтобы проводить его на вокзал.

– Когда как-нибудь там все устроится, – сказал он, – я приглашу вас. Мне будет очень приятно, если вы приедете туда на несколько дней или даже чтобы провести весь отпуск. Люция простилась с ним очень сердечно. Приятно удивленный, он подумал, что она даже не настаивала на своем желании проводить его на вокзал. Была веселой, а возможно, делала вид, чтобы не огорчать его.

– Какое у нее доброе сердце, – думал Вильчур, когда они расстались. – Она замечательная девушка.

И вдруг он пожалел о том, что так категорически отверг ее жертвенную готовность сопровождать его в провинцию. Однако тотчас же обуздал себя:

– Нет, это должна быть новая жизнь, новая фаза. Это не для меня, это для других.

В шесть часов утра следующего дня он вместе с Юзефом был уже на вокзале с несколькими сундуками, которые нужно было сдать в багаж. Прохаживаясь по перрону перед отправлением поезда, он все время посматривал на часы. Правда, он сам просил, сам настаивал, чтобы Люция не приходила, однако почувствовал душевную горечь оттого, что ее не было. На какое-то время им овладела глубокая печаль, граничащая с разочарованием. Объявили посадку. Он попрощался с Юзефом и вошел в свое купе. Через открытое окно ворвался яркий солнечный луч. Вильчур облокотился на окно и с грустью смотрел на пустой перрон. В назначенный час поезд отправился. Вильчур стоял у окна и смотрел на удаляющуюся Варшаву, на этот кошмарный город, который сломил его и выплюнул из своего чрева как что-то уже ненужное, выжатое, непригодное.

– Пусть простит их Господь, пусть простит их Господь, – повторяли его уста, но в сердце слова эти не находили ни малейшего отклика. Сердце свела болезненная судорога, в нем запеклась обида и жалость.

И это страшное чувство одиночества. Он знал, что по приезде на место это чувство покинет его, но сейчас ему было очень тяжело.

Колеса уже стучали на последних стрелках, последние домики города отдалялись с удвоенной скоростью. Последние дымы фабричных труб чудовища рассеивались за горизонтом.

За спиной послышался звук открываемой двери купе.

Профессор повернулся.

Перед ним стояла Люция с несессером в руке.

Глава 7

Доктор Ян Кольский, придя утром в клинику, нашел на своем столе письмо, подписанное рукой Люции. Он сразу узнал ее почерк и с явным интересом открывал туго набитый конверт. Там лежало несколько банкнот и два листа бумаги.

На первом он прочитал:

"Дорогой пан Ян! Поскольку мой отъезд оказался таким внезапным, я не успела с вами попрощаться, за что прошу меня извинить. Обстоятельства сложились так, что я должна на долгое время, а может быть, и навсегда покинуть Варшаву. На прощание хочу попросить вас об одолжении. Я не успела сообщить о своем уходе руководству клиники. Высылаю вам письменное заявление, а вместе с ним возвращаю полученную до конца месяца зарплату, которую прошу вас сдать в кассу. Не хочу иметь задолженностей в клинике, хотя мне полагается отпуск. Я убеждена, что профессор Добранецкий встретит сообщение о моем уходе с искренним удовлетворением. Следует добавить, что и мне расставание с клиникой, такой, какая она сейчас, принесет большое облегчение. Примите мои наилучшие пожелания. Я уверена, что они исполнятся, потому что они искренние, а еще потому, что вы заслуживаете этого. Я буду помнить вас. Если произойдет в моей жизни что-нибудь достойное внимания, возможно, напишу вам. Передайте привет всем, а особый от меня пациенту из палаты 116 и пожелайте ему быстреешего выздоровления. Сердечно жму вашу руку. Люция"

Кольский три раза прочитал этот лист, не понимая его содержания. Это свалилось на него так неожиданно, что его сознание восставало против принятия того, что уже случилось, против свершившегося факта.

Придя в себя, он сразу же позвонил Люции, но ее телефон молчал. Выбежав из клиники, он вскочил в первое попавшееся такси и поехал на Польную. Сторож дома тоже не смог ничего объяснить. Пани доктор мебель продала, а с вещами рано утром уехала на вокзал. Когда он спросил ее, куда выписать, она ответила, что отправляется в путешествие и что еще сама не знает куда.

– В путешествие? – спросил Кольский.

– Ну да, она так сказала.

– А на какой вокзал она поехала?

– Этого я уже не знаю.

– Спасибо, – проворчал Кольский, отдавая ему чаевые.

Он вышел на улицу, но вернулся, догнал сторожа и спросил:

– В котором часу уехала пани доктор?

Сколько это могло быть?

Сторож почесал затылок.

– Ну, может, еще шести не было.

– Так рано, – заметил Кольский. – А вы не могли бы мне сказать... она уехала одна или ее кто-нибудь провожал?

Сторож покачал головой.

– Нет, никто.

Прямо с Польной Кольский поехал на вокзал, где узнал, что между шестью и семью часами поезда уходили почти во всех направлениях, так что невозможно было установить, каким уехала Люция. Решил подробнее изучить расписание поездов, однако сейчас должен был возвращаться в клинику. По дороге ломал себе голову над этим тягостным событием.

Первое – мотивы. Он усиленно старался понять мотивы отъезда. То, что она ушла из клиники, было вполне понятно: она не переносила Добранецкого, не могла ему и остальным простить историю с Вильчуром. Но зачем она уехала из Варшавы? Ведь в любое время Кольский со своими связями с помощью коллег и приятелей мог бы найти для нее не худшее место работы. Так почему она не обмолвилась об этом ни словом? В довершение всего не написала правды. Ибо если у нее было время сдать квартиру и продать мебель, то она могла хотя бы по телефону попрощаться с ним. Все это выглядело очень загадочно. Кольский сомневался, что здесь замешан какой-то мужчина. Люция не принадлежала к тем женщинам, которых можно так вдруг очаровать, а кроме того, она любила Вильчура. Не могло быть это связано и с ее родственниками, дальними родственниками, с которыми она не поддерживала никаких отношений; они жили где-то под Сандомиром или Серадзом. Весь день Кольский ходил хмурый. Вечером зашел к Добранецкому и, вручая ему заявление об уходе Люции, сказал:

– Я не могу понять причину внезапного отъезда доктора Каньской. Наверное, произошло что-то серьезное. Вам ничего не известно?

Добранецкий внимательно прочитал заявление Люции и пожал плечами.

– Нет, не знаю и даже удивлен, что доктор Каньская таким образом расстается с коллективом. Эти деньги, разумеется, вы должны будете ей выслать. Можете также написать ей, что я выразил свое удивление по этому поводу.

– Я не смогу ей написать, так как она не оставила мне своего адреса. Я весьма обеспокоен, потому что предполагаю, что случилось что-то непредвиденное. Она внезапно сдала свою квартиру и уехала в неизвестном направлении. Я звонил всем ее знакомым, но никто ничего не знает.

Добранецкий посмотрел на него с иронической усмешкой.

– И даже профессор Вильчур не смог дать вам никакой информации?

Кольский широко открыл глаза.

– Я не обращался к профессору Вильчуру.

Откуда он может что-нибудь знать?

Добранецкий рассмеялся.

– Вы так неопытны, дорогой коллега. Если бы я знал, что слово "наивный" не оскорбит вас, то сказал бы, что вы наивный.

– Я ничего не понимаю, пан профессор...

– Да здесь нет ничего сложного, – небрежно бросил Добранецкий. – Как правило, самым проинформированным лицом в делах женщины является ее любовник.

Кровь бросилась в лицо Кольскому. В первое мгновение он хотел вскочить и влепить пощечину Добранецкому, однако встретил насмешливый взгляд профессора. И вдруг он почувствовал какую-то смертельную усталость, наступил как бы паралич.

– Ну да, – стучало в голове. – Этот подлец прав... Как же я был глуп, как наивен.

Добранецкий, небрежно играя карандашом, продолжал:

– Я не думаю, чтобы наша любимица уехала из Варшавы. А то, что она сдала квартиру, еще не является доказательством. Квартира сдается не только при переезде в другой город, но и тогда, если, скажем, перебираемся в квартиру приятеля. Мне кажется, что поиски панны Каньской не доставят вам ни особых трудностей, ни особого удовольствия.

Из кабинета Добранецкого Кольский вышел почти в бессознательном состоянии.

Подброшенное профессором подозрение разрасталось, заливало мозг кровью, сжимало грудь в бессильной ярости, взывало к мести, наказанию или, наоборот, прорывалось рыданием. Несколько раз ночью он вскакивал, одевался и хотел бежать к вилле профессора Вильчура. Мысленно проговаривал сокрушительное осуждение, которое он бросит ему в лицо, и слова презрения, которыми заклеймит ее, а потом снова плакал и сожалел о том, что, собственно, нет у него никаких прав не только на ее чувства, но и на осуждение ее поступка. Он для нее никто. Просто коллега, которому она не должна объяснять свои поступки. Ну, пойдет он туда и что ей скажет?.. Вы обманули меня в письме?.. Я ошибся в вас?.. Это все пустые слова.

К утру им овладели более оптимистические мысли. Добранецкий – плохой человек и поэтому судит плохо о других. Это невозможно, чтобы Люция была чьей-нибудь любовницей. Ее глаза смотрели так открыто и ясно. В ней не было ничего от девки. Да, он не одобрял этого обожания, разумеется платонического обожания, Вильчура, но в остальном она была замечательным человеком в полном смысле этого слова.

Измученный и разбитый, пришел он утром на работу. Долгий обход больных, потом ассистирование при нескольких операциях. Чувствовал себя выжатым как лимон.

Несколько раз, проходя по коридору, невольно заглядывал в комнату к терапевтам. Она сидела за тем столом, такая красивая, со светлыми волосами, в белом халате, с серьезным и умным лицом...

Так проходили дни. Сто раз брал он в руку трубку, чтобы позвонить профессору Вильчуру, сто раз он шел к его вилле и возвращался с полпути. Пусть лучше неизвестность, чем подтверждение омерзительных подозрений Добранецкого. Наконец, на четвертый день, окончательно сломленный, готовый ко всему, отчаявшийся, он решил узнать правду, пусть даже горькую, хотя бы увидеть ее, сказать несколько слов, услышать ее голос.

Приближаясь к вилле профессора, он еще некоторое время колебался, но это быстро прошло. Был уже вечер, и он надеялся увидеть освещенные окна, но вилла была погружена во мрак. Он стоял у калитки и долго прислушивался, прежде чем нажать кнопку звонка.

Среди царившей вокруг тишины он услышал звонок внутри дома. Подождав несколько минут, он позвонил снова, еще и еще раз. Внутри или спали, или никого не было.

В этот момент он увидел висевшую на калитке табличку. Зажег спичку и прочитал: "Вилла сдается с сегодняшнего дня".

Догорающая спичка обожгла ему пальцы, но он даже не почувствовал этого. Молнией промчалась мысль:

– Уехал. Уехали вместе...

На следующее утро он снова отправился туда. В саду перед виллой какой-то человек перекапывал грядки. Не много он сумел узнать у него: вилла, действительно, сдается, потому что профессор Вильчур выехал.

– Когда профессор уехал?

– Ну, четырнадцатого.

Дата совпадала с датой отъезда Люции.

– Рано?

– Ранним утром.

– И вы не знаете куда?

– Откуда же я могу знать? Если кто и может знать, так это только Юзеф. Он провожал пана профессора на вокзал.

– А где же этот Юзеф?

– Тоже не могу вам сказать этого. Закончилась его служба здесь, значит, служит где-то в другом месте. Мне не говорил где. Но подождите... Сейчас, сейчас... На Тамке у него есть родственники какие-то, а у них прачечная. Так, может, вы у них что-нибудь узнаете.

На Тамке было несколько прачечных. Обходя каждую по очереди, наконец, добрался до нужной. Она принадлежала как раз тетке слуги профессора Вильчура. Толстая краснощекая баба с маленькими сверлящими глазками приняла Кольского неприветливо.

– А что вам нужно от него?

– Я хотел с ним встретиться, – пояснил Кольский.

– Вы что, из полиции?

– Ну, что вы!

– А может, место хотите предложить? Если так, то поздно: мой племянник уже нашел место и до сентября он занят. Если хотите, можете оставить адрес, в сентябре он вас найдет.

– У кого он работает? Вы можете дать мне адрес?

– Этого я не знаю. Говорил только, что на какой-то корабль стюардом пошел.

– На корабль.. Хм... А вы не помните, не вспоминал ли он о том, куда уехал профессор Вильчур?

Женщина пожала плечами.

– А чего это он будет мне о таких вещах говорить? Откуда я могу знать?

– Извините. – Кольский откланялся и ушел.

Итак, пропал последний след.

В тот же вечер Добранецкие устраивали прощальный прием, на который был приглашен и Кольский. Пани Нина выезжала на лето за границу, как говорила, для восстановления здоровья. Она цвела. Оживленная, веселая, остроумная и привлекательная, она фланировала от одной группы гостей к другой.

Увидев Кольского, одиноко стоящего у дверей будуара, она взяла его под руку и увела на балкон. Ей уже были известны от мужа подробности его переживаний. Он показался ей сейчас более интересным и более привлекательным, чем прежде. Очарование романтизма всегда побуждало ее к завоеваниям. Этот молодой доктор, влюбленный в коллегу, которая бросила его из-за старого профессора, мог заинтересовать ее как сложная для завоевания позиция, хотя она всегда его выделяла.

– Я надеюсь, что вы не сочтете меня бестактной, – начала она, – если я признаюсь вам, что догадываюсь о причине вашей грусти?

Он ничего не ответил.

– Может быть, я неудачно выразилась. Вы определили бы это более значительным словом, правда?.. Подавленность, а может быть, даже отчаяние или трагедия?.. Я понимаю вас. У меня когда-то тоже была несчастная любовь. Я знаю, как переживаешь в эти дни. Тобой владеет такое чувство, будто висишь над пропастью, правда?

Ее мягкий, ласковый голос и сердечность создавали впечатление искреннего сочувствия. Воздух был напоен запахом сирени, пышно разросшейся возле особняка. Легкое дуновение ветра приносило из парка новые запахи. Весна в Фраскатти стояла в полном разгаре. Был теплый вечер.

– Правда, – ответил Кольский.

Опершись о балюстраду, она продолжала:

– Я помню, что тогда тоже была весна. Я сидела здесь же, на этом же балконе, когда мне принесли письмо. Письмо от него. Как чудовищно холодны такие письма! Держишь в руке, точно кусок льда; они обжигают своим леденящим холодом. А в них банальные, правильные, вежливые слова, поставленные в ряд, как разодетые лакеи с неподвижными лицами. Что весьма сожалеет... что обстоятельства... что долг, что не может лично, потому что внезапно появилась необходимость... А из этого всего проглядывает одно

убийственное "не люблю", одно безжалостное "бросаю"... И зачем тратить столько ненужных слов, столько отшлифованных фраз! Она сделала паузу, а потом добавила:

– Вы не можете себе представить, как я была несчастна...

Кольский посмотрел ей в глаза и сказал:

– Могу.

– Вы сильно ее любили?

– Сильно ли? – подумав, сказал Кольский. – Не знаю, сильно ли, мне не с кем сравнивать. Я люблю только ее и никогда, кроме нее, никого не любил... И никогда не полюблю.

– О да, – кивнула она головой. – Это настоящая любовь, узнаю ее, потому что и сама тогда так думала. Именно эта вера в то, что уже никогда никого не полюбишь, является подтверждением большого чувства, его искренности и глубины. Меня возмущают те, кто не может понять, что человек, который полюбил второй раз, мог любить искренне и первый раз.

Кольский внимательно посмотрел на нее.

– Я не понимаю, что вы хотите этим сказать?

– Прежде всего то, что человек живет, а еще то, что все, что живет, изменяется, потому что сама жизнь – это не что иное, как закон природы, не правда ли?

– Да. С научной точки зрения...

– Не только с научной, – перебила она. – Мы изменяемся. Ну, вот скажите, разве моя прежняя любовь была бы оскорблена, унижена или зачеркнута оттого, что я полюбила сейчас кого-то другого? Нет, тысячу раз нет. Тогда я любила всей полнотой своих чувств и мыслей, всем своим существом, неподдельно, и не было во мне места ни на что другое, вся я была во власти любви. Но это была не та я, которая есть сейчас, которую вы видите перед собой. Это был совершенно другой человек. Даже связь между нами, такими разными, прервана, разорвана. Природа не терпит пустоты, гласит латинская поговорка...

– Натура хоррет вакуум, – сказал Кольский.

– Вот именно. Можно любить неизменно и верно всю жизнь, но только тогда, когда эта любовь поддерживается, когда она живет в нас. Живет – значит, это не какая-то мумия или реликвия, а часть нашей живой души, так как вместе с нами претерпевает все наши перемены. В противном случае она постепенно превращается в мумию, и мы возводим для нее в какой-нибудь из часовенок сердца печальный алтарь, где создаем ее культ в моменты воспоминаний. На ее место приходит новая жизнь, если нам улыбнется счастье, и мы снова встретим ее.

– Вы рассуждаете очень странно, – откликнулся неуверенно Кольский.

– Странно?.. Я говорю правду, говорю то, что мне пришлось пережить, что переосмыслила, что вижу в себе самой. А говорю вам это, потому что знаю, в каком вы сейчас состоянии, знаю, что вы, при вашей утонченности и деликатности, чувств, поймете меня.

Кольский был поражен. Он всегда считал, что пани Добранецкая не выделяет его из окружения других сотрудников ее мужа. Не могло ему не польстить и то, что эта блестящая дама, славившаяся красотой и элегантностью, так сумела его понять.

– Я, действительно, весьма признателен вам за понимание... за доброжелательное...

хорошее мнение обо мне.

– Не благодарите меня. Я буду с вами совершенно откровенна. Признаться, это даже нехорошо с моей стороны говорить с вами о том, что и без того приносит вам боль. Но я прошу вас простить мой эгоизм.

– Эгоизм?.. – удивился Кольский.

– Да, пан Ян. Я не знаю, какое сложилось у вас впечатление обо мне. По всей вероятности, вы, как, впрочем, и все, считаете, что мне не хватает только птичьего молока, что я счастлива и больше ничего не желаю. Если бы это было так!.. Да, разумеется, Ежи меня любит, окружил вниманием, ни в чем не отказывает, ни в чем, что для большинства людей представляет ценность. Но мы, женщины, выше всего ценим духовную близость, которую может нам дать возлюбленный. Вы понимаете?

– Разумеется.

– Мой муж слишком поглощен наукой и работой. К тому же он придерживается чрезмерно строгих взглядов на отношения людей. В этих вопросах он совершенно бескомпромиссен. Поэтому разве я могла бы позволить себе исповедоваться ему, поделиться с ним своими

мыслями, столь важными для меня? Разумеется, нет. Это я вам благодарна, что вы согласны меня слушать. Возможно, это жестоко с моей стороны, но я прошу простить меня. Среди сотен своих знакомых я бы не нашла ни одного, с кем могла бы так разговаривать, в чьей надежности была бы так уверена.

Кольский перевел дыхание.

– В этом отношении вы можете на меня всегда рассчитывать.

Она легко коснулась кончиками пальцев его руки.

– Я ни минуты не сомневалась в этом. И поскольку сегодня ночь искренности и откровения, я не хочу ничего от вас скрывать. Так вот тогда, в те печальные дни, когда я получила то леденящее душу письмо, я была близка к самоубийству. И я не знаю, чем бы это все закончилось, – я была еще очень молода и неопытна и это было мое первое чувство, – но, к счастью, судьба послала мне тогда спасение. Им оказался добрый и умный человек, который сам многое пережил и умел почувствовать боль в чужом сердце. Это было благородно с его стороны. От ничего не хотел от меня, ничего не желал для себя, просто хотел сгладить мою боль, мое отчаяние. О, эти долгие беседы с ним, эти признания, такие необходимые сердечные советы и та способность войти в самые потаенные уголки моей души! Впрочем, я и не таилась перед ним, скорее наоборот; говорила то, что чувствовала, а он был для меня доктором.

Она улыбнулась:

– Я называла его доктором моего сердца. Кольский спросил:

– А он действительно был доктором? Пани Нина отрицательно покачала головой.

– Нет. Он был, собственно, ничем, но для меня тогда стал всем. Он был удивительным даром судьбы. Я постоянно чувствую себя в долгу перед всей вселенной. Мне бы так хотелось от-

платить кому-нибудь тем же добром. Я, разумеется, знаю, что не сумею быть таким же хорошим лекарем сердца, как тот человек. Недостает мне и того ума, и той глубины понимания, и успокаивающей мягкости прикосновения.

Поскольку она замолчала, Кольский посчитал удобным возразить:

– Ну, что это вы снова?

– Значит, вы считаете?..

Кольский ничего не считал. Он чувствовал себя неловко, и у него сложилось такое впечатление, что пани Добранецкая только по ошибке обратилась к нему, принимая его за кого-то другого. Тем не менее она показалась ему обаятельной и очень доброй. Он не мог представить себе, что эта высокомерная и очень красивая дама так сентиментальна.

– Вы очень добры, – сказал он.

Воцарилось молчание. Из салона доносилась музыка. Первой заговорила пани Нина.

– Я очень мало знала панну Каньскую. Она была у нас несколько раз и произвела на меня весьма приятное впечатление. Она одна из тех зрелых современных женщин, которые хотят и умеют самостоятельно бороться за жизнь. Мой муж высоко ценит ее способности. Я всегда слышала от него слова одобрения в ее адрес, а вы же знаете, что ему не свойственно потворство.

– О да, – согласился Кольский.

– Вас не удивляет, что я с интересом присматривалась к этой очаровательной девушке?

Небезынтересно мне было узнать еще и о том, что вас связывает взаимная симпатия.

– К сожалению, не взаимная, – с горечью заметил Кольский.

– Это выяснилось сейчас, и для меня это было неожиданностью. Кто бы мог представить?

Правда, зачастую доносились разного рода нелестные отголоски о ней, которые я с негодованием опровергала, потому что была совершенно убеждена, впрочем, не меньше, чем вы, что ее отношение к Вильчуру основано исключительно на уважении, принимая во внимание хотя бы его возраст, – ведь он уже почти старик. Кто бы мог подумать! Молодая, красивая, самостоятельная, с виду с безупречной репутацией, бескорыстная... И вдруг как гром среди ясного неба обрушивается такое открытие...

– Не все то золото, что блестит, – сентенциозно, с горечью, с отвращением и презрением ко всему миру произнес Кольский.

Пани Нина снова коснулась его руки.

– О нет, пан Янек, вы не можете ее осуждать. Вы же не знаете, какие моральные или даже... материальные обстоятельства склонили ее к тому, чтобы стать подругой пожилого да еще и непривлекательного человека. Жизнь, жизнь даже такой молодой девушки полна загадок и тайн. Нельзя рассматривать это поверхностно, нельзя а ля летре. Слишком сурово вы судите ее. Я согласна с вами, что для безучастного человека она будет только любовницей Вильчура. Но мы, кто знал ее, не можем это настолько упрощать, ведь зачем-то он понадобился ей. В конце концов, Вильчур уже недолго проживет, а он как будто располагает еще значительным капиталом.

Это, однако, было уже слишком. Пани Нина не рассчитала, свой удар, который не только не попал в цель, но и вызвал обратную реакцию.

Кольский нахмурил брови и почти резко сказал:

– Это неправда. Я точно знаю, что профессор Вильчур разорен, а если бы даже он был миллионером, это не имело бы для панны Люции ни малейшего значения. Уверяю вас, потому что знаю: для нее материальная сторона вообще не существует. О нет, она слишком интеллигентна, а ее бескорыстность даже меня поражала. Я ведь сам не один раз предлагал ей выгодных пациентов, а она отказывалась, ссылаясь на отсутствие времени. А знаете, как она распоряжалась своим свободным временем?.. Она бесплатно лечила в детских приютах и домах престарелых. Пани Нина вернулась на прежние позиции.

– Я всегда была о ней такого мнения, – сказала она. – Всегда. Однако вы согласны, что сами теряетесь в поисках мотивов ее поступка? Все это можно было бы объяснить только безграничной любовью. Такое случается, что молодые девушки увлекаются пожилыми мужчинами или даже влюбляются в них. Возможно, и здесь как раз тот случай, хоть я не допускаю подобной мысли уже хотя бы потому, что доктор Каньская производила на меня всегда впечатление человека здорового как физически, так и умственно, а любовь к такому старому человеку, несомненно, можно рассматривать как что-то ненормальное, противоречащее природе.

Вновь воцарилось молчание.

– Мне рассказывали когда-то, – снова заговорила она, – что знахарство основано не столько на лечении, сколько на убеждении больных в том, что они чувствуют себя лучше. Говорят, что недавно разоблачили где-то в Малой Польше знахаря, который, пользуясь умением гипнотизировать, вымогал у наивных сельских жителей деньги, а у жен и дочерей – то, что они могли ему дать. Мир полон тайн, и я никогда не стремилась проникать в них. Вы знаете, какое я установила для себя правило?

– Какое?

– Просто, когда сталкиваюсь с чем-то непонятным, когда чувствую, что под покровом необычности может скрываться какая-то мерзость, я быстро прохожу мимо. Я предпочитаю сохранять убеждение, что мир прекрасен, а поступки людей интеллигентны и разумны. Таким образом, я защищаю себя от всякой грязи. Я прохожу мимо и, если бы мне даже очень нужно было проникнуть в неизвестное, я бы отказалась. Поверьте мне, что это хороший рецепт.

– Знаете, не от всего можно так легко отойти, – серьезно заметил Кольский.

– Кто говорит о легком! Уважая себя и укрепляя свои человеческие качества, нужно уметь выходить победителем из трудных ситуаций. Не фокус переломить соломинку, несложно отказаться от блюда, которое нам не по вкусу. Мне кажется, что вы относитесь к типу как раз тех людей, которые созданы для преодоления самых больших трудностей. Вы мужественный человек. Если бы вы жили во времена колонизации Америки, то наверняка были бы одним из пионеров.

На балкон вышел профессор Добранецкий и обратился к жене:

– Нина, пан министр уходит и хотел бы с тобой попрощаться.

– Иду сию же минуту, – ответила она, вставая и протягивая руку Кольскому. – Я благодарю вас, это была замечательная беседа. В моей жизни так мало подобных мгновений!.. Я безгранично сожалею, что уезжаю, но ничего не поделаешь: все уже решено и подготовлено. Я не могу отложить свой отъезд, но постараюсь сократить пребывание за границей. Мне хочется еще столько вам сказать и столько от вас услышать. Вы позволите вам написать?..

Смущенный, Кольский окончательно растерялся.

– О да, прошу вас. Буду очень благодарен.
Он низко склонился, целуя ей руку, а когда распрявился, ее уже не было на балконе. Потрясенный, он возвращался домой. Чтобы собраться с мыслями, миновал свой дом и отправился бродить на Аллею. Уже светало. Над Лазенковским парком серебром прояснялось небо. Присев на одну из скамеек, он стал анализировать впечатления. Он не считал себя и, в сущности, не был глупым человеком, и в том, что говорила пани Нина, он сразу же почувствовал жало ненависти к Люции, замаскированное такими искусными комплиментами. Мнимо защищая Люцию, по сути она хотела дискредитировать ее в его глазах. Но с какой целью? Разве отъезд Люции был каким-то образом связан с особой пани Добранецкой?.. Нет, это бессмысленно. Было еще одно объяснение, но Кольский достаточно скромно оценивал себя, чтобы предположить, что эта великолепная дама влюбилась именно в него.
Во всяком случае, эта беседа с ней должна была оказать и оказала на него очень сильное впечатление. Пани Добранецкая завоевала его расположение признаниями, очаровала манерой держаться и уровнем восприятия тех сложных событий, на определение которых у него лично нашлись только такие простые слова, как любовь, ненависть, ревность.
Засыпая, он думал:
– Удивительная, необыкновенная женщина...

Глава 8

Люция смеялась звонким беззаботным смехом.
– Вот видите, и здесь пригожусь, – говорила она, открывая чемодан и вынимая оттуда аккуратно завернутые в вошеную бумагу бутерброды. – Ослабели бы от голода.
– Вы и об этом подумали? – удивился Вильчур.
– Вовсе не думала. Я просто позвонила в железнодорожную справочную и узнала, что в этом поезде нет вагона-ресторана, а отсюда уже нетрудно было сделать выводы. Поскольку я также знала, что из дому выехали вы очень рано, конечно, без завтрака, то предусмотрительно подготовила все это.
– Но это же целая кладовая.
– Не беспокойтесь, пан профессор. На ближайшей большой станции есть буфет, но поезд там будет только в одиннадцать. Уверяю вас, что до того времени немного останется от этой кладовой.
Предсказания Люции полностью оправдались. Хорошему аппетиту способствовало не только раннее утро и путешествие, но и настроение обоих. После короткого замешательства и серии упреков, которые Вильчур высказал Люции, он вынужден был согласиться со свершившимся фактом. Согласиться ему было легче еще и потому, что в сущности, хотя он самому себе не признавался, его безгранично обрадовало ее непослушание.
Он внимательно слушал ее планы на будущее. Она не собиралась ограничивать свою работу в деревне только помощью Вильчуру. Она уже составила для себя полный план действий. Прежде всего она займется более широкой пропагандой гигиены, особенно в домах. В свою очередь, Вильчур познакомил ее с условиями, ожидающими их на месте, рассказал ей о людях, отношениях, обычаях, сохранившихся на мельнице, в городке и в округе.
Они были так заняты беседой, что не расслышали звука легко отодвинувшейся двери купе и не заметили на миг просунувшейся руки, которая ловко нырнула во внутренний карман пальто Вильчура, неосторожно повешенного здесь же у двери.
Хозяин руки бесшумно вытащил ее с содержимым кармана и также бесшумно закрыл дверь. Не теряя времени, быстро покинул вагон, предусмотрительно прошел еще через два и в третьем остановился в пустом коридоре. Внимательно осмотревшись, он вынул из-за пазухи довольно толстый бумажник. Увидев большую пачку банкнот, свистнул, затем ловким движением спрятал ее в карман. Внутри бумажника остались только бумаги, не представлявшие никакой ценности. Он уже хотел было выбросить его в окно, но вдруг

обратил внимание на зеленый листочек, напоминающий доллар. Вытащив его, прочел: "Получено от профессора Вильчура злотых..."

Рука, уже готовая сделать движение, застыла в воздухе. Он снова свистнул. Запустил пальцы в бумажник: паспорт, удостоверение, визитные карточки... Не было сомнений в том, кому принадлежал бумажник.

Он не спеша достал из кармана минуту назад реквизированные банкноты и положил их на прежнее место, затем сунул бумажник в карман и уже значительно медленнее двинулся в обратную сторону. Без труда отыскал нужное купе: через раздвинутые занавески было видно коричневое пальто.

На этот раз, не соблюдая осторожности, открыл дверь и вошел в купе.

Вначале они не узнали его. На нем был почти элегантный синий в серую клетку костюм и лишь незначительно помятый котелок. В такой одежде они его еще не видели.

Профессор Вильчур с минуту недоверчиво взглядывался в него, а потом воскликнул:

– Емел!

– Ха, узнал, император. Сложно. Идентифицирован. Все труднее становится в этой Польше путешествовать инкогнито. Приветствую вас, пани. Что это за медицинская экспедиция? Едете в провинцию кого-нибудь зарезать? А может, не хватает уже мяса в Варшаве?..

Внимательно присмотревшись, он спросил, поднимая свой котелок над головой:

– Эй, а возможно, это самый подходящий случай для поздравлений? Пек бакко! Это похоже на свадебное путешествие.

Вильчур покраснел, а Люция рассмеялась.

– К сожалению, нет.

– Нет?.. – как бы с большим облегчением произнес Емел и, удобно усаживаясь, сказал: – В таком случае, не унижая своего достоинства, я могу остаться с вами.

– А куда же вы едете? – спросила Люция.

– Есть такое модное сейчас "путешествие в неизвестное". Оригинальность мою доказывает тот факт, что регулирующим фактором, действительно, становится случай, то есть тот момент, когда контролеру удастся доказать, что у меня нет билета. Контролеры имеют какие-то предрассудки, что в поездах ездить могут только люди с билетами. Постоянно во время летних каникул пытаюсь убедить их в обратном. К сожалению, эти люди не способны впитывать новые понятия, и поэтому зачастую я вынужден высаживаться на самых неожиданных станциях. Правда, в этом есть своя положительная сторона: я постепенно познаю свое милое отечество; есть, разумеется, и недостатки: некоторые его районы становятся недоступными.

– Вы очень любите путешествовать? – спросила Люция.

– Путешествия совершенствуют, – пояснил он. – Я, собственно, всегда увлекался туризмом, поскольку весьма общителен. Встречая везде плакаты, написанные большими буквами: "Знакомьтесь с Польшей!", "Познай свой край!", – как я мог не воспользоваться?

– Но плакаты, – заметила Люция, – не призывают путешествовать зайцем.

– Это только по недосмотру, – заявил Емел. – В конце концов, какая разница между ездой "зайцем" и ездой с билетом? Кель диферанс? Люди с упрощенным способом мышления одно называют бродяжничеством, другое – туризмом. Ну, а тот, кто путешествует тем или другим способом, разве он от этого изменится? Нисколько. Разницу определяет только его карман, бумажник. Человек, занимающийся туризмом без кошелька, – бродяга; человек, бродяжничающий с кошельком, – турист. Чтобы доказать вам, как неточно такое определение, а с научной точки зрения оно не выдерживает критики, кое-что покажу...

Он не успел закончить. В купе вошел контролер и традиционным тоном объявил:

– Попрошу предъявить билеты для контроля.

Прокомпостировав билеты Люции и Вильчура, контролер обратился к Емелу, глядя на него с недоверием:

– Ваш билет?

– Шарон, коварно эксплуатирующий творческое изобретение Стивенсона во благо низких целей капитализации штата. Не пробуждается ли в тебе непроизвольное порицание этих тенденций цивилизации, которые вплелись в обычай наущничества, парализующего либерализм передвижных средств и интенсивное межрегиональное проникновение?

Озадаченный контролер окинул взглядом сидящих и произнес уже совсем неуверенным тоном:

– Мне все равно. Будьте любезны, предъявите ваш билет.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся Емел. – Ты действительно тешишь свою душу сладкой иллюзией о том, что у меня может быть нечто подобное?

– Я пришел сюда не для шуток, – возмутился контролер. – И не тыкайте, потому что мы с вами вместе свиней не пасли. Предъявите билет или я высажу вас на ближайшей станции.

– Не получится это у тебя так легко, ца-риссиме, потому что я знаком с законами, которым ты должен рабски подчиняться и которые гласят, что пассажир, не успевший купить билет, может сделать это в вагоне с определенной незначительной доплатой. Я как раз такой пассажир.

Сказав это, он с пренебрежительным выражением лица достал из кармана толстый бумажник Вильчура, вынул из пачки один банкнот и вручил его контролеру.

Внушительное содержание бумажника привело контролера в замешательство. Это было полной неожиданностью, поскольку своим опытным взглядом, уже входя в купе, он оценил этого пассажира в котелке, приняв его за бродягу без гроша в кармане. Сейчас он подумал, что, возможно, это какой-то чудак.

– Вы тоже едете в Людвиково? – вежливо поинтересовался он.

– В Людвиково? – заинтересовался Емел. – Да, приятель, ценю твою интуицию. Я, действительно, еду в Людвиково, но буду тебе безгранично благодарен, Архимед, если ты скажешь мне, какого дьявола я туда еду.

Контролер подал ему билет и пожал плечами.

– Вы как-то странно разговариваете со мной. Когда он ушел, Емел с облегчением вздохнул:

– Вот видишь, генерал, сам того не ведая, ты выкупил мне билет до какого-то паршивого Людвиково. А это прими от меня в подарок как скромный реванш.

Сказав это, подал Вильчуру бумажник.

– Но... но это мой бумажник, – удивился профессор.

– Да, – согласился Емел, – и как раз этому обстоятельству я благодарен за то, что он не стал моим. Ах, фараон, ты возбудил слабость в моем львином сердце. Ладно уж. Осмысленно возвращаю тебе этот опасный предмет, добытый ценою богатого опыта и некоторой ловкости пальцев. А на будущее, Мидас, не советую тебе вешать пальто у самых дверей купе.

Вильчур явно был смущен всем этим происшествием, а Люция посматривала на Емела с нескрываемым беспокойством. Не обращая на это внимания, он не переставал ораторствовать и в следующую минуту спросил:

– Почтенные господа едут в этот Людвиков?

– Да, – подтвердила Люция.

– Во всяком случае, я прошу вас предупредить меня, когда будет эта станция, потому что я должен распорядиться, чтобы запаковали мои многочисленные сундуки.

– У вас довольно много времени, – пояснила Люция. – Еще каких-нибудь двенадцать часов.

– Ах, так? Значит, это где-то недалеко от Северного полюса.

– Нет, приятель, – засмеялся Вильчур. – Не доедем даже до Полярного круга.

– Превосходно, потому что я не взял с собой упряжных собак, саней и эскимосов. Но не могли бы вы мне сказать, какого черта вы туда едете. На отдых? А, император?...

– Нет, приятель. Это – переселение, и отчасти ты являешься виновником этого. Опротивел мне город...

– Убедил я тебя, май дия, открыл глаза на город. Человек обладает массой пристрастий, скрытых капризов, симпатий и антипатий. Рояль стоит, как глупая корова, и ничего не знает о своих внутренностях, о тех сотнях струн, которые способны издавать самые разнообразные звуки. Однако если к этому ящику подойдет виртуоз, он умелыми манипуляциями добудет из него и ад, и рай. Так и я принимаюсь за людские души. Мораль: оставайся со мной и познаешь себя.

Вильчур усмехнулся.

– Ничего не имею против.

– Против чего?

– Против того, чтобы оставаться с тобой. Поезжай с нами, приятель, и останься.

– А, извините, на кой черт?

– Ну, хотя бы в качестве виртуоза. У тебя же нет семьи, ничто не заставляет тебя возвращаться в Варшаву. Посидишь в деревне среди других людей. Вот-вот! Там ты воочию убедишься, сколько есть добрых людей. Ты не хотел верить в их существование. После коротких пререканий Емел согласился. В конце концов, ему было все равно, где проводить время, а беседы с Вильчуром доставляли ему все-таки удовольствие, и он сказал:

– Ну, что ж, милорд, на какое-то время я могу воспользоваться твоими предложениями.

Профессор успокоился.

– Вот видишь, приятель, наша команда укрепляется, и я убежден, что, познакомившись с этими краями, ты не захочешь их покидать. Мне кажется также, что тебе надоест безделье, и вместе с коллегой Каньской ты будешь помогать мне...

– С кем?

– С доктором Люцией Каньской, – сказал Вильчур, движением руки указывая визави.

Шутовское и циничное выражение лица Емела приобрело вдруг сосредоточенный и серьезный вид. Взгляд его долго блуждал по внешности Люции.

– Ваша фамилия Каньская?.. Я не знал этого.

– С рождения, – улыбнулась несколько озадаченная его тоном Люция.

– Вы... вы из Сандомежа? – он не спускал с нее глаз.

– Нет. Я из Меховского, но в Сандомеже у меня были родственники.

Воцарилось молчание.

– Вы знаете те края? – спросила Люция.

Емел долго не отвечал. Наконец, пожал плечами и сказал:

– Человек болтается везде.

Однако было ясно, что фамилия Люции вызвала в нем какие-то глубокие воспоминания, так как с этого момента он умолк и сидел сгорбившийся и хмурый.

– Я когда-то был в Сандомеже, – начал Вильчур, как бы не замечая перемены настроения приятеля. – Это было еще в студенческие годы. Милый городок. Старые дома... Помню ратушу... Красивая ратуша, и улочка направо, и дом из красного кирпича, весь утопающий в зелени. Там мы остановились с другом... А потом купили небольшую лодку и уже на лодке отправились вниз по Висле до Варшавы. В те времена это была настоящая экспедиция, и мы безмерно гордились собой. Это, наверное, одни из самых замечательных каникул, какие я помню. Тогда я учился на первом курсе. Потом пришли годы тяжелого труда. Лето использовалось для практики в заграничных клиниках или просто для зарабатывания денег, чтобы было чем оплатить квартиру и содержание в учебном году... Поезд остановился на какой-то небольшой станции.

– Вы знали пани Эльжбету Каньскую? – тихо спросил Емел.

Люция кивнула головой.

– Это моя тетя.

– Тетя, – повторил Емел. – Так, значит, Михал Каньский был вашим дядей.

– Да, – подтвердила Люция. – Вы знали их?

– Настолько, насколько один человек может знать другого... Михал Каньский... Ученики называли его тапиром. Сейчас, наверное, выглядит как носорог, толстея и похрюкивая в теплом болоте мещанского гнезда.

Люция покачала головой.

– Его не стало уже двадцать лет назад. Я была маленькой девочкой, когда он умер. Оба умерли. Несколько лет назад умерла и тетя.

Она помолчала, а потом добавила:

– Я очень любила ее и очень ей благодарна. Это была самая интеллигентная женщина, которую я знала.

Она сказала это с желанием защитить память покойной от каких-то неуместных шуток Емела. Но он откликнулся коротким неприятным смехом.

– О, я тоже ей весьма благодарен.

После этого, однако, он отодвинулся в угол купе и погрузился в молчание. Вильчуром тоже овладели какие-то мысли или воспоминания. Люция вынула книгу и стала читать. Поезд шел среди волнистых холмов, поросших молодым лесом и кустарником. Изредка среди них мелькали ярко-зеленые входы и серые мшистые крыши деревень.

Солнце уже клонилось к западу. Его лучи длинными струями падали в купе.

Глава 9

На мельнице Прокопа Мельника завтракали рано. Здесь жил рабочий люд, а известно, что для работы нужны силы, которые давала, прежде всего, еда. Поэтому еще до того, как рыжий Виталис пошел поднять заслонку, а старый Прокоп разбудил сына, бабы, постанывая и почесывая отлежанные бока, позевывая и пошмыгивая носами, хлопотали возле большой печи. Зоня раздувала вчерашние угли, которые загребли в боковой подпечек. Где-то в глубине черной массы тлел лишь маленький огонек. Но не прошло и нескольких минут, как целая куча угля раскалилась и, передвинутая на середину печи, вспыхнула ярким пламенем в окружении смолистых щепок. Ольга принесла из сеней увесистую охапку березовых поленьев и с грохотом бросила их на пол. Хорошее сухое дерево, спиленное в лесу еще прошлым летом и разрубленное на ровные поленья, которые затем сложили в продуваемые штабеля, сейчас быстро и легко занялось огнем, потрескивая и время от времени выстреливая снопами искр.

Старая мельничиха давно уже была на ногах. С курами ложилась, но раньше кур вставала. Ей было не до сна. С годами, по мере роста достатка ей казалось, что на нее ложится все больше забот. Она боялась, что, стоит ей чего-нибудь недоглядеть, все пойдет прахом. Поэтому с самого раннего утра в хате и в округе раздавался ее скрипучий, ворчливый голос, отчитывающий все вокруг: и домашних, и животных, и даже неодушевленные предметы. По ее мнению, все сговорилось, чтобы донимать ее и вредить хозяйству. Ее брюзжание для всех стало бы несносным, если бы кто-нибудь обращал на нее хотя бы малейшее внимание. Зоня и Ольга сами знали, что они должны с утра затопить печь и поставить к огню пузатый горшок, чтобы разогреть вчерашнюю аппетитную, заправленную копченым мясом капусту, затем накрыть стол, поставить миски, принести из чулана хлеба. Наталка и без напоминания, еще заспанная, бежала в хлев, чтобы выгнать на пастбище Белошку и Лявонику, выпустить гусей и уток, свиньям и развизжавшимся пороссятам нарубить в большом корыте травы и картошки. Василь открывал мельницу и запускал в движение, а если на внутреннем дворе еще не было подвод с зерном, он выходил и, точно хозяйским глазом осматривая все вокруг, топтался возле того окна, которое уже издали выделялось среди других окон дома. И как же было ему не выделяться! Его плотно закрывали белоснежные ситцевые занавесочки, украшенные нарядными ленточками из розовой и голубой гофрированной бумаги и завязанные посередине двумя прелестными бантами.

Это было одно из окон праздничной избы, а скорее, той ее части, которая называлась "за перегородкой". Вот уже три месяца жила там Донка Солен – дальняя, десятая вода на киселе, родственница Прокопа и его семьи.

Не сразу на мельнице приняли ее хорошо. Сначала старому Прокопу не раз приходилось прикрикивать на баб, а Ольге однажды даже здорового тумака отвесил, когда та городской приبلуде, как она ее называла, так подала миску с гороховым супом, что половина выплеснулась ей на колени. Были у старого Прокопа на то свои причины, что в дом дармоедку привел. Говорили, что когда-то он по миру пустил родного брата и его семью. И хоть прошло уже много лет, и сейчас часто вспоминают об этом в окрестностях Радолишек, обвиняя мельника в жадности, бесчувственности и равнодушии к горю и нужде близких. Как там было когда-то на самом деле, трудно сказать, но шли годы, а вместе с ними в поседевшую голову Прокопа приходили какие-то новые мысли и в его сердце рождались какие-то новые чувства. Поэтому, узнав, что в далеком Вильно умер его дальний родственник Теофил Солен и оставил на произвол судьбы свою дочь, он после коротких размышлений решил забрать ее к себе.

Ничего никому не сказав, Прокоп собрал узелок и отправился в Вильно. Когда он увидел девушку, его охватила жалость, хоть и не показывал этого. Молоденькая она была, только восемнадцать исполнилось, худенькая, бледная, со слабыми легкими, поэтому и работы

никакой не могла найти, хотя и образование имела немалое: начальную школу с наградой закончила, а потом еще два года училась в гимназии. Отец ее швейцаром служил у одного пана, пока не заболел воспалением легких и умер. Подумал тогда старый Прокоп, что откормится девушка на мельнице, оживет, да и пригодиться может: Наталке поможет подучиться. Возможно, были у него и другие планы, но о них он и думать не хотел. Переехала тогда Донка на мельницу. Несмелая и забитая, она, казалось, боялась всех, начиная от большого пса Рабчика и кончая дядей, – так велел Прокоп называть его. Проходили недели, и девушка менялась на глазах. Она поправлялась, расцветала; ее черные глаза утратили прежнее затуманенное и покорное выражение и все чаще вспыхивали живыми искорками. Щеки ее зарумянились, а густые каштановые волосы стали еще гуще и приобрели блеск, как шерсть у изголодавшегося коня, которого стали хорошо кормить, не жалея овса.

Постепенно домашние приняли Донку, и на мельнице ей уже никто ни в чем не отказывал. Спала она дольше всех, поднимаясь к самому завтраку; ни к какой работе ее никто не принуждал. Если она сама хотела, то шила что-нибудь для Наталки, для Зони или Ольги, иногда постирушку небольшую делает, тесто замесит или убрать поможет. Была у нее только одна постоянная обязанность – делать с Наталкой уроки, но это длилось недолго. Ее присутствие на мельнице никого не обременяло, а уж Василию и вовсе по вкусу пришлось, хотя он этим и не хвастался. Сама его молодость требовала общения, а все складывалось так, что именно этого у него не было. Барышни получше из городка крутили носом и с сыном мельника, хотя и зажиточного, водиться не хотели, потому что он нигде не учился. На девушек же из соседних деревень он почти не обращал внимания. Они были чересчур примитивны для него. Зато Донка, эта образованная девушка из большого города, не только не выказывала ему своего пренебрежения или высокомерия, но вела себя с ним как с равным. С удовольствием слушала его песни, всегда рада была пойти с ним ловить рыбу и читала ему такие прекрасные стихи, что после некоторых он долго не мог заснуть, размышляя над судьбами пана Тадеуша, графа и Зоей.

В доме Прокопа Мельника трапеза не была, как у других, только утолением голода. Завтрак, обед или ужин считался своего рода обрядом, начинающимся с молитвы и молитвой заканчивающимся. За стол садились все вместе, а когда кого-то не было даже по важной причине, старый Прокоп не скрывал своего недовольства. В тот день тоже сели все вместе. Посередине стола стояла большая миска, от которой исходил аппетитный запах копченого мяса и капусты, рядом стояла вторая – с дымящейся картошкой, и, хотя это была ранняя весна, на столе лежала большая буханка хлеба. На мельнице хлеба всегда хватало. Деревянные ложки поочередно погружались в каждую миску. Делалось это не спеша, чтобы не показать прожорливость. Только троим еда подавалась на отдельных тарелках: главе семьи, Василию и Донке. Привилегированное положение последней вначале вызывало молчаливые протесты Ольги и Зони. С течением времени, однако, они согласились и с этим. Во-первых, они видели, что никак не смогут повлиять на волю Прокопа, а во-вторых, сами полюбили Донку и признали за ней какое-то превосходство.

Завтрак подходил к концу. Прокоп, рукавом вытерев усы и бороду, как раз собирался приступить к молитве, когда открылась дверь избы и на пороге появилась высокая чуть сутулая фигура. Гость был одет по-городскому, в шляпе. С минуту он стоял улыбаясь, потом снял шляпу и сказал:

– Хвала Иисусу Христу.

Только сейчас они узнали его. Ни по лицу, ни по одежде узнать его было невозможно. Когда он жил с ними, он носил обычную сермягу или кожух и была у него борода, закрывавшая половину лица ...

– Антоний! – первая вскочила Зоня, опрокинув лавку.

Наталка была тут как тут. Прокоп, раскрасневшийся, точно кровь залила его лицо, шел навстречу Вильчуру с протянутыми руками. Василь радостно повторял:

– Боже!.. Вот это гость, это гость!..

Старая мельничиха, сама не зная зачем, стала сметать крошки со стола, а Ольга стояла, широко раскрыв рот.

Приветствиям не было конца. Сначала несмело, а потом уже все по очереди обнимали его как родного – ведь он жил с ними здесь долгое время, с ними и как они. Что же из того, что

потом он оказался богатым паном, известным профессором. В их памяти он остался таким, каким был, Антонием из пристройки, добрым, сердечным приятелем, доброжелательным, готовым помочь каждому, любимым каждым.

Вильчур усадили за стол. Расходившиеся бабы принесли сыр, ветчину, поставили бутылку рябиновой настойки. Нашелся и белый хлеб. Заварили чай.

– Скорее святого Прокопа, моего покровителя, я надеялся увидеть, чем тебя, – говорил хозяин. – Здесь и дня не проходит, чтобы тебя не вспомнили. Сколько раз, бывало, посмотрю на пристройку и думаю: забыл про нас, выбросил из сердца. И так тяжело было. Вильчур сжал его руку.

– Не забыл. А лучшее доказательство тому то, что я здесь.

– Бог тебе заплатит за то, что приехал. 0-хо-хо, ну и насходитесь же сюда людей, когда узнают, что ты приехал нас навестить!

Ольга замахала руками.

– Ой, насходитесь!

Вильчур смотрел на собравшихся.

– Я не навестить вас приехал, – покачал он головой.

– Как это так? – удивился Василь.

– Я приехал, чтобы остаться с вами, чтобы остаться здесь навсегда ...

В избе воцарилось молчание. Все с недоверием и удивлением посматривали то на Вильчур, то друг на друга. Первым заговорил Прокоп:

– Ты не смеешься над нами?.. Куда теперь тебе к нам?..

Вильчур покачал головой.

– Не смеюсь. Я остаюсь с вами, если только вы примете.

– Боже правый! – воскликнула Зоня.

– Вот так штука! – с удивлением потряс рыжим чубом работник Виталис.

Одна лишь Наталка нисколько не удивилась. Радостно пискнула и бросилась ему на шею.

– Оставайся, оставайся!

Прокоп почесал затылок, погладил бороду, недоверчиво посмотрел на Вильчур и заговорил:

– Бог свидетель, что я тебе рад, что мы все тебе рады, но у меня в голове не уместится, что ты хочешь к нам вернуться. Что мы, бедные, темные люди, для тебя?.. Ты же большой пан. У тебя там каменные дома и виллы. Как же мы тебя тут примем, где посадим, где спать поло жим, чем кормить будем?.. Никак я этого понять не могу...

– Если вы только рады мне, – ответил Вильчур, – то и не о чем беспокоиться, потому что и я рад, что, наконец, здесь с вами. Не дома и виллы мне нужны, а сердечность, которой там, в свете, я не нашел, доброта, которой мне там не дали. Злые там люди, в городе... жадные, завистливые... Тяжело мне было среди них, а как стало настолько тяжело, что выдержать дольше уже не смог, я и подумал, что вы примете меня здесь по-прежнему сердечно, что у вас я по-прежнему угол найду, что местным людям пригожусь. Там, в городе, много врачей, может быть, и лучше, может быть, и умнее, да и моложе меня. Я там не нужен. Вот я и решил: вернуться к вам. И вернулся.

Зоня расплакалась и, всхлипывая, ладонью вытирала глаза. А Василь, не сумев скрыть переполнявшей его радости, воскликнул:

– Вот уж счастливый день наступил! Для всей округи будет новость!

Прокоп понял, что Вильчур говорит серьезно, что он действительно решил поселиться на его мельнице.

– Значит, останешься? – спросил он.

– Останусь, – кивнул головой Вильчур.

– И будешь людей лечить? – Наталка потянула его за рукав.

– Буду.

– Так и пристройку надо заново привести в порядок, – заметил Виталис.

– Там выбиты два стекла, – вставила Ольга, – может, я сбегаю за стекольщиком в городок?

– Иди ты со своим стекольщиком! – возмутился Василь. – Не в пристройке же он будет жить, а в комнате.

– И правда, – подтвердила Ольга.

Вильчур улыбнулся.

– Нет, я не хочу. Буду жить только в пристройке, я к ней так привык, мне было там так хорошо. Лучшего жилья мне не нужно, а вообще-то у меня большие планы, ого-го, какие планы... У меня осталось немного денег, и я думаю поблизости построить домик, оборудовать в нем амбулаторию, поставить две-три кровати для тех больных, которых сразу после операции на телегу положить нельзя...

– Это как бы больница, – отозвалась Наталка.

– Да, как бы, – подтвердил Вильчур. – Только маленькая, для местных нужд. Этот проект удивил и обрадовал всех. После долгого молчания Прокоп сказал:

– Бог подсказал мне принять тебя тогда на работу. Я уже даже не знаю, не могу подсчитать всего того добра, которое ты для меня сделал...

– Какое там добро, – перебил его Вильчур.

– Не отрицай, не отрицай – с уважением продолжал мельник. – До конца дней своих не расплачусь с тобой за то, что не оставил его инвалидом, что спас его, что, не искушая Божью милость, я могу теперь спокойно в гроб лечь, зная, кому нажитое за всю свою жизнь оставить. Но для меня важно не только то добро, которое я получил от тебя, важно и то, что соседям объяснил, не имея от этого никакой выгоды. Это благодаря тебе люди уже не смотрят косо на мой дом, а кто с тракта оглянется, тот и скажет: тут жил тот знахарь, тут людей лечил... А сейчас я слышу, что ты хочешь бросить город и большие заработки, чтобы вернуться сюда. Удивительный ты человек, святой человек. Не один гость тут так говорил...

– Не говори лишь бы что, Прокоп, – весело прервал его Вильчур. – Много таких людей, как я. Вот и пример есть. Со мной приехала одна девушка-доктор. Она хотя и молодая, и не знала вас, и не было у нее моей привязанности к вам, но как только узнала, что я сюда еду, хочу остаться здесь, сама согласилась помогать мне.

– А где она? – вскочил Василь, выглядывая в окно.

– Она осталась в Радолишках, в гостинице.

Зоня пожала плечами и несмело, но с явным недовольством заметила:

– А раньше тебе никакой докторши не нужно было... Моей помощи или Наталкиной достаточно было.

Вильчур рассмеялся.

– Ну, сейчас все будет иначе, не то, что раньше. Организуем здесь и маленькую аптечку, и инструменты есть у меня, и аппаратура медицинская, какая мне раньше и не снилась. Сейчас лечение пойдет иначе, спасем не одного такого, которому раньше я не смог бы помочь...

Вдруг Прокоп опомнился:

– Что это вы, бабы, ошалели! – прикрикнул он. Болтаете без умолку, а человека не угощаете, голодом хотите заморить. Так двигайтесь же!

Женщины подхватились все сразу и стали подвигать Вильчuru тарелки, наливать чай и наперебой просить, чтобы не отказывал, чтобы ел и пил. Прокоп выпил за здоровье гостя стаканчик рябиновки и в порядке исключения позволил сыну.

– Ну, ладно уж, – проворчал, – когда такой гость в доме, выпей и ты, хотя сегодня не праздник.

Снова посыпались возгласы, вопросы и ответы.

– Расскажите мне, что у вас слышно? – спросил Вильчур, когда немного успокоились.

– А, все по-старому, – махнул рукой Прокоп. – Живем, работаем с Божьей помощью.

Вильчур посмотрел на Ольгу и Зоню.

– Я думал, что вы уже давно вышли замуж.

Зоня покраснела и нетерпеливо покачала своими широкими бедрами.

– Мне так не в голове была женитьба, а Ольга за эти три года успела второй раз выйти замуж и стать вдовой.

– Стать вдовой? Не может быть?

– Правда, правда, – подтвердил Прокоп. Вышла за одного тут железнодорожника и полгода с ним не прожила. Не везет ей на мужей.

– Сейчас уже, наверное, никто на мне не женится, – сказала Ольга.

Вильчур погладил по голове Наталку, стоявшую возле него.

– Скоро о дочери будешь хлопотать: нужно будет ее замуж выдавать.

– Я не хочу замуж, – решительно заявила Наталка.
– Вот, глупая, – заметила старая мельничиха.
Взгляд Вильчура остановился на лице Донки, потом Василя и снова вернулся к Донке:
– А ты, Василь, я вижу, подумал о себе?
Василь покраснел и не нашелся, что ответить.
Донка улыбнулась, а Прокоп посчитал удобным пояснить:
– Это моя дальняя родственница, Донка Солен, сирота. Она осталась одна в городе, вот я и забрал ее к себе. Наталку учит...
Он сделал паузу и добавил:
– Она образованная.
– Образованная? – внимательно спросил Вильчур.
– Какое там, – смело ответила девушка. – Я закончила только начальную школу и два класса гимназии. Училась, пока жил папа, а потом, известно, не было за что...
– Конечно, – заметил Виталис, – без денег нет науки.
– А что в округе слышно? Какие перемены?
Прокоп стал перечислять по порядку, кто умер, кто женился, кто уехал.
– А дочь лесничего жива? – заинтересовался Вильчур.
– Жива, но что же это за жизнь. Лучше бы она умерла; одни хлопоты родителям: лежит и стонет. Одни кости остались.
– Ну, а доктор Павлицкий живет в Радолишках?
– А как же, только сейчас у него все идет хорошо. Он женился. Жену с фольварком взял и семь влук (польская мера площади, равная 16,8 га), не лишь бы что. Одних коров восемьдесят. Земли-то неважные, песок, но луга о-го-го и хороший кусок леса, десятин тридцать.
– А может, и сорок, – поправил Василь.
– Если говорю тридцать, так значит тридцать! – разозлился Прокоп. – От Черного камня до Брода будет тебе сорок! Одурел ты, что ли?.. Тот дом, в котором жил в Радолишках, доктор отремонтировал, железом покрыл. Живет сейчас, как пан, к больным ездит на собственных лошадях.
– Зато жена у него не меньше чем на десять лет старше, – презрительно поджала губы Зоня.
– Ну и что, что старше? – обрушилась на нее мельничиха. – Панна порядочная, хозяйственная, не какая-нибудь там вертихвостка, что по вечеринкам бегаёт, а хозяйство не смотрит.
Зоня подбоченилась и воинственно заявила:
– А будто кто-то тут шляется по вечеринкам?
– А ты! – бросила старушка.
– Я?...Я?...Если раз в год пойду в школу...
– Вот и неправда!..
– Успокойтесь, бабы! – крикнул явно разозлившийся Прокоп. – Вот нашли время выяснять свои бабские дела. А ну работать! Что вы тут стоите? Вы смотрите, языки пораспускали, тьфу!
Речь Прокопа подействовала мгновенно. Женщины, как по команде, принялись за свои повседневные дела. Старый мельник умел поддерживать в своем доме дисциплину, и его авторитет не ослабел и с возрастом.
С Вильчуrom, кроме Прокопа, остались только Василь и Донка. С некоторым недовольством Прокоп узнал, что с Вильчуrom приехал еще один человек и этот человек без специальности, но согласился с этим, потому что не мог не согласиться. Договорились, что Вильчур с Емелом поселятся в пристройке, пока для Емела не подготовят помещение под крышей. Зимой, правда, там жить нельзя, но летом даже Василь там не раз спал. Затем они все вместе осмотрели пристройку и обсудили необходимые изменения, причем Вильчур настоял на том, что все расходы он возьмет на себя. Это было удобно для него и с той точки зрения, что в таком случае он мог производить усовершенствования по своему усмотрению. Ему хотелось оштукатурить избу и альковы изнутри, покрасить полы, а в сенях положить пол, прорезать окно и поставить лавки для предполагаемых пациентов: здесь должна была быть временная приемная.

До окончания этих работ Вильчур намеревался остаться в гостинице в Радолишках. Ремонт пристройки решил заняться сам Прокоп, утверждая, что никто не досмотрит лучше, не найдет лучших мастеров и не организует все быстрее, чем он. С ним нельзя было не согласиться.

Тем временем в Радолишках приезд профессора Вильчура стал уже сенсацией дня. Ни о чем другом не говорили, теряясь в догадках, что его сюда привело. Одни утверждали, что прибыл он для того, чтобы выкупить для дочери Люд-виково, которое молодой Чинский продал после смерти своих родителей. Другие возражали, говоря, что не для дочери, а для себя собирается профессор купить имение и что он женится на той панне, с которой приехал. Еще говорили, что профессор проведет эксгумацию праха своей жены на кладбище в Радолишках, чтобы перевезти его в Варшаву, или поставит памятник на могиле здесь. Нашлись даже такие всезнающие, которые видели этот памятник собственными глазами на станции в Людвикове.

В результате всех этих событий движение в городке выросло вдвое, потому что никто из тех, кому позволяло время, не мог выдержать, чтобы не забежать в гостиницу и там, у хозяина не узнать хотя бы несколько подробностей, касающихся профессора. А их было совсем немного: приехали поздно ночью и еще спят, за исключением профессора, который встал ранним утром и пешком пошел на мельницу Прокопа Мельника.

Уже к обеду городок был наэлектризован возвращением Вильчура. Все поняли, что с мельником он обо всем договорился. Шел он медленно, с улыбкой рассматривая все вокруг и раскланиваясь со знакомыми, а их у него было много еще со времени своего знахарства здесь. Однако никто не осмелился вступить с ним в разговор. Дойдя до рынка, профессор остановился возле лавки пани Шкопковой и вошел туда.

Судорожно сжалось сердце, когда он увидел эти старые стены, полки, заставленные различными товарами, на которых с наивной декоративностью были разложены пачки гильз и табака, карандаши, пеналы, тетради, листы с переводными картинками, претенциозные украшения для столов, слегка выцветшие трубки цветной бумаги и все то, что когда-то укладывала здесь Марьяся, что продавала, чего касались ее руки... Чуть покосившийся прилавок, возле железной печки все те же перила лестницы, ведущей в подвал...

За прилавком сидела молодая полная девушка со следами оспы на лице, но с милым взглядом голубых глаз. При виде вошедшего она вскочила, сразу догадавшись, кто он.

– Чем могу служить, пан профессор? Озадаченный, он присмотрелся к ней.

– Откуда же вы знаете меня? Она улыбнулась.

– Местных я здесь всех знаю, а если кто-то новый приходит, сразу ясно кто.

– И вы знаете, кто я?

– Естественно, знаю. Все уже знают, с самого утра, что приехал пан профессор. Пани Шкопкова говорит, что вы приехали отдохнуть в усадьбу в Зеленом, но я знаю, что это не так.

Такая осведомленность развеселила Вильчура.

– Откуда же вы знаете? – спросил он с улыбкой.

– Ну, потому что вы привезли с собой очень много вещей, а на отдых столько не берут.

– Вы должны стать детективом. А как же поживает пани Шкопкова?

– Как пани? Скрипит понемногу, жалуется на застой в делах, на то, что дети не слушаются, а, в общем, ничего. Может быть, я сбегая за ней?

Бежать, однако, не пришлось. В городке все новости доходили из конца в конец со скоростью беспроводного телеграфа. Спустя минуту после того, как Вильчур вошел в лавку, пани Шкопкова уже была оповещена и, невзирая на одышку, уже неслась трусцой через рынок, чтобы поздороваться с профессором. Это было для нее честью и немалой, что такой человек именно ее первую в Радолишках решил навестить. Будет, чем гордиться, и будет повод для людской зависти, по крайней мере на несколько месяцев. У пани Шкопковой были основания считать себя более близкой профессору, чем все остальные в городке. Во-первых, его дочь несколько лет была на ее попечении, во-вторых, два года назад пани Шкопкова ездила в Варшаву и там лично встречалась с профессором.

И сейчас она приветствовала его со всей искренностью и растроганностью. Конечно же, она прежде всего спросила о дочери.

Профессор как-то помрачнел, но потом взял себя в руки и ответил:

– Ну, что же, она счастлива. Живут они в Америке. Он зарабатывает огромные деньги. Живут весело и этим довольны.

– А вы не собираетесь их навестить?

– Нет... Далеко, а я уже старый...

– Вам ли о старости говорить, – кокетливо прервала его пани Шкопкова.

– Во всяком случае, – продолжал профессор, – меня бы не заинтересовало то, что интересно им. Да и не хотелось бы мне стеснять их своей персоной. Старики не должны мешать молодым. А как ваши дела?

Пани Шкопкова начала пространно рассказывать о себе, о своих детях, об отношениях в городке, о том, что ксендз поменялся, что кто-то с кем-то судился и так далее. Узнав от Вильчура, что тот собирается остаться на мельнице навсегда, она ушам своим не поверила и с того момента нетерпеливо поглядывала на дверь, чтобы скорее выбежать и поделиться этой сенсационной новостью с как можно большим числом людей.

По возвращении в гостиницу Вильчур застал Люцию несколько обеспокоенной. Оказалось, что Емел, проснувшись, приказал подать бутылку водки, которую тотчас же опорожнил, и отправился в город.

– Я боюсь, – говорила она, – как бы в пьяном виде он не устроил где-нибудь скандал.

Профессор рассмеялся.

– Не беспокойтесь, панна Люция. Одна бутылка не угрожает ему никакими последствиями.

– Ему, возможно, нет, но другим.

– Исключено. Я ручаюсь, что он совершенно трезв.

Она задумалась и сказала:

– Это меня тоже не утешает. И вообще у меня такое впечатление, что мы поступили легкомысленно, взяв его с собой. Я не утверждаю, что это вообще плохой человек, и допускаю, что где-то глубоко у него теплятся какие-то забытые искорки чувств, но он ведь сам цинично заявляет, что "чужая собственность – это такая собственность, которую мы еще не успели себе присвоить". Бог знает, что еще он может здесь натворить, во всяком случае он может навредить нам с самого начала.

– Я не разделяю ваших опасений, – подумав, ответил Вильчур. – Емел не тот человек, который крадет из пристрастия или дурной привычки. Он берет чужое только тогда, когда не может удовлетворить свои потребности, но вы же согласитесь с тем, что его потребности не очень велики: лишь бы какая одежда, лишь бы какая еда, ну и водка, единственное излишество... А можно ли это назвать излишеством?.. Я задумывался над этим, но, возможно, для него это такая же потребность, как хлеб для других. Поверьте мне, панна Люция, что сознание иногда бывает самой страшной пыткой, особенно тогда, когда человек теряет веру в себя, когда переполнен презрением и отвращением, когда цинизмом, как ведром мусора, хочет засыпать то, что осталось в нем человеческое и что сам он считает непригодным. Дорогая панна Люция, возможно, что своим поведением Емел доставит нам массу хлопот, но представьте себе, что бы с ним было, если бы мы оставили его на произвол судьбы...

Профессор покачал головой и добавил:

– Бедная, измученная душа. Пусть оживет в этой атмосфере добра и непринужденности.

Изболевшаяся душа, а мы ведь лекари!..

Люция с недоверием подняла брови.

– Только на этот раз пациент неизлечимо болен.

Он взял ее за руку.

– А если даже... Оставили бы вы безнадежно больного без помощи?..

Она ничего не ответила, но этот разговор открыл перед ней новые глубины души профессора. Поняла она сейчас также и то, что этот человек не остановится ни перед чем, выполняя свой долг, который понимает, значительно шире и глубже, чем могла она догадываться раньше.

Опасения о поведении Емела, по крайней мере вначале, оказались напрасными. Большую часть дня он, действительно, проводил в местном шинке. Будучи по натуре человеком спокойным, лишенным буйных инстинктов, он не устраивал никаких скандалов.

Подтвердились также предвидения профессора о его относительной порядочности. Ни у

кого ничего не пропадало по той простой причине, что у Емела хватало денег на его скромные расходы. Самым обычным в мире способом, идя в шинок, он бесцеремонно обращался к Вильчуру:

– Ассигнуй, владыка, еще полпятак для инъекции, но только не думай, что пользуюсь твоим неограниченным кредитом без желания вернуть долг. Каждое поступление записывается мной скрупулезно, а каждую пятницу я подсчитываю. Если потом я выброшу карточку в окно, то лишь потому, что не владею высшей бухгалтерией. Во всяком случае, можешь рассчитывать на то, что ты будешь моим единственным наследником.

Вильчур смеялся, а Емел продолжал:

– Не смейся, архипастырь. Возможно, мой прекрасный костюм и головной убор не кажутся тебе очень ценными предметами по существующей экономической шкале. Однако я еще располагаю своим божьим телом, которое можешь использовать по своему усмотрению. Мясник даст тебе за него приличную сумму. Подумай только: колбаса, сразу насыщенная алкоголем. Можешь приказать, чтобы меня забальзамировали и выставили в какой-нибудь галерее как последнюю копию Аполлона, или можешь использовать лично, разрезать ланцетом на мелкие клочки и поискать в них душу или другие инертные газы, в существование которых, мой свет, ты веришь постоянно и глупо.

– И ты в это веришь, – снисходительно улыбнулся Вильчур. – Если бы ты не верил в газы инертные, то не тосковал бы так по неинертным – алкогольным парам. Это же ясно. Так они разговаривали не раз по дороге на мельницу, где уже заканчивался ремонт. На мельнице, как и следовало ожидать, к Емелу присматривались недоверчиво и подозрительно, а его манера разговаривать наполняла всех, начиная от Прокопа и кончая Донкой, беспокойством:

– Слушает его, черта, человек, слушает, а он вроде по-людски говорит, но ничего из этого не поймешь, хоть ты лопни. Таких людей мы здесь никогда не видели, – так Зоня выразила мнение всех жителей мельницы.

Зато Люция сразу и без труда снискала общую симпатию. Ее искрящаяся молодость и непосредственность в общении с людьми вызывали уважение. Даже Зоня, которая вначале предполагала, что эта докторша представляет конкуренцию для нее в притязании на руку Вильчура, увидев ее, успокоилась. Разница в возрасте профессора и Люции казалась Зоне достаточной гарантией безопасности.

Благодаря усилиям старого Прокопа ремонт пристройки быстро закончили, и Вильчур с Емелом переехали на мельницу. Люция оставалась в городке. Она сняла у пани Шкопковой комнату, которую та сама ей предложила. Каждый день утром она шла на мельницу и возвращалась только вечером.

Весть о прибытии "знахаря" быстро разнеслась по округе и по всему району. Возле мельницы Прокопа Мельника снова стали собираться телеги с больными из ближайших и более отдаленных деревень. Слава Вильчура за время его отсутствия не угасла; напротив, она выросла еще больше, а история его жизни стала почти легендой, украшенной самыми фантастическими дополнениями. Ему уже приписывали не только чудодейственные качества, в нем видели тайного посланника неземных сил, поэтому его возвращение приняли почти с религиозным экстазом. Мужики, независимо от вероисповедания, уже во дворе снимали шапки, и ни один не смел крикнуть или даже громко заговорить. Прием начинался с раннего утра и с небольшими перерывами продолжался почти до захода солнца.

Уже спустя несколько недель Вильчур убедился, что запасы его аптечки иссякают довольно быстро и нуждаются в значительном пополнении. Новые закупки потребовали солидных расходов. Взвесив все, Вильчур понял, что для оборудования хотя бы маленькой больницы у него не хватит денег.

– Вы знаете, – обратился он однажды к Люции, – мне кажется, что из нашей больницы ничего не получится, а вы будете вынуждены жить в Радолишках постоянно, потому что здесь ведь нет места.

– Я не жалуясь на жизнь у этой добродушной женщины, – спокойно ответила Люция. – А что касается места здесь... оно нашлось бы для меня, если бы жители мельницы были более гостеприимны. Профессор возмущился:

– Ну что вы говорите! Они могут служить примером гостеприимства.

Она засмеялась.

– Да я не о них... Вильчур все еще не понимал.

– Не о них? Тогда о ком же?

– Я не говорю о постоянных жителях мельницы, только о новых.

Она посмотрела ему в глаза.

Вильчур понял и, смущенный, отвернулся. Чтобы поскорее уйти от этой деликатной темы, он сказал:

– Видите ли, я не предусмотрел такого большого наплыва пациентов и расхода лекарств.

Некоторые, к сожалению, очень дороги... Ну, и сейчас я вынужден, конечно, попрощаться с надеждой построить больницу...

Он был искренне огорчен этим, так как, действительно, часто привозили больных, за которыми следовало наблюдать по несколько дней перед операцией или после нее. К счастью, лето в тот год было теплым, и пациенты могли ночевать под открытым небом на телегах или в сарае.

Как-то Прокоп, идя вечером в городок вместе с Люцией, спросил ее:

– А что это профессор такой мрачный последнее время?

– Переживает, что у нас недостаточно денег для постройки больницы, – объяснила Люция.

Прокоп удивился:

– Да? А люди говорили, что он богатый человек.

– Был богатый, но богатство его не интересовало. Часть пораздавал, остальное забрали, и осталось немного.

Прокоп ничего не ответил и глубоко задумался. Несколько дней он ходил молчаливый.

Наконец, велел Виталису запрячь коня в бричку и, ничего никому не сказав, уехал.

Возвратился он только вечером, а на следующий день все повторилось. Все на мельнице были заинтригованы поведением Прокопа. Возникали разные домыслы, но никто не осмелился спросить его прямо, а сам он не торопился объясняться.

Больше всех маневрами отца был обеспокоен Василь. Неизвестно откуда зародилось в нем предположение, что тут замешана его особа, что отец осуществляет свои таинственные походы в поисках будущей невестки. Зная взгляды отца, Василь был заранее уверен в том, что выбор отца придется ему не по вкусу. Однако, воспитанный с детства рукой Прокопа, рукой твердой, сильной и неуступчивой, он просто не представлял себе, как устоять против воли отца. Здесь могли подействовать только убеждения, к тому же убеждения человека, с чьим мнением отец захотел бы считаться.

Результатом этих беспокойств Василя стало то, что однажды вечером, когда уже больные разъехались, он постучал в дверь пристройки. Вильчур как раз занимался инструментами. Емел расставлял на полках бутылки и банки.

– Ну, что скажешь, Василь? Как там, много сегодня было помола? – спросил Вильчур.

– Где там, немного. Ясно, как весной. Весной зерна меньше, зато больных больше.

Голодного быстрее хворь хватает.

Воцарилось молчание.

– Садись, Василь! – пригласил Вильчур. – Есть, наверное, у тебя ко мне какое-то дело?

– Дело не дело... – Василь почесал заухом. – Вот, поговорить хотел, совета попросить.

– Совета? – Вильчур посмотрел на него. – Что же я могу тебе посоветовать?

Василь посмотрел на Емела и, помедлив, сказал:

– Такие секретные дела...

Вильчур усмехнулся.

– Ну, хорошо. Сейчас я закончу и пойдем к лесу. Мне нужно посмотреть, зацвел ли чабрец, а по дороге и поговорим.

Емел откликнулся, казалось, безразличным тоном:

– С удовольствием буду вас сопровождать. Люблю чабрец и секретные дела. А здесь у меня уже нет работы...

Выдержал паузу и добавил:

– Правда, сегодня еще следовало бы сделать настойку из тех валерьяновых корней, но какой-то пьяница выпил весь спирт и в доме нет ни капли. Значит, пойду с вами.

Василь кашлянул.

– Хм... У матери там еще полбутылки есть.

– Есть?.. – заинтересовался Емел. – Вот времена настали, что даже матери вместо молока спирт держат. Но как же, мой дорогой Рох Ковальский, я добуду у твоей благородной матери эту жидкость? Эта женщина такая неотзывчивая и готова заподозрить меня в какой-то личной заинтересованности по отношению к этому картофелю в жидком состоянии. Могу ли я довериться твоей ловкости, юноша, и вручить тебе функцию транспортировки упомянутой бутылки?

Василь посмотрел на него недоверчиво.

– Может, да, а может, нет, но принести ее я вам могу.

– Тогда торопись. Чего еще ждешь? Разве не видишь, как убегает время? Тайм из маны.

Когда Василь вышел, Емел продолжал:

– В твоём молчании, император, угадывается неодобрение моего поведения. Ты бы, конечно, предпочел, чтобы я напоил алкоголем эти жалкие коренья. Вот твой гуманизм! С одной стороны, радикс валерианы, с другой – хомо сапиенс! И ты выбираешь коренья. Разумеется, коренья, но с какой целью? Чтобы поить этим землепашцев, земледельцев, словом, село, у которого и без того нервы покрепче.

– Не всегда, – возразил Вильчур.

– Всегда, магараджа. Я наблюдаю за ними уже давно. Это существа с восприимчивостью амёбы. Ты обрезаешь им разные конечности, зашиваешь животы, прокалываешь эпидермис, а они даже не пискнут.

– Тяжелая работа с детства научила их терпеть и переносить боль, – заметил Вильчур. – Прими во внимание, приятель, что уже малолетние сельские дети не бегают без дела. Случается, что такой малый жук перетаскивает тяжести, которые и ты бы далеко не унес. Они ходят по стерне и камням босиком, привыкают к жаре, морозам и слякоти. А все это закаляет их.

– И притупляет, притупляет чувствительность, милорд. И не только физическую. Задумывался ли ты когда-нибудь, уважаемый эскулап, над вопросом постижимости явлений?.. Это вопрос интеллекта и широты мира, уровня и богатства его. Из чего, например, состоит мир пырея, обычного пырея, который растет здесь под окном? Из более или менее увлажненной почвы, содержащей более или менее питательные соли и воду, а также из воздуха и света. Вот и все. В качестве эпилога можно добавить еще один момент: морда коровы и несколько движений ее нижней челюсти. И возьми сейчас твой мир. Уже в самых реальных фактах он богаче: цвета, звуки, деликатность вкуса и запаха, чувства движения, температуры, расположения по отношению к центру земли и прикосновения с помощью зрения, а значит, формы! Дальше чувство времени, пространства и изменений в окружающей среде, не считая иных факторов: голода, насыщения, дыхания и света. Словом, пырей плюс бесконечность. Бесконечность, разумеется, на уровне пырея. А духовная жизнь, внешняя и внутренняя! Здесь уже на человеческом уровне можем говорить только о бесконечности. И вот тут-то существует градация, маэстро. Ты же не станешь отрицать, что восприятие явлений одинаковое у тебя и у Василя или у меня и у тебя. Не обижайся, далинг, но мой мир по сравнению с твоим так же велик, как галактика в сравнении с метеоритом или, если пожелаешь, как земной шар и головка шпильки. Как же тут оценить значимость мира простого пырея? Где его разместить на расстоянии между пыреем и мной?.. Вильчур покачал головой.

– Можешь ошибиться, приятель.

– Могу, но не хочу.

– Не всегда в человеке отсутствует то, чего он не высказывает или не умеет высказать. Не каждый сумеет словами выразить свои мысли, чувства или ощущения...

Емел пожал плечами.

– Опираясь на твою гипотезу, можно предположить, что пырей, улитка и головка капусты испытывают удивительные чувства восторга, слушая концерт бемоль Шопена. Нет, далинг. Извини, но я не могу согласиться с такой концепцией. Позволь мне в дальнейшем опираться только на свой опыт. Если кому-нибудь запикивают шпильку в самую мягкую часть тела на глубину нескольких сантиметров, а этот кто-то ни голосом, ни выражением лица не выказывает этого, я сделаю вид, что не заметил. Если я обращаюсь к кому-нибудь на чистом английском: "Бу зет, мон шер, ле пле репрезентабль крета о мон" (франц. "Вы, дорогой мой, самый представительный кретин, каких я знал"), а он мне на это отвечает, что

у него нет с собой спичек, я останусь при своем мнении, что итальянский язык не его родной. Иначе проверить нельзя. А, собственно, на кой черт я должен искать другой способ? Если такой лапотник выходит ранним утром из дому и видит пурпурный восход солнца, стелющийся туман, слегка волнующееся море хлебов и вместо того, чтобы остановиться с открытым от восторга ртом, кричит: "Ну, опять свиньи мне всю цибулю перерыли!" ... так прости меня, граф, но я не вижу никаких доказательств того, что он увидел восход солнца. Какой-то тип в древности сказал: "Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". Я бы изменил это: насколько шире твоя способность постигать явления, настолько в большей степени ты человек, естественно только в том случае, если это постижение становится основанием мысли. Подумай об этом, дотторе, и согласишься, что я прав... Дальнейшие умозаключения Емела прервало возвращение Василя, который принес обещанную бутылку. С этого момента все внимание Емела сконцентрировалось на ней, и он даже начал уговаривать Вильчура, чтобы тот уже шел смотреть чабрец.

– Я тут остальное сделаю сам, – обещал он.

Когда Вильчур с Василем оказались на тропинке, вьющейся вдоль пруда, профессор спросил:

– Так о чем речь?.. Какие-нибудь проблемы с отцом?

– Проблемы не проблемы, – подумав, ответил Василь, – потому что я еще точно ничего не знаю, но отец в последнее время что-то замышляет, молчит и постоянно куда-то уезжает.

– Что из этого следует?

– Вот я и не знаю, – помедлив, ответил Василь.

– Но почему тебя это беспокоит? Ездит, наверное, у него свои дела, вот и все.

Василь, покусывая сорванную травинку, долго молчал.

– Может, свои дела, – отозвался, наконец, – а может, и мои. Еще в Великий пост отец вспоминал, что мне уже пора жениться.

Вильчур рассмеялся.

– А ты не хочешь?

– Почему я не хочу? Известно, как придет пора, каждый должен жениться. Но не так.

– А как? – спросил Вильчур, забавляясь прозрачной дипломатией Василя.

– Ну, не так, чтобы отец искал. Отец будет смотреть, чтобы богатая и работающая была.

– А ты хотел бы бедную и такую, которая не любит работать.

– Ну, а зачем ей работать? Мало тут баб в доме? Хлеб едят, так пусть и работают. А мне так без разницы, бедная или богатая. Деньги – вещь наживная.

Профессор наклонился надо рвом, густо покрытым мелкими фиолетовыми цветами.

– О, как зацвел... Сколько его здесь... Так, значит, что? Какой мне тебе дать совет, чем помочь?

– Если бы вы поговорили с отцом, чтобы он успокоился... потому что потом он упрется и с ним не справиться. А если сейчас с ним поговорить, так, может, он махнет рукой и скажет, мол, не буду вмешиваться, пусть сам выбирает себе по сердцу...

Чабреца было столько, что Вильчур присел и рвал его горстями в свою корзинку.

– Ну, хорошо, – подумав, ответил он. – Я поговорю с Прокопом. Ты же знаешь, что я желаю тебе добра. А жену, действительно, каждый должен выбрать себе сам по своему сердцу...

Ты прав, что деньги счастья не дают... Ты прав... Я поговорю с Прокопом.

Для выполнения обещания представилась возможность в тот же вечер. Мельник, как он делал это часто, пришел в пристройку поговорить. Разговор, правда, проходил преимущественно в молчании как Вильчура, так и Прокопа, молчании, которое время от времени нарушалось каким-нибудь замечанием или информацией о событиях дня, о людях, о делах.

Улучив момент, Вильчур спросил:

– Скажи, Прокоп, что это ты замышляешь в последнее время? Все ездешь и ездешь, на мельнице нет тебя по целым дням, все удивляются.

Прокоп с хитрецей посмотрел на Вильчура и, чтобы выиграть время, начал сосредоточенно скручивать себе папиросу. Медленно насыпал махорку на большой кусок бумаги, толстыми пальцами, не спеша, равномерно ее распределил, лизнул края и закурил. Потом, наконец, ответил:

– А вот так себе езжу посмотреть, чем люди заняты, как живут. Что, нельзя?

– Конечно, можно, но смотри, чтобы люди чего плохого не подумали.
– А что плохое они могут подумать?
– Кто это может знать? Может, найдутся и такие, которые подумают, что едешь к какой-нибудь девушке.
Вильчур рассмеялся, а Прокоп сплюнул, не скрывая своего возмущения.
– На злые языки управы нету, куда мне там к девушкам. В гроб ближе, да и не в голове у меня уже бабские дела.
– Ну, так, может, не себе девушку ищешь, – пытался подобраться к Прокопу Вильчур.
– А для кого это я должен искать? Ты думаешь, что я с ума сошел?
– Ну, может, для Василя.
Старик пожал плечами.
– Почему это я должен искать для него? Пусть он сам себе ищет, ему с ней жить.
– Вот это ты хорошо сказал, Прокоп, но в таком случае мне уже интересно, куда это ты набегу делаешь, что ты там готовишь. Ну, признайся.
Мельник искоса посмотрел на него и улыбнулся.
– Слишком ты любопытный, придет время, и ты узнаешь. В этом все и дело, чтобы для тебя это секретом было.
– Для меня? – недоверчиво спросил Вильчур.
– Именно для тебя.
Ничего больше из Прокопа вытянуть не удалось. Но Вильчур, правда, особенно и не старался: был удовлетворен хорошей новостью для Василя, которую на следующее же утро доложил ему. Не думал он, что Василь примет ее с такой большой радостью: у него даже глаза заискрились, а лицо вспыхнуло.
– Правда, отец сказал, что не хочет в это дело вмешиваться и чтобы я себе сам жену искал?
– Правда. Отец сказал: "Не я буду с ней жить, а он. Пусть сам себе и выбирает".
Василь задумался и покачал головой.
– Да... мудрый отец... Не напрасно прожил столько лет на свете...
И он почувствовал в этот момент к отцу не только еще большее уважение, не только большую привязанность, но и какое-то новое чувство, сердечное и глубокое. У Василя, правда, еще не было никаких конкретных планов относительно своего будущего. Донка понравилась ему с первого взгляда, и с каждым днем это чувство усиливалось. Однако, будучи по натуре очень самолюбивым, он боялся строить какие-нибудь планы, по крайней мере до тех пор, пока у него не было уверенности, что на пути их выполнения он не встретит решительного отказа отца или насмешки со стороны Донки.
По ее поведению он совершенно не мог понять, как бы она отнеслась к тому, если бы он начал откровенно за ней ухаживать. Девушка была веселая, живая, как ребенок, со всеми приветлива, для всех у нее была готова улыбка на устах в ответ на шутку или доброе слово. Но уверенности в нем не было. Уже не раз у Василя на кончике, языка был вопрос, нравится ли ей кто-нибудь из молодых людей, и всякий раз у него не хватало смелости задать его. Он боялся услышать такой ответ, который придется не по душе ему, боялся того, что, может быть, в городе Донка оставила парня, о котором вспоминает. Поэтому не мог он найти в себе внутренней отваги даже на то, чтобы признаться себе: ни одна мне так не нравится, как она, и ни одна не может стать моей женой, кроме нее. Были и другие сомнения: захочет ли такая интеллигентная, образованная городская девушка, почти девочка, выйти замуж за простого сельского парня, который даже в городах не бывал и обхождения никакого не знает. Не ушло от внимания Василя и то, как две недели назад, когда на мельницу заехал по дороге пан Латосик, районный писарь, она повязала на голову шелковый платочек, разговаривала с ним как-то иначе и смеялась больше, да и Латосик вроде бы на минуту заехал, а просидел до самого захода солнца.
Приходила тогда Василью в голову мысль, чтобы пану Латосику, который сидел с Донкой на завалине мельницы, через отверстие сверху мешок отрубей на голову высыпать. Однако не сделал этого, хотя ведь мог потом объяснить, что это произошло случайно. Не сделал этого он потому, что сжалось у него сердце от предположения: а вдруг пан Латосик ей нравится?.. Тогда не помогли бы и десять мешков и толстая палка... Пан Латосик хотя и простой чиновник, но закончил школу, умеет красиво говорить, и в будни и в праздники при галстук и одеколоном пахнет.

После его отъезда Василь внимательно присматривался к Донке, стараясь заметить, не будет ли она после ухаживаний такого шикарного кавалера относиться к нему иначе. Но Донка ничуть не изменилась, вот только шелковую косыночку сняла.

Впервые в жизни женская натура показала Василью полной глубоких тайн и ловушек. Однако тут он был бессилён. С другой стороны, Василь знал свои достоинства, а также то, что не одна девушка из околицы охотно вышла бы за него замуж уже только потому, что он после отца будет владельцем мельницы, большого хозяйства и, как все говорят, больших денег, а еще потому, что его все уважали: за юбками не бегал, по трактирам не ходил, знал свою работу и при этом был аккуратным, считался порядочным и никто его еще неловким и глупым не назвал.

В своих размышлениях он, конечно, принимал во внимание не только отрицательные стороны, но и эти козыри, и сейчас, когда узнал от Вильчура, что отец не имеет никаких конкретных намерений относительно его будущего и невесту для него выбирать не собирается, он почувствовал свою позицию более крепкой. В результате этих размышлений он пришел к убеждению, что без Донки он не сможет жить на свете. Целый день он ломал себе голову, как подойти к Донке, как начать с ней разговор, что сказать. Вечером, когда переоделся, он знал уже все и как бы между прочим предложил Донке, когда они оказались одни возле дома:

– Крючки для рыбы у меня приготовлены. Ты бы не поехала со мной на лодке поставить их на верхних прудах?

При этом он не смотрел ей в глаза, опасаясь, как бы в его взгляде она не прочла всю необычность этого явно обычного предложения. Но Донка ни о чем, вероятно, не подозревала, так как согласилась сразу.

– Подожди минутку, – ответила она, – я только надену старые туфли.

– Поспеши, – сказал Василь, – потому что лучше всего ставить их на закате солнца.

– Хорошо, хорошо, – откликнулась она уже из сеней. – Подожди минутку.

– Я пойду к лодке, вылью воду.

Ему хотелось выиграть еще немного времени, и он пошел в направлении пруда. Лодка чуть-чуть протекала, и нужно было ковшом вылить со дна воду, потом сдвинуть лодку с берега, уложив на носу крючки с приманкой так, чтобы стоянки и лески не переплелись. Пока он справился со всем этим, подошла Донка. В розовом ситцевом платице в красных цветочках, сильно затянутом поясом, с белым воротничком, плотно обхватывающим шею, она была так обворожительна, что Василь просто боялся на нее смотреть.

– Все у меня перемешается в голове, – думал он, – и ничего толком я не смогу сказать ей.

Лодка легко соскользнула по песку, и весла погрузились в воду. Над лесом висел большой красный набухший шар солнца, касаясь краем самых высоких крон деревьев. На слегка волнистой поверхности пруда дорога к солнцу обозначалась пурпурными брызгами на фоне бледно-зеленого отражения неба.

– Должна клевать, – сказал Василь после третьего или четвертого погружения весел.

– Что ты говоришь? – спросила выведенная из задумчивости Донка.

– Я говорю, что будет хороший клев: время такое. В прошлом году я поймал щуку на метр.

– А их много здесь?

– Конечно, немало. Рыбы много, и щук много.

Разговор прервался. Василь лихорадочно искал в голове тему и, наконец, сказал:

– У Шимона в Козятках сегодня корова пала. Хорошая была корова. И пала.

– А почему? – безразличным тоном спросила Донка.

– Кто это может знать. Наверное, съела что-то.

Снова воцарилось молчание. На этот раз, однако, Василью ничего не пришло в голову, и он стал напевать себе под нос какую-то песенку. Так они приплыли к противоположному берегу. Корни ольховых деревьев переплетенными шнурами погружались здесь в воду. Берег был обрывистым, и почти сразу пруд становился глубоким. Василь ловко цеплял к длинному шнуру крючки и осторожно погружал их в воду. Конец шнура привязал толстым узлом к мощному корню, и работа была закончена. Он вытер руки, огляделся вокруг и предложил:

– А может, мы посидим здесь на берегу? Такая хорошая погода, и пахнут цветы...

– Посидим, – согласилась она весело. – Может быть, увидим, как будет клевать рыба.

Они привязали лодку и вышли на берег. Среди деревьев росла густая высокая трава. На эту сторону не выгоняли ни коров, ни свиней, ни коней на ночлег. Они сели рядом. Василь только начал думать над тем, с чего ему начать, как Донка спросила:

– А твой отец еще не вернулся? Куда это он ездит?

Василь ухватился за представленную возможность как за спасение.

– Вот именно, – сказал он, – и я не знаю, куда он ездит. Никому не говорит. До вчерашнего дня я даже боялся.

Донка удивленно спросила:

– Боялся? Чего?

– А, так... Не знал, зачем он ездит, вот и приходили разные мысли в голову.

– А сейчас знаешь зачем?

– И сейчас не знаю, но знаю, что не из-за меня.

– Как это? А почему он должен был ездить из-за тебя?

Василь раздвинутыми пальцами расчесывал траву, всматриваясь в нее с таким вниманием, точно он выполнял какое-то очень серьезное и важное задание.

– Видишь, Донка, у меня уже такой возраст... Отец как-то говорил, что жениться мне пора. Так вот, когда начал он ездить по окрестностям... я думал, может, он жену мне ищет. Ездит везде, чтобы невестку себе найти.

Донка рассмеялась.

– Как это?... Искать? На дороге встретит какую-нибудь и смотрит, подойдет ли она для тебя или нет?... Это комедия.

– И совсем нет, – вступился за отца Василь. – Он же знает всяких людей, знает, у кого есть дочка, и ему нужно посмотреть ее дома: красивая ли, хозяйственная ли, здоровая ли и что вокруг нее. Он заезжает как бы случайно, поговорить, и смотрит. Все так делают, такой обычай на свете.

Донку это развеселило. Глаза ее искрились, она улыбалась.

– Ну и как? – спросила она, кокетливо наклоняя голову. – Высмотрел что-нибудь для тебя?

– Не высмотрел, потому что не обо мне тут речь. У него какие-то свои дела были.

– Так поэтому ты, бедный, так озабочен, – хохотала Донка, которую не покидало хорошее настроение.

Василь хмуро ответил:

– А тебе, Донка, в голове только одно: смеяться надо мной.

– Я вовсе над тобой не смеюсь, – она мгновенно стала серьезной. – Просто мне весело.

– Так зачем говоришь, что я озабочен? Ты же знаешь, что я рад этому.

– Я не знаю, что ты радуешься. Откуда я знаю? Сидишь грустный, на траву смотришь, так откуда мне знать, что ты радуешься?

Василь несколько раз кашлянул и искоса посмотрел на нее.

– Я рад, что мои опасения прошли. Я ведь боялся, что отец выберет для меня девушку не по сердцу. Подумай сама: если бы тебя заставили выйти замуж за такого, который тебе не нравится.

Донка слегка пожала плечами.

– А, кому я нужна, и нет у меня в голове таких мыслей.

Василь снова нахмурился.

– Потому что, наверное, в городе оставила того, кто тебе нравится?

– Никого я там не оставила.

– Никого? – спросил он недоверчиво. – А может, и никого, потому что тебе тот районный писарь так понравился, пан Латосик... Конечно, галстук зеленый носит, одеколоном от него пахнет...

Донка прыснула, как котенок.

– Ну, так и что, если пахнет? Будто я одеколона не нюхала?

– Но все-таки шелковую косыночку надела.

– А что, разве нельзя мне косыночку надеть?

– Конечно, можно. Почему нет? Главное тогда, когда есть для кого.

– Каждый гость – это гость, а этот писарь так даже косоглазый.

– Косоглазый не косоглазый, – заметил Василь, – но все за ним бегают.

– Может, все, только не я. Ну что ты, Василь, к нему прицепился? А если бы даже он мне и нравился, так тебе же это безразлично, я думаю.

Василь долго ковырял землю, прежде чем ответил.

– Если бы было безразлично, то я бы ничего не говорил. Наверное, не безразлично.

– Не понимаю, какая тебе разница, – с невинным выражением лица ответила Донка.

– Значит, есть разница.

– А почему?

Василь опустил голову и угрюмо ответил:

– Потому что ты, Донка, мне очень нравишься.

– Я? – спросила она с неподдельным удивлением.

– Именно ты, – буркнул Василь.

– Боже правый, что тебе может во мне нравиться?

– Не знаю что... Откуда я могу знать. Все мне нравится.

– Смеешься надо мной? – непринужденно рассмеялась она.

Василь покраснел.

– Какие там шутки, – ответил он почти злобно, – когда я хочу на тебе жениться? Женильба – это никакие не шутки.

– Ты на мне? – произнесла она почти шепотом. – Не могу поверить.

Василь нетерпеливо махнул рукой.

– Вот такие разговоры с бабами. Говорю ей четко, так она не хочет верить. Отец прав: с бабами труднее всего. Если бы мужику сказал: хочу на тебе жениться, тот бы дал человеческий ответ – да или нет.

Донка громко и заразительно смеялась.

– Ой, Василь, с мужиком бы поженился. Что ты говоришь?

Она прямо покатывалась со смеху. Обняв свои колени и спрятав между ними лицо, она беспрерывно смеялась, но, даже замолчав, не подняла головы.

Василь спросил:

– Ну, так что будет с нами?

Ответа не последовало, и он повторил вопрос:

– Донка, так как же?..

Она продолжала молчать. В сердце его прокралась горечь, и он заговорил, обращаясь как бы сам к себе:

– Я понимаю, что я не по вкусу тебе... Простой я парень, а ты образованная панна. И из города... Конечно, в городе интереснее жить. Кто хоть раз городской жизни попробует, тому деревня уже не по вкусу... Хотя вот профессору, например, наоборот, а он не лишь бы кто... Человек умный, бывалый... Но с тобой другое дело, потому что ты не одного лучше меня найдешь. Насильно мил не будешь... Я знал это, я знал, что ты не захочешь меня... Голос его задрожал, и умолк, а спустя минуту он добавил безропотно:

– Но все-таки подумал, что спросить не грех...

Опять наступило молчание. Над прудом раздалась первые лягушечьи трели. Солнце уже спряталось, с лугов потянуло свежестью. Донка встала и тихо сказала:

– Поздно уже. Пора домой.

После минутной радости, родившейся в ней, когда она услышала признание Василя, ее вдруг охватила грусть. Она поняла, что парень, который ей так нравился, никогда не станет ее мужем. Она пришла в ужас при мысли, что старый Прокоп, узнав обо всем, назовет ее неблагодарной. Приютил ее под своей крышей, а она отплатила ему тем, что вскружила голову его сыну. И действительно, она не скрывала от себя того, что с самого начала старалась понравиться Василю. Но родители его могут подумать, что она это делала для того, чтобы поймать богатого мужа. Возможно, это и правда, что говорил Василь, будто отец не хочет вмешиваться в выбор невестки, но он никогда не согласится с тем, чтобы ею стала несчастная сирота, бедная родственница, которая ест чужой хлеб.

Она медленно спускалась к лодке. Уже подойдя к ней, Донка обернулась и увидела за собой Василя. Он был бледен и такой грустный, каким она его еще никогда не видела.

В неожиданном для самой себя порыве она вдруг обвила его шею руками и прижалась губами к его губам. Она чувствовала, как его руки все сильнее обнимают ее, поднимают ее так, что она пальцами ног едва касается земли.

Внезапный всплеск воды заставил их очнуться. Ближайший поплавок раз за разом погружался в воду, взбаламученную хаотичными движениями рыбы, которая попала на крючок.

– Должно быть, какая-то большая штука, – сказал Василь, но даже не двинулся с места и не разжал объятий.

– Отпусти же, – тихо произнесла Донка.

В ответ он только прижал ее сильнее, говоря:

– Вот видишь, какая ты... А я уже думал, что не любишь меня. И так тяжело мне на сердце стало...

– Я люблю тебя, Василь, очень люблю, но что нам от этого?

Он засмеялся.

– Что нам от этого?! А что должно быть? Поженимся, ты станешь моей женой, и так нам будет хорошо, как никому на целом свете.

Она грустно покачала головой.

– Нет, Василь. Я не могу стать твоей женой: твой отец никогда с этим не согласится.

– Не согласится? Почему?... Он же сам сказал, что это мое дело. Сам он профессору так сказал. Почему же сейчас должен не согласиться?

– Потому что я бедная.

– Ну, так что? – уже менее уверенно сказал Василь. – Того, что у меня есть, нам на двоих хватит...

– Да, но твои родители захотят для тебя жену с приданым...

– А я не хочу никакой другой, – горячо заявил он. – Или ты, или никто другой. Я уже взрослый, а не недоросток какой-то и имею право сам выбрать себе жену, какую захочу. Вот и все. А если отцу не понравится, так у него ласки просить не буду. Я здоровый, сильный, на хлеб сам заработаю. Свет большой.

– Что ты говоришь, Василь, – вздохнула Донка. – Ты же сам знаешь, что против воли отца не пойдешь.

Василь засопел. Действительно, его отношение к отцу основывалось на безусловном повиновении, и, хотя в горячем порыве ему могла прийти в голову мысль о том, чтобы ослушаться отца, он знал, что не сумеет, что если бы дошло до этого, все равно подчинился бы воле отца.

– Так или иначе, – сказал Василь, – прежде всего нужно спросить отца. В голове не умещается, чтобы профессору он говорил, что это мое дело, а мне запрещал выбрать невесту по сердцу.

– Потому что ему и в голову не придет, что ты можешь выбрать себе такую бедную, как я. И лучше ты его об этом не спрашивай.

– Почему я не должен спрашивать?

– А что же мне, несчастной, тогда делать? Твой отец выгонит меня из дому, назовет неблагодарной, скажет, что я ему так отплатила за его доброту. Нет, Василь, лучше не спрашивать.

Домой они возвращались грустные. Медленно и в глубоком молчании Василь работал веслами. Ни на миг он не мог согласиться с советом Донки. Конечно, сообщение отцу о намерениях по отношению к Донке могло вызвать его гнев, и этот гнев мог обернуться как раз против Донки. На такой шаг Василь не мог пойти. Значит, нужно было найти такой способ разрешения этого вопроса, чтобы Донке ничто не угрожало. А способ был только один: выяснить мнение отца, прежде чем ему говорить что-нибудь конкретное. Здесь, разумеется, Василь не мог рассчитывать на собственные силы и решил снова обратиться за помощью к профессору.

Закрепляя на берегу лодку, он сказал Донке:

– Вот увидишь, все будет хорошо. Самое главное, что уже знаю, что я тебе нравлюсь.

– Как никто другой, – прошептала она едва слышно.

Он снова хотел обнять ее, но как раз в это время на мостике показался рыжий Виталис.

– Пойдешь, Донка, со мной после ужина в Радолишки? – спросил Василь. – Сегодня суббота, кино показывают.

– Лучше не пойдем, – ответила она после минутного колебания, но он настаивал до тех пор, пока она не согласилась.

Глава 10

Это воскресенье было не похоже на другие. Прокоп раньше обычного вернулся с богослужения. Из дома поспешно выносились все лавки, табуретки, стулья и расставлялись в тени под деревьями. Не прошло и часа, как во дворе все гудело от телег и бричек. Большинство приезжих были уже немолодые, солидные хозяева из ближайших окрестностей. Однако немало было и таких, которые приехали из деревень за двадцать и даже за тридцать километров. Сход предполагался недолгим, так как коней не выпрягали. Бабы остались на возах, а мужики отправились под деревья и там расселись. Сход открыл пан Валенты Шуба, самый старший из присутствующих и самый уважаемый хозяин из Рачковиц.

– Собрались мы все здесь для того, – сказал он, – чтобы обсудить полезное и нужное всем нам дело, по мнению Прокопа Мельника, на пользу людям и во славу Бога. Всем вам известно, о чем я говорю. И хоть мы люди не богатые и самим нам не справиться с такой стройкой, но мы верим, что как только она начнется, к нам присоединятся многие, чтобы помочь кто своей работой, кто материалом, а кто деньгами. Только глупый человек не поймет, что все это делается для нашей пользы, для нашей и всей округи. И мы должны выразить благодарность профессору. Для нас это большая честь, что он вернулся в наши края, хотя мог сидеть в далеком городе.

– Конечно, конечно! – раздались многочисленные голоса.

Шуба продолжал:

– В таком случае и ему будет приятно, и себе полезное сделаем. На что-то большое нас не хватит, а вот избу из четырех комнат, гонтом покрытую, поставим сможем. Наш хозяин Прокоп Мельник согласился отписать под дом десятину земли, громада из Рудишек обещала дерево. А сейчас мы должны решить, кто возьмется за перевозку, кто будет класть фундамент, выполнять плотницкие и другие работы. О кирпиче на печи и трубы и о стекле для окон не думайте: это мы с шурином Зубарем берем на себя.

Шуба закончил, и наступило такое долгое молчание, что могло показаться, будто предложенный проект не поддерживают. Однако это было не так. Просто местные люди не любили поспешности, не любили высказывать вперед. Здесь прежде всего ценилась выдержка.

Первым отозвался бородатый силач Иван Балабун, старообрядец из Нескупы, не только хороший земледелец, но и известный во всей округе столяр. От своего имени и от имени своих братьев он пообещал выполнить все столярные работы, а на него можно было положиться. Затем пан Юзеф Петрунис из Бервинт от имени своей громады (он был солтысом в деревне) заверил, что привезет гонт и накроет крышу. Люди из Вицкун, специалисты по плотницкому делу, заявили, что поставят сруб. Итак, одно за другим сыпались заявления, а Прокоп Мельник все подробно записывал на большом листе бумаги. Потом присутствующие один за другим поставили внизу свои подписи. Собственно, подписей было немного. Из нескольких десятков собравшихся лишь единицы были грамотными. Остальные вместо фамилий поставили по три крестика. Это, однако, никак не снижало ответственности обязательства: во-первых, оно долго обдумывалось, а во-вторых, бралось по собственному желанию и доброй воле.

Затем все вместе отправились к пристройке, а Прокоп вошел внутрь. И, хотя это было воскресенье, он застал профессора Вильчур за работой – за приготовлением каких-то трав.

– Что случилось, Прокоп? – поднял голову Вильчур. – Мне кажется, у тебя много гостей.

– Это не гости, – возразил мельник. – По делу приехали и больше к тебе, чем ко мне.

– Ко мне? – удивился Вильчур.

– Да-да. Ты интересовался, куда и зачем я езжу, вот выйди сейчас во двор, все и узнаешь.

Все уже ждут там.

Вильчур, заинтригованный, никак не мог понять, о чем идет речь.

– Что вы там замышляете? – недоверчиво спросил он.

– Ну, так пошли, тогда и узнаешь. Собравшиеся встретили Вильчура низкими поклонами. Самый разговорчивый из них, Шуба, выступил вперед и сказал:

– Пришли мы, пан профессор, сказать тебе спасибо за то, что ты вернулся к нам. Но, как известно, спасибо спасибо. Самые лучшие слова по ветру разлетятся и ничего от них не останется. Так вот мы решили, что наша благодарность должна быть не только на словах. Денег ты от нас, пан профессор, брать не хочешь, а еще и лекарства бесплатно раздаешь. Слышали мы от Прокопа, что собрался ты в наших краях больницу построить, а деньги все твои на лекарства для нас разошлись. Так вот Прокоп приехал ко мне и предложил, чтобы мы тут сами для твоего удобства и, известно, для нашей пользы общими силами построили больницу. Советовались мы тут, советовались, и вот что из этого вышло...

Тут Шуба развернул лист бумаги, надел очки и, запинаясь, начал читать, кто что обещал и что выделил. Затем он сложил бумагу и с уважением подал профессору.

– Не Бог весть что это, – сказал он, – но мы думаем, что тебе будет приятно, а для нашей околицы большая честь, потому что даже в самом городке больницы нет. Каждый поможет, чем может: богатые – деньгами или материалами, кто победнее – работой или перевозкой. Прими это от нас, пан профессор, потому что от сердца даем, кто что может. Небольшой будет этот дом, но живи в нем и лечи нас долгие годы.

Вильчур был так растроган, что не смог сдержать слез. Он давно и достаточно хорошо знал этих людей, но не предполагал, что они относятся к нему с такой теплотой и готовы на такие большие пожертвования. Он обнимал поочередно Прокопа, Шубу, Балабуна, Петрунису и всех остальных.

– Добрые люди, я никогда этого не забуду, – повторял он, не скрывая чувств.

Сразу же приступили к обсуждению планировки дома. Для лучшей ориентации все отправились на пригорок, где должна была быть построена больница. Руководить строительством поручили опытному плотнику из Вицкун, пану Курковичу, общий надзор был закреплен за Шубой и Прокопом Мельником.

Когда уже все разъехались, Вильчур сказал:

– Вот уж, действительно, Прокоп, сделал ты для меня сюрприз. Я теперь догадываюсь, что ты ездил по соседям, чтобы уговорить их строить больницу. Нелегко тебе это, верно, далось...

– Сначала, пока не объяснил им, что и как, было, конечно, нелегко. А потом, когда они узнали, что согласился и один, и другой и каждый обещал, что мог, то уже желающих нашлось больше. Когда начнем строить, то еще не один придет к нам.

– А когда вы хотите начать? – спросил Вильчур.

– Нечего откладывать. Уже завтра начнут свозить камни для фундамента, завтра же и копать начнем.

Прокоп говорил обычным тоном, стараясь не выказывать гордости, которая переполняла его от осознания того, что его замысел осуществляется. И действительно, в понедельник с раннего утра стали приезжать телеги с камнем, пришло несколько человек из Нескупы, несколько из Радолишек и трое литовцев из Бервинт с лопатами и кирками. Пан Куркович, с желтой дюймовкой, выглядывающей из-за голенища, и с клубком шпагата, вымерял, рассчитывал и обозначал площадку. С утра, правда, шел небольшой дождь, но это не мешало работающим.

Все жители мельницы были увлечены начавшимся строительством. Люди, приехавшие за медицинской помощью, если только позволяли им силы, тоже помогали на строительстве. Пригорок, на котором работали, располагался от мельницы на расстоянии нескольких сотен шагов и был виден как на ладони. Поэтому Люция, придя из города и еще ничего не зная, сразу же заинтересовалась открывшейся картиной. За день, во время приема пациентов, проведения мелких операций, выполнения перевязок, она получила от профессора кое-какую информацию. Вечером он привел ее на место строительства и объяснил все подробно.

Профессор был растроган всем случившимся, оживлен и полон энтузиазма. С юношеской энергией он строил планы на будущее.

– Это только начало, панна Люция, это только начало, вот увидите! Нашему примеру последуют другие. Сотни врачей, обреченных на бесполезное существование в городе, поймут, наконец, свое призвание и посвятят себя скромной работе в дальних провинциях,

где люди почти лишены медицинского обслуживания, где смертность среди детей по-прежнему ужасающая.

Люция восторженно соглашалась с ним, а он продолжал говорить:

– Вы только посмотрите: без чьего бы то ни было нажима эти люди доказали, что им небезразличные вопросы гигиены, что они понимают общественный долг. Видите, почти все они поставили крестики, потому что почти все они неграмотные, темные, но они стремятся к свету, к прогрессу и каждый из них по мере сил и возможностей хочет этому способствовать. Никто не принуждал их к таким пожертвованиям: ни обязанности, ни приказы властей. А еще примите к сведению, что живут здесь люди преимущественно бедные...

Он улыбнулся и добавил:

– А самый большой сюрприз преподнесли Емелу. Вот уж, действительно, потеха! Он делает вид, будто ничего не произошло, но очевидно, что эта история озадачила его. Цинизм и скептицизм этого человека мгновенно теряют почву под ногами. В это трудно поверить, но он не смог сделать до сих пор ни одного едкого замечания, только ворчит что-то себе под нос.

– Будьте уверены, – засмеялась Люция, – его красноречие скоро восстановится, как только он освоится с новой для него ситуацией. Но должна вам признаться, – добавила она уже серьезно, – что я не ожидала со стороны этих людей такой готовности к пожертвованиям, хотя знаю их, может быть, даже больше, чем вы.

Профессор воскликнул:

– Вы знаете лучше меня? Вы, наверное, шутите? За два месяца!

Люция поняла, что совершила оплошность, и сказала:

– Разумеется, шучу.

В сущности, она вовсе не шутила. Все это время после приезда, руководствуясь своими первоначальными планами, она не ограничивалась только помощью профессору, но часто выезжала в близлежащие села. Под разными предлогами заглядывала в дома, знакомилась с детьми и со стариками. При возможности раздавала лекарства, лечила некоторые заболевания, осматривала запущенные раны. Но главным образом занималась другой работой: объясняла сельским женщинам значение чистоты, убеждала чище мыть посуду, чаще менять постельное белье, купаться, открывать окна и проветривать душные избы; объясняла, что содержание домашних животных в доме оказывает вредное влияние и на самих животных, и на здоровье людей. Поскольку она обладала природной способностью убеждать, то деревни, в которые она заглядывала чаще, стали приобретать более опрятный вид. На местных жителей, несомненно, оказывал влияние и тот факт, что Люция была ассистенткой Вильчура: ее слова и поступки как бы освещались лучами его авторитета. Во всяком случае, она довольно быстро снискала уважение и доверие людей близлежащих селений. К ней частенько стали обращаться за советом по разным вопросам, даже не имеющим ничего общего с ее специальностью, и у нее, действительно, было право сказать, что она лучше профессора знает окрестных жителей.

Поэтому не без основания она заметила:

– Вы знаете, пан профессор, не следует питать большую надежду на то, что инициатива этих людей найдет широкое распространение, разве что по всей стране расселятся несколько тысяч профессоров Вильчуrows.

– Я уже говорил, что врачи наверняка поедут в деревни.

– Да, – согласилась она, – но речь здесь идет не просто о врачах, а о человеке, который будет любить народ так, как любите его вы.

– Вы ошибаетесь, панна Люция. Моя особа играет здесь весьма второстепенную роль. Это не моя инициатива, не я уговаривал их строить больницу. Они сами додумались, решили и организовали, я даже пальцем не пошевелил.

– Но они решились на это только ради вас, потому что вас они считают самым большим благодетелем, безгранично верят вам и хотят облегчить вашу работу. Вы даже не можете себе представить, каким большим авторитетом пользуетесь у них, не только авторитетом, но и уважением, любовью.

Вильчур махнул рукой.

– Вы преувеличиваете. Не надо преувеличивать, панна Люция.

– Я не преувеличиваю. Если бы было иначе, то не приходили бы они к вам, как евреи к раввину, с просьбой разобраться в их спорах, помочь, успокоить упрямых или попытаться образумить тех своих близких, которые хотят совершить что-то недоброе. И вы не должны, пан профессор, принижать свою роль и свое значение среди них, вы не должны отнимать у них веру в то, что само провидение послало им вас. Такая роль созидательна и полезна...

– Но необоснованна, – прервал ее Вильчур, – ничем не обоснована.

Люция задумалась и минуту спустя тихо сказала:

– Кто это может знать, профессор?.. Сами вы можете знать?.. Можем ли мы быть уверены в том, что не являемся только орудием сверхчеловеческих сил, которые руководят нами?

Вильчур махнул рукой.

– Этого и не нужно знать, – ответил он довольно резко.

– Однако...- начала Люция.

Он прервал ее:

– Не нужно. Не нужно углубляться в то, что выше нас. Нужно в себе искать законы, руководствоваться ими и просто выполнять свою работу. Делать то, что подсказывает нам наша совесть, быть в согласии с собой. Мне всегда так казалось...

– Да, профессор, – ответила Люция, – я знаю это. Однако необходимо такое внутреннее достоинство и душевное равновесие, каким обладаете вы, чтобы не искать извне оправданий и объяснений, а иметь чувство собственной правоты. Вы обладаете притягательной силой, которая заставляет не только уважать вас, но и боготворить.

– Не говорите таких вещей, панна Люция, – сказал он, смутившись. – Я самый обыкновенный человек под солнцем, за что благодарен Богу. Емел говорит, что нужно быть ничем, что только тогда можно быть счастливым. Я вижу в этом много преувеличений. Надо быть чем-то, но чем-то небольшим. Ну, скажем, хорошим хирургом, хорошим мельником, хорошим строителем, занимать какое-то свое скромное место во всей вселенной, ценить его, по мере возможности совершенствовать и жить просто, потом умереть просто и оставить после себя память хорошо выполненного долга. И это все. Он сидел на большом камне и в задумчивости смотрел вдаль.

Люция сказала:

– Одного не хватает в этой программе...

– Не хватает?..

– Да. Эта программа очень эгоистична. Нужно быть, по крайней мере, настолько богатым и настолько щедрым, чтобы поделиться собой с кем-то другим, чтобы кому-то другому дать хотя бы часть своих чувств, своих переживаний...

Он посмотрел на нее с улыбкой.

– Если есть что-нибудь стоящее, если это не обрывки, не клочья, не только остатки чего-то, что уже давно поблекло, истрепалось, замерло...

Он не был абсолютно искренним, выражая свои опасения, и ожидал, что Люция возразит.

Однако она долго молчала, а потом тихо сказала:

– Вы же знаете, как сильно я люблю вас. Вы же знаете.

– Я провожу вас в Радолишки. – Вильчур поднялся.

Миновав мельницу, он заговорил:

– Я знаю, что вам это только кажется. Дорогая панна Люция, я знаю, что вы верите в то, о чем говорите. Как же я, будучи на склоне жизни, могу принять от вас этот дар, дар вашей молодости, красоты, чувств?.. Я должен быть честным. Возможно, я еще не настолько стар, чтобы желание какого-то личного счастья выглядело для меня гротеском, но мне бы хотелось быть с вами искренним. Я питаю к вам столько сердечности и дружеской привязанности, что у меня бы не хватило смелости обратиться к вам за тем, что вы так легкомысленно хотите мне подарить.

– Легкомысленно?!

– Да, – повторил он. – Легкомысленно. Вы очень молоды. Я не сомневаюсь, что вы питаете ко мне много добрых чувств, но понимаю, что вы принимаете их за любовь. Вы ошибаетесь!..

Она покачала головой.

– Я не ошибаюсь...

– Дорогая панна Люция, вы думаете так сегодня, но через год или два ваше мнение изменится, и тогда вы будете несчастны, потому что вы сочтете, что отступить, расстаться, проще говоря, бросить меня было бы с вашей стороны чем-то непорядочным... Я ведь вас знаю...

Люция взяла его за руку и сказала:

– Я никогда вас не брошу и никогда с вами не расстанусь. Почему вы не верите в то, что я осознаю свои чувства и желания? Что это не какие-то мимолетные и фантастические прихоти, а цель моей жизни, цель, которую я поставила перед собой давно и которая никогда не изменится? Я взрослая женщина и зрелый человек. Я понимаю себя, но не могу понять вас, хотя знаю, что не вызываю у вас неприятных чувств и что я вам небезразлична. А с другой стороны, я не жду от вас таких чувств, каких вы дать мне не хотите или не можете. Больше всего на свете мне хочется быть с вами рядом, чтобы быть вам полезной... Возможно, я не заслужила такого счастья, чтобы стать вашей женой, возможно, стремлюсь к тем ценностям, до которых я не доросла, но, по крайней мере, хотя бы не отказывайте мне желать этого. Вильчур сжал ее ладонь.

– Панна Люция, – начал он, но она прервала его.

– Нет, прошу вас, не повторяйтесь. Я все уже знаю наизусть.

Она посмотрела на него с улыбкой.

– Профессор! Вы первый, кого я пытаюсь соблазнить. Смилуйтесь, у меня нет в этом опыта!

Он искренне рассмеялся:

– Дорогая панна Люция, меня соблазняют тоже впервые в жизни, так что опыт у меня тоже отсутствует.

– Вы забываете о Зоне.

– Ах, о Зоне! Эта простодушная женщина всегда одаривала меня избытком чувств.

– Это нетрудно заметить. Зоня косо на меня посматривает, чувствуя во мне соперницу.

Профессор возмутился:

– Что за сравнение?!

– В этих делах любые сравнения возможны. Я сама не знаю, у кого из нас больше шансов.

Она произнесла это с откровенным кокетством, и Вильчур смущенно ответил:

– Вы смеетесь.

– Я вовсе не смеюсь. Вы так защищаетесь от меня, точно я какая-то страшная мегера.

Он покачал головой.

– Я защищаю вас от себя.

– И в этом проявляете завидное упорство.

– Продиктованное убежденностью в правоте защищаемого дела, – заметил он с улыбкой.

– Скорее, необоснованное упорство.

– Вы себе не представляете, как трудно сохранять это упорство. Вы искушаете судьбу, я предостерегаю вас!

– Я не боюсь судьбы.

– Это как раз и является доказательством легкомыслия.

– Или веры в то, что это – судьба, это – неизбежность!

– Неизбежность, – задумчиво повторил Вильчур.

И он говорил правду. Действительно, чем больше он находился с Люцией, тем чаще ловил себя на том, что ищет убедительные аргументы, чтобы жениться на ней. Он все меньше находил в себе сил противиться этому желанию и все чаще старался найти разумные обоснования. Отношение Люции и ее слова давали ему право сделать вывод, что это не минутное и преходящее чувство, что она действительно его любит, что действительно хочет стать его женой. Разница в возрасте выглядела не так уж устрашающе. В конце концов, на свете есть много именно таких семейных пар. Даже природа оправдывала такой брак хотя бы тем, что, например, у зверей самки откровенно желают и ищут старых самцов. Своим браком с Люцией он не станет связывать ее жизнь, поэтому освободит ее, когда только она этого пожелает.

По правде говоря, решение созрело у него уже давно, однако он не мог себя заставить объявить об этом, как бы предвидя что-то такое, что само разрешит этот вопрос, помимо

его воли и ее стремления. Поэтому он старался избегать в разговоре с Люцией этой опасной темы. На этот раз он не смог избежать, и, как ему казалось, разговор зашел слишком далеко. Но слово

"неизбежность", сорвавшееся с ее уст, отрезвило его. Уже не раз он думал о том, что жизнь его всегда укладывается в категориях неизбежности. Брак с Беатой, научная карьера, известность, слава, состояние, бегство Беаты, потеря памяти, долгие годы скитаний, потом интриги Добранецких, разорение, Люция и возвращение в Радолишки – все это происходило помимо его воли, это было где-то записано, запрограммировано, и он никак не мог на это повлиять. Понимал он и то, что в действительности каждый его шаг, каждое движение, каждое решение были как бы продиктованы, были как бы следствием таких обстоятельств, которые не позволяли ему выбрать какой-нибудь иной путь, а всегда оставляли лишь один – предложенный, указанный.

– Неизбежность, – думал он. – Неужели я составляю исключение или это каждый человек с рождения находится уже на каком-то пути, который неизбежно должен привести его к указанным судьбой местам?.. Неизбежность... А, например, Емел... Этот человек не утруждает себя думами о завтрашнем дне. Просто доверился судьбе и позволяет бросать себя в любом направлении, как лист на ветру. С каким спокойным безразличием относится он ко всем выдвигаемым жизнью изменениям или противоречиям, он даже не задумывается над ними.

Вильчур сейчас вспомнил то, чему его научили еще в школьные годы и что он автоматически принял как догму: человек – кузнец своей судьбы... Что за абсурд! Вероятно, в каких-то незначительных делах судьба предоставляет человеку свободу для решения, но свобода эта всегда обусловлена бесчисленным количеством психологических факторов, сформированных жизнью или продиктованных чужой волей.

– Неизбежность...

Сколько же в этом слове заключено трагедий и одновременно покоя.

Дорога поворачивала влево, и за поворотом начинались первые домики городка.

– До свидания, панна Люция, – сказал Вильчур. – Не забудьте, пожалуйста, завтра, прежде чем пойти на мельницу, зайти на почту и узнать, не пришла ли посылка с висмутом.

Он поцеловал ей руку и быстро повернул к дому, точно боялся, что Люция захочет снова вернуться к разговору. Подойдя к мельнице, он встретил Василя, который, видимо, поджидал его. Парень был грустный и озабоченный.

– Что, Василь, опять какие-то проблемы? – затронул его Вильчур, обрадованный тем, что может отвлечься от собственных мыслей.

– Ну, конечно, пан профессор. Как же я могу не иметь проблем с этой девушкой, – ответил Василь.

Вильчур не сразу понял.

– С какой девушкой?

– А с Донкой.

– Что, она отказалась от тебя?

– И отказалась, и нет.

– Как это так? – заинтересовался Вильчур.

– Ну, сказала, что я ей нравлюсь, но замуж за меня она не выйдет.

– Не выйдет? А почему? Может, она кому-нибудь уже пообещала руку?

Василь отрицательно покачал головой.

– Нет, не в этом дело. Она боится, что мой отец рассердится на нее и выгонит из дому.

– А за что он должен сердиться? – удивился Вильчур.

– Я тоже не думаю, что он рассердится, это она так решила. Ей кажется, что если отец взял ее к нам, то он никогда не согласится, чтобы она стала моей женой. Она считает, что ей даже думать об этом нельзя, потому что она бедная.

– Так вот я тебе советую спросить отца. Я не думаю, чтобы Прокоп не принял ее.

Василь почесал затылок.

– Как раз это она мне запретила. Говорит, что отец рассердится на нее за то, что она меня окрутила.

– А ты что, мальчишка, который сам не знает, чего он хочет? – возмутился Вильчур.

– Конечно, нет, – ответил Василь. – Я уже взрослый и знаю то, что жить без нее мне не хочется.

Вильчур положил ему руку на плечо.

– Значит, говорю тебе, не обращай внимания на ее запреты и поговори открыто с отцом.

– Я и поговорил бы, но обещал ей, что и слова не пикну. А сейчас сам не знаю, что делать.

Единственная моя надежда – это вы, пан профессор.

– Ну, хорошо, парень, – согласился Вильчур. – Я поговорю с Прокопом и не сомневаюсь, что у тебя не будет осложнений.

– Я уже и не знаю, как мне вас благодарить.

– Меня не за что благодарить. Это естественно, когда один человек другому помогает, чем только может. Я поговорю с Прокопом, а тебя поздравляю с выбором: красивая и добрая девушка, а что она бедная, так это неважно.

Василь расстался с ним обрадованный и успокоенный.

До обещанного ходатайства Вильчура, однако, не дошло. А случилось так потому, что все пошло своим путем.

После ужина, перед тем как пойти спать, Прокоп Мельник вспомнил, что оставил свою палку возле мостика. Она не представляла никакой ценности – обычный крепкий дубок, каких в вицкунском лесу можно было вырезать сотню, но Прокоп привык к ней, пользуясь ею долгие годы, и не хотел ее потерять. К мостику он шел по прямой тропинке, и палку, конечно, нашел. Возвращался берегом пруда. Ночь была теплая, лунная, и на скамейке под кустом черемухи он увидел две фигуры, прижавшиеся друг к другу. Прокоп сразу узнал их. Это были Василь с Донкой. Прокоп задержался на минуту, но потом ускорил шаги.

– Что вы тут делаете? – грозно спросил он.

Молодые отскочили друг от друга. Они были так заняты собой, что не заметили приближавшегося Прокопа.

Старый мельник гневно и сурово с минуту присматривался к ним, сжимая в руке палку и, наконец, крикнул:

– Донка! Марш домой!

Когда девушка с опущенной головой медленно уходила, он еще бросил ей вслед:

– Вот глупая!

Василь стоял сконфуженный, пощипывая листочки черемухи.

Он знал, что с отцом шутки плохи, и был готов к самому худшему. Действительно, Прокоп тяжело дышал, а его взгляд не предвещал ничего хорошего.

– Я, в общем, ничего... – произнес, наконец, Василь.

Отец крикнул на него:

– Молчи, чертово семя! Сейчас я тебя проучу!

– Отец... – Василь снова попытался защищаться, но тут же умолк, потому что Прокоп занес палку над его головой.

– Признавайся сейчас же, ты обидел ее?

Только говори правду, не то убью!

Василь с возмущением ударил себя в грудь.

– Я бы ее обидел?... Да я бы скорее умер.

В его голосе мельник услышал нотки искренности, но палки еще не опустил.

– Поклянись! – приказал отец.

– Клянусь!

Прокоп перевел дыхание и с облегчением произнес:

– Вот, чертово семя!

Он вытер вспотевший лоб и тяжело опустился на скамейку.

– Вы на меня сразу с палкой, не даете ничего объяснить...

– Не может быть никаких объяснений! Как тебе не стыдно! Под собственной крышей такие дела! Опозорить хочешь меня, чтобы люди пальцами тыкали и открыто говорили, что я взял к себе сироту для потехи сыну... Тьфу! Чертово семя! И это в моем доме, на старости лет! Такого позора от тебя дождался! Но послушай меня: если только ты ее обидишь – убью, как собаку, убью! Ты знаешь, что я слов на ветер не бросаю.

Василь вдруг взбунтовался.

– Что вы мне угрожаете? А я вам говорю, что без нее мне не жить. Не могу и не хочу. Вот и все дела! Такие дела!

Прокоп вскочил и изо всех сил ударил палкой по скамейке.

– Так ты не знаешь, чертово семя, как по-христиански поступить? Жить без нее он не может? Так женись на ней! Женись, дурень, а не романы крути мне тут по кустам!

С минуту Василь стоял остолбеневший: не мог поверить собственным ушам. И вдруг понял, подпрыгнул, схватил отца за руку и стал ее целовать. Прокоп не сориентировался, вырвал у него руку и крикнул:

– Ну, что ты опять?..

– Спасибо, отец... Мне ничего больше не надо... Только я думал... мы думали... что вы не согласитесь...

– Что ты, дурень, говоришь? На что я не соглашусь?

– А на мою женитьбу с Донкой.

Старик посмотрел на него недоверчиво.

– Ой, что-то крутишь ты, кажется мне.

– Что я могу крутить? Что вы говорите? Давно она мне по сердцу приглялась и я ей тоже. Я даже хотел спросить, разрешите ли вы пожениться нам...

– Так почему не спросил? – прервал его Прокоп.

– Потому что Донка...

– Что Донка?

– Донка не позволяла. Она боится, что вы на нее сильно разозлитесь.

– Вот глупости какие-то. Почему я должен разозлиться?

– Ну, вы можете подумать, что она ради богатства хочет выйти за меня замуж. Она говорит, что вы из ласки ее в дом взяли, а она такой неблагодарностью ответила, что сына окрутила. Прокоп нетерпеливо махнул рукой.

– Ну, одурела совсем.

Он крикнул и поднялся со скамейки. Задумчиво огляделся вокруг и, не сказав ни слова, направился в сторону дома. Удаляясь, повернулся и приказал:

– Чтобы завтра Романюки те четыре мешка вернули: мне мешки не бесплатно достаются.

– Хорошо, – сказал Василь, – если не вернут, муки не выдам.

Когда шаги отца затихли, он опустился на скамейку и задумался. Все произошло так неожиданно и так невероятно удачно. Прошло, однако, несколько минут, прежде чем он смог осознать случившееся. И только тогда он начал смеяться и изо всей силы хлопать себя по коленям.

Когда спустя полчаса, осторожно ступая, он приближался к дому, в комнатах уже было темно. Видимо, отец сразу пошел спать и с Донкой уже не разговаривал. Бедная девушка, она, наверное, и глаз не может сомкнуть, ожидая на следующий день самое худшее для себя.

Долго соображал Василь, как вызвать Донку, однако ничего не придумал. Легче всего было постучать в окно, но тогда всех разбудишь.

И действительно, вернувшись домой, Прокоп ничего не сказал ни Донке, ни кому-нибудь другому. Зато на следующее утро, после завтрака, когда все находились в избе, он достал из кармана толстый кошелек из коричневой кожи, вытащил из него две бумажки по сто злотых и, положив их перед Донкой, сказал:

– Возьми вот двести злотых. Тебе же надо какие-то там наряды перед свадьбой купить.

Услышав эти слова, все присутствовавшие замерли. Старая Агата стояла с широко открытым ртом, Ольга смотрела на отца как на сумасшедшего, лицо Василя расплывалось в улыбке, а Донка смертельно побледнела.

– Перед свадьбой? – ойкнула Зоня. – Перед какой свадьбой?

Прокоп не считал нужным объяснять и встал с лавки.

– Перед моей свадьбой, – не без гордости ответил Василь. – Я женюсь на Донке.

Благодарная, она бросилась к рукам Прокопа. По лицу ее текли слезы.

– Вот так штука! – удивленно сказал рыжий Виталис.

Прокоп, освобождаясь от благодарностей Донки, вышел из избы. И тогда все здесь загудело. Изба наполнилась криками и шумом. Каждому хотелось как можно быстрее

узнать, как это все случилось. Василь с гордым выражением лица давал пояснения. Наталка дергала Донку за юбку, покрикивая:
– Чего плачешь, Донка? Вот глупая, чего плачешь?!
Ответ Донки утонул во всхлипываниях.

Глава 11

Строительство клиники быстро продвигалось. И неудивительно: рабочих рук хватало. Мало в округе было таких, кто не хотел бы хоть чем-нибудь помочь в строительстве. Слава об этом событии разнеслась слишком далеко. Даже газеты писали о нем, широко обсуждая объединение сельского населения.

К сбору урожая дом стоял уже под крышей, а сейчас спешили настелить полы и вставить окна, чтобы успеть до начала жатвы. Большинство занятых на строительстве были мужики, которые во время уборки урожая не могли позволить себе оторваться от своего хозяйства. Тем временем изготовили мебель для больницы, и Люция поехала в город, чтобы купить некоторые инструменты. Не все, однако, можно было там достать, поэтому она написала доктору Кольскому и попросила его остальное купить в Варшаве и выслать наложенным платежом.

Кольскому она писала довольно часто. Ей нравились его письма. В них она чувствовала искреннюю грусть и тоску по ней. Почти в каждом письме он просил, чтобы она позволила ему приехать в Радолишки хотя бы на один день. Но она всегда отказывала ему, считая, что не имеет никакого смысла пробуждать в нем какие-то надежды, снова терзать его сердце. Ведь ничего, кроме дружбы и симпатии, она дать ему не могла, а дружба и симпатия находили достаточное выражение в письмах и не требовали личных встреч.

Особенно сейчас приезд Кольского был бы не только для нее, но и для него исключительно горьким, потому что в ее отношениях с профессором многое изменилось. Произошло это после того, как Прокоп объявил помолвку своего сына с дальней родственницей Донкой. Свадьба должна была состояться только после Рождества, но молодая влюбленная пара своей любовью как бы пропитывала весь воздух на мельнице, и все ее обитатели, вдыхая его, невольно ощущали это на себе. Эта атмосфера способствовала и тому, что в разговоре с Вильчуром Люция, наконец, услышала слова, которые она могла считать согласием с его стороны на брак.

Однажды вечером, как она делала это часто, Люция по дороге в городок зашла на старое кладбище, на могилу Беаты. Еще весной она привела могилу в порядок, посадила цветы. Сейчас нужно было время от времени пропалывать. Она любила сюда приходить. В тишине под шелест листьев высоких деревьев так хорошо было подумать о трагической судьбе этой женщины, о страшном, почти смертельном ударе, который она нанесла своему мужу и себе, о могуществе, об испепеляющем могуществе любви, которая одновременно является силой созидания, о собственных чувствах и, наконец, о том, что они могут дать, что принесут они ей самой и прежде всего ему.

Сможет ли она заглушить обиду, нанесенную той женщиной?.. Сможет ли она теплом и нежностью оживить в его сердце способность любить? Услышит ли она когда-нибудь слова: "Ты принесла мне счастье. Я с тобой счастлив больше, чем был с ней".

На все это искала Люция ответы, всматриваясь в черный крест над могилой. Она почти не думала о себе, о своем счастье. Она уже давно видела это счастье в служении ему, в заботе о его делах, о его покое, настроении... Она чувствовала в себе почти призвание, она взяла на себя почти миссию вознаградить этого человека с большим сердцем хотя бы за часть тех обид, которые ему достались. И это все, чего она хотела.

Когда, погруженная в свои мысли, Люция вырывала сорняки на могиле Беаты, она услышала за спиной шаги. Она оглянулась и увидела Вильчура.

С минуту он стоял молча и, наконец, сказал:

– Я догадывался, что это вы... Что это вы заботитесь об этой могиле.

– Никто за нею не смотрел, – ответила

она, как бы оправдываясь.

Ему показалось, что в ее голосе он услышал укор. Он с грустью усмехнулся.

– Для меня эта могила стала действительно... могилой.

Она, помолчав, ответила:

– В могилах зарыты воспоминания.

Он отрицательно покачал головой.

– Не для меня. Я не говорю именно об этой могиле, а вообще. Мои воспоминания почти никогда не связаны с кладбищем. А что же такое кладбище?.. Это свалка, куда ссыпают остатки, ненужные остатки людей, которые когда-то жили. Я так понимаю это, потому что я врач. Соприкасаясь столько лет с материей, я научился смотреть на нее как на футляр, в котором закрыт человек... Тело, только тело, механизм, наделенный способностью двигаться, питаться и выделять. Но это лишь механизм.

– Я тоже врач, – заметила Люция.

– Вот именно, поэтому вы должны смотреть на эти вещи так же, как я. Ответьте мне, пожалуйста, нужно ли благоговеть, например, перед пальцем или рукой, которую вы кому-нибудь ампутировали?

– Это совсем другое.

– Как это другое?

– Это просто части тела, к тому же больные.

– Не больные, а умершие. Если вы считаете, например, что мертвая рука не заслуживает уважения, то скажите мне, какую часть тела мы должны чтить?

– Вы шутите.

– Предположим, – продолжал Вильчур, – что бомба разорвала кого-нибудь на куски.

Какому из них вы отдадите свое предпочтение?

Люция ужаснулась.

– Я не говорю о преклонении. Речь идет просто о связи воспоминаний об умершем близком человеке с определенным местом.

– Вот этим мы отличаемся, – запротестовал Вильчур. – Умерший никому не может быть близким. Умерший – это труп. Близким остается человек, но человек живой. Тогда зачем же связывать свои воспоминания, воспоминания о живом человеке с чем-то, что является антитезой жизни, с трупом?.. В моем воображении память о ком-то связана, скорее, с домом, в котором этот кто-то жил, с предметом, которым он пользовался, с фотографией, но только не с кладбищем.

– Однако... – заколебалась она, – однако вы сюда приходите.

– Прихожу, во-первых, потому, что я люблю это место, шум старых деревьев, тишину и покой, а во-вторых, потому, что оно связано с моей жизнью. Как вам известно, здесь ко мне вернулась память... Я бываю на этом кладбище довольно часто, но никогда никого не встречал. Иногда нужно уйти от людей, даже от самых близких и самых дорогих.

– Поэтому я весьма сожалею, что вы меня здесь встретили, я помешала вашему одиночеству, но я уже убегаю и оставляю вас одного.

– Ни за что на свете, – не согласился Вильчур, задерживая ее руку. – Я пойду с вами.

Сразу же за калиткой колыхались золотые нивы хлебов.

– Вы даже себе не представляете, как приятно мне ваше общество, – сказал он.

Она улыбнулась.

– Значит, вы не относите меня к самым дорогим и самым близким?

Он задумался и, глядя ей прямо в глаза, ответил:

– По правде говоря... вы единственное дорогое для меня и близкое существо на свете...

Слезы навернулись на глаза Люции, и она невольным движением обвила его шею руками. Вильчур наклонился и нежно поцеловал ее в щеку. В следующую минуту, однако, решительным движением освободился от ее объятий и сказал:

– Пойдемте... Вы слышите, как пахнут хлеба?.. Какой замечательный вечер!.. Мне кажется, это оттого, что у меня в жизни было очень мало таких прекрасных минут. Конечно, и у меня бывали, но чаще по поводу чужих радостей...

Они шли узкой полевой дорогой, извивающейся среди хлебного поля, по краям окаймленного густо растущими васильками и плевелом. Здесь и там встречались пышные кисти ромашек.

– Я не философ, – говорил Вильчур, – да и времени у меня не было, чтобы задумываться над этими вопросами. Но как раз сейчас я задал себе вопрос: что же такое счастье, что следует называть счастьем? Я установил удивительную вещь. Вы знаете, панна Люция, наверное, нельзя дать точного определения счастья, потому что в каждом возрасте человек понимает счастье по-разному. Помню, когда я был еще в гимназии, я считал, что могу быть счастливым только тогда, когда стану путешественником, мореплавателем. Позднее студентом представлял свое счастье в борьбе за славу, затем к славе добавил еще и деньги, разумеется, для того, чтобы иметь возможность положить все это к ногам любимой девушки... Сколько эволюции, а точнее, какая постоянная эволюция!

– А как сейчас вы представляете себе счастье? – спросила Люция.

Он ответил не сразу.

– Сейчас, – улыбнулся он, – вот так я и представляю счастье: теплый и приятный вечер, хлебные поля и ваше доброе, любящее сердце, а там приветливые и добрые люди, нуждающиеся в нашей помощи, и спокойная жизнь без бурь, без потрясений, без неожиданностей. Да, именно так я понимаю счастье сегодня... И это, пожалуй, для меня его последняя редакция.

Так они дошли до тракта.

– До свидания, панна Люция, я вам очень благодарен, – сказал Вильчур и поцеловал ей руку.

Ей снова хотелось прижаться к нему, но это показалось ей неловким. Направляясь в сторону Радолишек, она думала:

– Ну, наконец, наконец...

Она была такой возбужденной, что это не ускользнуло от внимания пани Шкопковой, которая, подавая Люции кислое молоко и картофель, заметила:

– Что-то у вас сегодня приятное случилось: вы такая веселая.

Люция рассмеялась.

– Вы угадали: сегодня, действительно, произошло приятное событие.

Пани Шкопкова не была бы женщиной, если бы ей не пришла в голову мысль, что тут замешан мужчина. Пользуясь дружескими отношениями со своей жилицей, она сказала:

– Я себе ломаю голову, кого могла пани доктор высмотреть здесь в нашей окрестности, здесь же нет никого подходящего.

Люция громко рассмеялась.

– Я, однако, нашла.

Задумавшись, пани Шкопкова прищурила один глаз.

– Я думаю, что это не молодой Чарковский? Он же еще ребенок.

– Нет-нет...

– И не брат ксендза? Человек он, конечно, порядочный, но он не для вас. А может, барин из Ковалева?

Люция покачала головой, не переставая смеяться.

– Ну, я уже и правда не знаю кто, – с нескрываемой озабоченностью в голосе сказала пани Шкопкова, – действительно, я не знаю кто. Никого тут такого нет. Может, это кто-то из дальних?

– Нет, это кто-то проживающий близко.

– Ну, не догадаюсь, – сдалась пани Шкопкова. – Люди здесь, когда видели вас с этим молодым Чарковским, что-то там говорили. Другие вспоминали, что барин из Вицкун хочет жениться на вас, но это закоренелый старый холостяк, поэтому я не верила. Не верила я и тогда, когда пани Янковская рассказывала, что пани доктор за профессора Вильчура собирается. Я ей сказала: "Милая моя, что это вы за глупости говорите, он же старый, в гроб ему скоро, а не жениться". То же самое и с братом ксендза. Не подходит он вам: необразованный и что это за мужчина, который сидит на чужой шее, а сам ничего не делает.

Люция ничего не ответила. Закончив ужин, она встала, тем самым давая понять пани Шкопковой, что у нее нет времени для продолжения разговора.

В сущности, упоминание этой женщины о Вильчуре причинило ей боль. Неужели люди считают его таким старым?.. Его, такого энергичного, неутомимого в работе, такого молодого душой да и крепкого телом...

Несколько дней после состоявшегося разговора она не могла прийти в себя. Избавилась от неприятного впечатления только после поездки в город. В конце концов, было бы смешно принимать во внимание чье-то мнение по этому вопросу, а тем более людей простых, мыслящих самыми примитивными категориями.

По возвращении получила письмо от Кольского, в котором он сообщал, что все, о чем просила его Люция, он уже закупил и выслал почтой. О себе писал коротко: работает очень много, зарабатывает все больше. В больнице у него сложились хорошие отношения, так как его поддерживает доктор Ранцевич, который в настоящее время является заместителем профессора Добранецкого. Добранецкий сейчас бывает в клинике реже: жалуется на недомогание, головные боли. По совету Ранцевича был даже созван консилиум, который ничего существенного не выявил и дал заключение, что причиной недомоганий может быть желудок и общее истощение. Вероятно, днями Добранецкий уедет в Мариенбад, чтобы пройти там курс лечения. На время его отсутствия руководство клиникой примет на себя Ранцевич, а место Ранцевича займет Кольский.

"Поэтому, – писал дальше Кольский, – я не прошу вас на этот раз разрешить мне приехать в Радолишки: не отпустят меня даже на один день. Мучит меня несносная тоска. В вашей прежней квартире поселилась какая-то молодая пара. Я часто прохожу мимо. В окнах всегда много цветов. Они, наверно, счастливы. Думая о вас, я прихожу к глубокому убеждению, что вы правы: счастье заключается в возможности отдать любимому человеку все, что у тебя есть. Раньше я не понимал этого; вероятно, нужно страдать, для того чтобы научиться чему-нибудь. В последнем письме вы ни словом не обмолвились о своих личных планах. Вы понимаете, о чем я говорю. Как бы мне хотелось иметь вашу фотографию, увидеть, как вы сейчас выглядите. Я надеюсь, что это выполнимая просьба, и вы не откажете мне".

В конце, как всегда, были традиционные пожелания профессору Вильчуру, пожелания, которым Люция, передавая их Вильчуру, вынуждена была придать вымышленную сердечность.

На этот раз Кольскому пришлось ждать ответа Люции дольше, чем обычно. Во-первых, фотографии у местного фотографа нужно было ждать долго; во-вторых, Люция больше, чем когда-либо, была занята оборудованием больницы. При этом обнаружилась еще необходимость соблюдения различного рода формальностей в связи с открытием учреждения. Ей даже пришлось поехать к старосте почти за сорок километров. Для сельской местности больница выглядела очень хорошо. С крыльца входили в просторные сени, которые выполняли роль приемной. Налево располагались две большие комнаты: одна была оборудована под палату с четырьмя кроватями, вторая – под амбулаторию, а за перегородкой была операционная. Направо находились три меньшие комнаты. Одна отдельная предназначалась для аптеки и склада трав. Здесь было место и для Емела. Две другие должны были занять Вильчур и Люция. Разумеется, ни профессор, ни она не говорили об этом между собой. Однако в ходе строительства, когда пан Куркович спросил профессора, соединять ли комнаты дверью, Вильчур ответил:

– Я думаю, что нужно. Если не потребуется, ее всегда можно закрыть.

На самом деле у него не было большого желания переезжать в больницу. Он охотнее остался бы в старой пристройке, к которой уже так привык. Но оставаться там он все равно уже бы не смог, так как после Рождества должна была состояться свадьба Василя, и можно было догадываться, что молодая пара обоснуется именно в пристройке, хотя никто об этом Вильчуру и словом не обмолвился.

Спустя неделю после жатвы, в воскресенье, состоялось освящение больницы и одновременно ее открытие. Собрались толпы людей из окрестных деревень, из дальних мест приехал даже районный лекарь, который хотел познакомиться с профессором Вильчуrom. Доктор Павлицкий, несмотря на полученное приглашение, демонстративно отсутствовал. Освятил больницу ксендз из Радолишек, Грабек, который произнес красивую речь. Ксендз поблагодарил Вильчура за то, что он решил поселиться в этих краях и работать для местного люда, а также подчеркнул заслуги этого люда, который, выстроив больницу, подал прекрасный пример другим. Затем Вильчур сказал несколько сердечных слов, и церемония закончилась. Люди, однако, долго не разъезжались, внимательно все осматривали, интересуясь подробностями и похваливая солидное строительство.

Собственно, новая больница очень походила на те сельские больницы, которых на Западе сотни и тысячи. Она отличалась от них лишь тем, что здесь в сенях стоял сундук, в который пациенты могли, если хотели и если у них было что, складывать привезенный гонорар в виде масла, или яиц, или куска сала, а кто и мешка зерна. Эти запасы предназначались для питания лежачих больных, оставленных в больнице, а также для содержания больницы. Рядом с сундуком стояла жестяная коробка для денежных пожертвований, хотя такие пожертвования делались очень редко.

Уже на следующий день после открытия больницы стало ясно, как в ней нуждались люди. Из Нескупы привезли девушку, которая напоролась на вилы и была при смерти. Под вечер из Вицкун был доставлен работник с раздробленной ногой: попал в молотилку. Этот пациент отличался от других тем, что хозяин имения обещал оплатить его лечение. По существу, больница должна была обслуживать исключительно людей бедных, окрестных мужиков, которые собственными руками или с помощью своих близких участвовали в ее строительстве.

Профессор и Емел переехали в больницу только в четверг, а еще через день привезли из Радолишек вещи Люции. Поскольку молва об открытии больницы широко разошлась, то наплыв пациентов тоже увеличивался, и профессор с благодарностью принял предложение Донки помогать при перевязках больных.

Работа в больнице вошла в свое русло. С раннего утра приезжали пациенты. У Вильчура и Люции почти не оставалось времени, чтобы поговорить на протяжении дня, зато вечера они всегда проводили вместе, отправляясь на длительные прогулки. Иногда их сопровождал Емел, хотя чаще он предпочитал просиживать в корчме в Радолишках. Свои функции в больнице он рассматривал со свойственной ему бесцеремонностью. Зачастую отсутствовал тогда, когда бывал нужен, или с крыльца произносил речи, обращаясь к мужикам с иноязычными фразами.

– Удивительно, – говорила Люция, – я никогда еще не видела этого человека трезвым, но в то же время я не видела его и пьяным. Создается впечатление, что он совершенно осознанно поддерживает состояние алкогольного возбуждения.

– Да, – подтвердил Вильчур. – Это своего рода попытка уйти от действительности, осознанное желание деформировать представление об окружающем мире. Несомненно, что в основе этого лежит какая-то трагедия, которую этот несчастный человек должен был пережить. Вы не припомните ничего из времени пребывания в Сандомеже, что могло бы вывести на след его переживаний?

Люция отрицательно покачала головой.

– Я была тогда маленькой девочкой, а тете было уже за тридцать. Я не помню, чтобы в ее доме когда-нибудь упоминалась фамилия Емел.

– Фамилия, конечно, нет, хотя я и не знаю ее. Я думаю, что он умышленно скрывает свою настоящую фамилию, называя первую попавшуюся. Вы помните наш разговор в вагоне?

– Да, – кивнула головой Люция.

– Вы помните, какое впечатление на него произвела ваша фамилия? Никогда ни до, ни после я не видел его таким взволнованным, даже исчезла его циничная усмешка, на какое-то время он отказался от пренебрежительно-иронической болтовни.

– Припоминаю, – сказала Люция. – Следует признаться, что я тогда сама была заинтригована. Я знаю только одно: теть перед свадьбой считалась одной из самых красивых девушек в Сандомеже и пользовалась большим успехом.

– Она была счастлива?

– О да. Мой дядя ее очень любил.

– А она? – спросил Вильчур.

– Я думаю, что она была самой хорошей женой. Она принадлежала к числу тех женщин, которые и мысли не допускают о том, чтобы изменить мужу. Если когда-то что-нибудь и было между ней и этим человеком, то я уверена, что не роман.

– В этих делах никогда нельзя быть уверенным, – заметил Вильчур.

– Разумеется, – согласилась Люция.

– Та горечь, с которой Емел вспоминал вашу тетю, свидетельствует о том, что их что-то связывало и, как я думаю, что-то исключительное. Мне кажется, что именно это что-то загадочное перевернуло всю его жизнь.

Люция задумалась и сказала:

– После тети остались бумаги, которые я еще не просматривала. Возможно, они прольют свет на те далекие события.

Вильчур заинтересовался.

– Бумаги?.. У вас они здесь?

– Нет, в Варшаве у Зажецких. Там стоит сундук с книгами, письмами и разными мелочами тети, но я еще не просматривала этого. Сейчас я напишу Мисе Зажецкой, чтобы она прислала мне этот сундук вместе с оставшимися моими вещами.

Вильчур сказал:

– Я бы хотел посоветовать вам, дорогая панна Люция, воздержаться пока и не привозить сюда своих вещей. Кто знает, не надоест ли вам тут быстрее, чем вам кажется, и не захотите ли вы вернуться в Варшаву.

Но говорил он это почти в шутку. В действительности же он был уверен, что решение Люции уже окончательное, что их брак это уже только вопрос времени, так как решение было обоюдное.

Люция даже не возмутилась.

– Ну конечно! Если вы решите вернуться, я поеду с вами.

Он засмеялся и поцеловал ей руку.

– Ну нет, лучше уж перевозите свои вещи.

Спустя неделю вещи поступили. Кроме сундука тети, пришла пачка с различными мелочами из прежней квартиры Люции. Через несколько дней комната в больнице приобрела совершенно иной вид. Голые деревянные стены украсились миниатюрами, ковриками, пол покрылся половичками, появились горшки для цветов и много подобных вещей, благодаря которым комната превратилась в милый и уютный уголок.

Прошло много времени, пока Люция собралась просмотреть документы и письма. Со свойственной пожилым людям скрупулезностью тетя оставила все в идеальном порядке. Письма были связаны в пачки, заметки точно датированы. Несколько толстых тетрадей, исписанных мелким почерком, были пронумерованы. Это были дневники тети еще со школьных лет.

Люция с большим интересом принялась за их изучение. Они были написаны с обычной для молодых девушек восторженностью и наивностью: школьные отношения, домашние дела, дружба и споры с подругами. Начиная с четвертого класса, появились новые мотивы: первое зарождающееся чувство любви.

На протяжении нескольких страниц речь идет о каком-то пане Люциане, который своей особой целиком завладел воображением девочки. И только в конце тетради оказалось, что этим необыкновенным паном Люцианом был ученик восьмого класса, которого автор дневника лично не знала. Следующим объектом воздыханий становится учитель географии, но очень скоро он уступает место учителю религии. Серьезное чувство вызывает какой-то пан Юлиуш. Это молодой учитель польского языка, который появляется в гимназии в самом начале учебного года. Большинству семиклассниц он не нравится: низкого роста, да и к тому же, по общему мнению, некрасивый. Автор дневника, однако, находит в нем такие качества, о которых не могли бы мечтать ни ксендз, ни выпускник Люциан, ни учитель географии. Пан Юлиуш – поэт. Урок – один только час, а это так мало! Как красиво он говорит! Как глубоко он чувствует мысли авторов! Сколько тепла и блеска он находит в тех, казалось бы, ненужных и холодных строфах, которые когда-то с отвращением приходилось учить наизусть!

Его не любят в школе. Коллеги относятся к нему с некоторым пренебрежением. Ученицы посмеиваются над ним за спиной, а иногда проделывают с ним ужасные фокусы. И поэтому его надо любить, отплатить ему за все обиды, которые ему наносят, искренними, глубоко затаенными чувствами. Нужно прилежно учиться, старательно выполнять все задания, чтобы ответы у доски доставляли ему удовлетворение.

В седьмом классе все остается на той же стадии, зато восьмой класс отмечен первым свиданием вне школы. После свидания записи в дневнике звучат восторженно; пламенные признания в любви и мечты о будущем пестрят прилагательными в превосходной степени. Из точно переданных здесь разговоров можно понять, что между ученицей и учителем зародилось действительно глубокое и большое чувство. Пан Юлиуш встречается с ней

ежедневно, часто приносит ей цветы, написал для нее, исключительно для нее удивительную поэму, которую не напечатает нигде, потому что она написана только для нее. Поэма называется "Анемона". Он очень умный, а так трудно признаться, что не всегда и не все понимаешь. Пан Юлиуш, несмотря на свою молодость – он старше ее всего на семь лет, – без сомнения самый умный человек, какого можно встретить на свете, но и не только самый умный. Прежде всего, он самый интеллигентный. Только с его помощью она увидела тот прекрасный мир, каким он на самом деле является, почувствовала сердцем безграничную доброту Бога. Только благодаря ему сумела понять, как много нужно иметь в душе любви к ближнему.

Люция с умилением закрыла дневник. Он заканчивался одновременно с окончанием школы. Последняя запись содержала информацию о том, что на время каникул автор дневника вместе с родителями едет в Щавницу и туда приедет он.

Большинство писем составляли письма дяди. В них не было ничего интересного. Писал он часто, но кратко и по-деловому. Даже письма того периода, когда они были женихом и невестой, сентиментально подписанные "Твой верный паж Адам", казались какими-то суховатыми.

Читая эти письма, Люция не могла скрыть улыбку. В ее воспоминаниях дядя не производил впечатления пажа. У него была изрядная лысина, большой живот и лопатообразная борода с проседью. Целыми ночами он играл в винт и пил много пива.

Дальше были письма от близких, знакомых, от друзей, сообщения о смерти, приглашения на свадьбу, красочные почтовые открытки с праздничными поздравлениями. Напрасно среди этих бумаг Люция искала имя Юлиуша. Она нашла его на самом дне шкатулки. Это был большой пакет, старательно заклеенный и перевязанный шнурком. Сверху виднелась надпись, сделанная рукой тетушки: "Собственность ЮП – пана Юлиуша Поляньского. Если не обратится с просьбой вернуть, прошу сжечь после моей смерти".

Люция долго колебалась, не зная, как ей поступить. Что-то подсказывало ей, что здесь она найдет решение многих тайн не только из жизни тетушки.

Так прошло несколько дней, а она не могла принять никакого решения. Не один раз она брала в руки ножницы и каждый раз их откладывала. Наконец она обратилась к Вильчур: – В бумагах тети я нашла пакет, предназначенный для человека, которого она любила, будучи молодой девушкой. На пакете надпись, гласящая о том, что если за ним не обратится некто пан Юлиуш Поляньский, то пакет следует сжечь не открывая. И сейчас я не знаю, как поступить, могу только предполагать, что этот Юлиуш ни кто иной, как наш приятель Емел.

– Весьма правдоподобно.

– Опасаюсь, однако, – продолжала она, – что это лишь мои домыслы, а проверить это можно только вскрыв пакет, вопреки воле покойной.

– Есть еще другой способ, – заметил Вильчур. – Можно спросить Емела, его ли это фамилия.

Люция покачала головой.

– Вы знаете, у меня на этот счет есть сомнения, нужно ли пробуждать в нем воспоминания, как говорится, беречь раны.

Вильчур задумался.

– На этот счет у меня нет мнения, и вообще не может быть объективного мнения. Во всяком случае, я считаю, что ни вы, ни я просто не имеем права распоряжаться тем, что нам не принадлежит. Если пакет предназначен ему, то, я думаю, следует ему отдать, а он поступит с ним так, как сочтет нужным. Возможно, не читая, он бросит письма в огонь, а может быть, захочет вернуться в свое прошлое, прочтя их. Вы же поняли, что он живет своими воспоминаниями.

– Я прочла дневники тети в ее школьные годы. Из них узнала, что она была влюблена в этого Юлиуша два года до окончания гимназии.

Но мне трудно поверить, что описанный ею человек может быть Емелом. Она представляет его в высшей мере человеком интеллигентным, идеалистом, с христианской моралью, натурой поэтической. Сомневаюсь, чтобы человек настолько мог измениться.

– Дорогая панна Люция, бывают такие переживания, которые из преступников делают ангелов и из ангелов – преступников.

– Вероятно, – согласилась она, – однако в данном случае, пожалуй, все это слишком разительно.

На следующий день Люция вечером застала Емела сидевшим на лавке у крыльца больницы. Она села рядом и сказала:

– Мне прислали вещи моей тети. Среди них я нашла пакет, мне кажется, с письмами. Пакет заклеен, а на нем написано, что его следует вернуть кому-то, если этот кто-то обратится за ним. В противном случае сжечь.

Черты лица Емела вытянулись. Пристальным взглядом он смотрел на Люцию и спустя минуту спросил:

– И какая же фамилия на том пакете? Вы можете мне это сказать?

– Конечно. Полянский, Юлиуш Полянский.

Воцарилось молчание. Сейчас Люция поняла, убедилась в том, что не ошибалась: Емел, услышав фамилию, сжался, сгорбился, казалось, уменьшился наполовину. Его пальцы судорожно жали лавку. Вильчур был прав, говоря, что в этом человеке продолжают жить воспоминания.

– Сама не знаю, как мне поступить. До сих пор никто не обратился за этими бумагами... Емел молчал.

– Прошло столько лет, – продолжала она, – может быть, этого человека уже нет, а может, есть, но где-нибудь за границей и никогда не обратится. Я говорю вам это потому, что вы, как мне кажется, были знакомы с моей тетей в молодые годы. Может быть, вы что-нибудь слышали о каком-то пане по фамилии Полянский?.. А может, вы его знали?

Он сразу же отрицательно покачал головой и сказал:

– Не знал. Нет... Не знал...

В его голосе послышалась какая-то нотка жестокости.

– Итак, я, видимо, сожгу эти бумаги.

– Сожгите их, и как можно быстрее. Все бумаги следует сжигать. Мерзко хранить бумаги. Правду нельзя скрыть! Вы понимаете? Правда с течением времени становится ложью, оскорбительной ложью, клеветой, насмешкой!..

Она с интересом присматривалась к нему, но он, казалось, этого не замечал.

– Только глупцы и нечестные люди сохраняют чужие мысли, чужие слова, чужие чувства, чтобы наслаждаться ими тогда, когда они уже не имеют на это никакого права, когда это уже обычное воровство, ограбление кого-то беззащитного. Вы же должны это понимать.

– Да, я понимаю, – призналась Люция. – Но эти нелестные замечания в адрес людей, хранящих чьи-то письма, не могут относиться к моей тете. Пакет был заклеен давно, и тетя определенно не заглядывала в него со времени знакомства с автором этих писем. Собственно, я не знаю, только ли письма там, ведь могут быть и памятные вещи...

– А это то же самое, – он резко прервал ее. – Какая разница? Памятные вещи тоже идут от каких-то чувств, каких-то мыслей, от минуты, момента, от настроения.

Люция, делая вид, что не заметила его слишком личного отношения к этому вопросу, спросила:

– Так, значит, вы считаете, что их следует сжечь?

– Следует, и как можно быстрее.

– Может, вы и правы, – произнесла она безразличным тоном. – Воспользуюсь вашим советом.

Спустя минуту она добавила:

– Сначала, правда, мне хотелось вскрыть конверт и посмотреть, не найду ли я каких-нибудь сведений об адресате, но подумала, что это будет бестактностью, которая может обидеть кого-нибудь. Да, лучше всего сжечь.

Емел иронически рассмеялся.

– Если бы люди были умнее, то сжигали бы такие вещи значительно раньше, еще до того, как выслать их. Потом уже письма найти трудно, а неделикатные люди с течением времени находят их и публикуют. Самые интимные, самые святыя тайны человека растаскивают по своим вонючим улицам и рынкам, как псы, которые выгребли кости покойника!.. Конечно, чтобы удостоиться этой чести, надо быть известным, надо всю жизнь тянуть из себя жилы, быть героем или знаменитым поэтом, отдавать народу свою душу, свой ум, свою кровь, и только тогда благодарные потомки почтят тебя, извлекая твои тайны, твою личную жизнь,

твои святые реликвии. Ну, а если кто-то не добился в жизни славы, он должен довольствоваться меньшим – ограничиться надеждой на то, что его письма попадут в руки лишь небольшой горстки любимых наследников.

– Иногда бывает и иначе, – заметила Люция, – как, например, в данном случае. Моя тетушка, разумеется, не хотела, чтобы письма этого человека попали в чьи-нибудь руки. Он пожал плечами.

– Тогда почему же она их не сожгла?

– Возможно, думала, что их автор попросит вернуть. Вот видите, они попали в мои руки, и я тоже не заглянула в них, а вскоре они перестанут существовать, не искушая людское любопытство.

Емел встал. Лицо его выражало прежнее циничное и безразличное отношение к окружающему его миру.

– Очень приятно разговаривать с вами, императрица, но больше я не могу уделить вам времени: меня зовет долг, я должен помочь улучшению благосостояния отчизны, вливая в свой желудок определенную дозу жидкого картофеля.

– Только чтобы эта доза не была слишком большой, – с улыбкой заметила Люция.

– Не беспокойтесь, я ограничусь точно такой, которая припадает на одну голову в соответствии с государственной статистикой потребления алкоголя. Если это будет двойная доза, прошу не судить меня строго, потому что для такой головы, как моя, полагается в два раза больше.

Она смотрела ему вслед, понимая, что все его мысли сконцентрировались сейчас вокруг минувших переживаний. Сейчас он показался ей более похожим на того Юлиуша из дневника тетушки.

В тот же вечер она сказала Вильчуру:

– Сейчас у меня нет ни малейшего сомнения в том, что Емел и есть тот человек, который был первой любовью моей тети.

Вильчур спросил:

– Он хотел, чтобы вы вернули ему пакет с письмами?

– Нет.

Вильчур усмехнулся.

– Я этого ожидал.

– Seriously? А я признаюсь, что для меня это была полная неожиданность.

– Потому что вы его мало знаете. Люди такого типа не любят копаться в прошлом, которое однажды перечеркнули сами или которым это прошлое перечеркнула судьба.

– Перечеркнуть – это еще не значит забыть, – заметила Люция.

– Да, но это значит хотеть забыть. Правда, в таких случаях хотеть никогда не означает мочь...

Придя домой, Люция сожгла все письма и бумаги тети. Емелу об этом она не сказала ни слова, ожидая, что он спросит сам. Однако спросил он лишь спустя неделю, бросив как бы между прочим:

– И что же, сеньорита, вы сделали с тем, что осталось после вашей уважаемой родственницы?

– Я сделала так, как вы посоветовали, – ответила она. – Я все сожгла, но признаюсь, что боюсь, не буду ли я сожалеть об этом. Кто знает, не обратится ли и не захочет ли забрать эти вещи человек, которому эти бумаги были дороги.

У Емела скривился рот.

– О далинг, насколько я знаю людей, наверняка не обратится.

– Если бы я была уверена в этом так, как вы, то не чувствовала бы угрызений совести, что поступила очень легкомысленно.

– Об этом никогда не следует сожалеть. всю свою жизнь я был легкомысленным, и видите, какие прекрасные результаты: утопаю в достатке, женщины меня любят, есть у меня голова и деревня, как говорит Фредро, чего еще не хватает?.. Легкомыслие – это достоинство настоящих философов. Возьмите противопоставление: тяжеломыслие. Тяжело мыслят тупые и хмурые люди.

Люция улыбнулась.

– Вы тоже иногда бываете хмурым.

Он поднял указательный палец.

– Но только в период желудочного дискомфорта.

– Или под влиянием каких-нибудь размышлений.

Он отрицательно покачал головой.

– Размышления – это как раз результат плохого пищеварения. Как врач, вы должны это знать.

Она засмеялась.

– Как врач, я возражаю.

– Вы ошибаетесь, ведь мы же ничего не знаем о нашем организме, о существовании наших органов до тех пор, пока они не начнут нам напоминать о себе посредством болей. Тогда человек, как вещает Всевышний, смотрит в себя, а взгляд в себя – это размышления. Я подозреваю, что будда, засмотревшийся в собственный пуп, испытывал несварение, на что указывает явное вздутие живота. Вообще люди обращают мало внимания на связь духовных дел с процессом пищеварения. Фрейд связывает все это с вопросами пола. Составьте ему конкуренцию и обратите внимание общества на желудок. Тогда может оказаться, что "Страдания молодого Вертера" родились под влиянием диспепсии, которой страдал в то время Гете, что "Грустно мне, Боже" родилось не под влиянием ностальгии, а в результате лишнего количества макарон в желудке Словацкого. Да, больше внимания следует уделять брюшной полости. Кто знает, как бы выглядел сейчас мир, если бы Наполеон перед битвой при Ватерлоо не съел яичницу из шести яиц; кто знает, что бы стало с могуществом Англии, если бы испанский король Филипп не страдал от повышенной кислотности.

– Кто знает, – шутливо подхватила Люция, – как бы выглядел пан Циприан Емел, если бы его желудок не поглощал такое количество алкоголя.

Он пожал плечами.

– Сейчас я вам скажу.

– Слушаю.

– Я выглядел бы, как какая-нибудь весьма твердая вещь, затянутая в одежду, туфли на картонной подошве, с послушно сложенными на собственной груди руками и головой на подушке из сена. Короче говоря, это был бы нормальный стандартный труп, зеленый и грустный, в четырех досках гроба. Вы поняли? Алкоголь оказывает большое влияние на фактор продления жизни личности под названием Циприан Емел. Это единственная жидкость, которая кристаллизуется таким образом, что через ее призму еще кое-как можно взирать на эту паршивую действительность, на лица и морды сброда, населяющего эту планету, и солнце, которое бессмысленно питает на ней столько ненужных чудовищ. Люция сказала серьезно:

– Возможно, потому действительность кажется вам паршивой, что вы рассматриваете ее через призму бутылки.

– Дорогая пани, существуют два вида бутылок: полные и пустые, а я умею сравнивать и уверяю вас, что через наполненную мир выглядит совершенно иначе, чем через пустую.

– И вам не пришло в голову, что на мир можно смотреть, не употребляя никакой "призмы"?

Он презрительно усмехнулся.

– Приходило, случались такие времена. У меня был такой период в жизни, который сейчас я назвал бы телячьим. Я был тогда настолько глупым, что сейчас мне даже трудно поверить, трудно охватить масштаб моей тогдашней глупости.

– Я опасаюсь, что глупостью вы называете идеализм.

– Ну, вот вы снова, – запротестовал Емел. – Идеализм – это не глупость, это окончательный идиотизм.

Люция недоверчиво посмотрела на него и махнула рукой.

– Не верю и скажу вам, что я не верю вашему цинизму. Это маска, с помощью которой вы прячетесь от самого себя.

– Вы угадали, мадам, – ответил он уважительно. – На самом деле я – херувим, который прячет ангельский пух своих крылышек под жилеткой. Поэтому я и не моюсь, чтобы не разоблачиться.

– Ваши шуточки меня не убедят. В таких случаях интуиция меня не подводит. В глубине души вы остались таким же, каким были тогда.

– Когда? – спросил он подозрительно.
Люция заколебалась.
– Ну, во времена своей молодости, в те времена, когда вы были, как говорите, глупым.
Емел прищурил глаза и скривился.
– Давайте оставим эту тему, – сказал он уже другим тоном. – Если бы даже так и было, то зачем вы мне напоминаете об этом?..
Он повернулся и пошел медленным, тяжелым шагом.

Глава 12

Поезд из Вены приходил в девять двадцать. В девять часов Кольский был уже на вокзале, позвонив предварительно в клинику, что задержится на час. Он купил в киоске несколько роз и сейчас стоял с ними на перроне. Он стеснялся этих роз и самому себе казался смешным мальчишкой, который на свидание с любимой идет с цветами.
В сущности, он не знал, зачем пришел сюда. Это не имело никакого смысла. Следовало просто проигнорировать депешу пани Нины. Что ей взбрело в голову прислать телеграмму с сообщением о времени своего приезда!
И, во всяком случае, он мог прийти на вокзал официально, без этих глупых цветов, просто для того, чтобы встретить жену шефа. Хорошо было бы еще захватить с собой кого-нибудь из молодых коллег.
– Что она себе позволяет, – думал он. – Она, видимо, считает, что я влюблен в нее. Я должен сказать ей откровенно, что нет.
В этот момент ему казалось, что он ненавидит пани Нину. По существу, чувства, которые он питал к ней, были для него непонятны: какое-то смешение страха, интереса и довольно значительной дозы желания. Она действовала ему на нервы, умела действовать. Иногда у него складывалось впечатление, что эта красивая женщина играет с ним, как с фокстерьером. В разговоре с ней он чувствовал себя просто узником. Своими вопросами она как бы диктовала ответы. И при этом ее глаза: холодные, зоркие, пристально наблюдающие... Он боялся их. И только, когда она прикрывала их веками (делала это удивительно: спокойно, лениво, поднимая зрачки вверх), к нему возвращалась уверенность. Целуясь, она всегда закрывала глаза. И даже тогда его мучило сомнение, что пани Нина только притворяется. Если бы она действительно желала его, то уже давно стала бы его любовницей. По правде говоря, он к этому не стремился. Он не раз ловил себя на чувстве страха перед тем, что когда-то все-таки должно было случиться, страха и отвращения. У него не было никаких доказательств, но он знал, что пани Нина – женщина злая, и чувствовал, что ее отношение к нему продиктовано только спортивным интересом. Но он не сумел найти в себе смелости сказать ей об этом открыто. Перед отъездом она встречалась с ним довольно часто: два-три раза в неделю. Вместе ходили на прогулки в Лазенки или в Ботанический сад. Если была плохая погода, то просиживали в кафе.
Однажды она сказала:
– Завтра я приду к вам: мне хочется взглянуть, как вы живете.
Он вынужден был делать вид счастливого человека, а вообще был немало озадачен. Купив какие-то фрукты и бутылку вина, он старательно навел порядок в своей квартире, убирая все предметы, которые могли ей не понравиться. Она должна была прийти в пять, но не пришла. Около шести часов она позвонила, сообщив:
– Ежи дома, и у меня нет ни малейшей возможности выйти. Нам не повезло. Вы не сердитесь на меня?
Сердился ли он?! Он так обрадовался, что чуть было не сказал ей, что благословил профессора за то, что тот сидит дома. Кольский облегченно вздохнул и написал длинное письмо Люции. Спустя несколько дней пани Нина пригласила его к себе. Поскольку он знал, что Добранецкого в это время не будет дома, его переполнял страх. К счастью, все ограничилось только поцелуями.

Он сам не понимал, почему боится этой женщины. Собственно говоря, ему следовало найти ситуацию для легкого романа, но ему казалось, что роман с пани Ниной стал бы для него постоянным заключением, он бы оказался в абсолютной зависимости от нее. И хотя она привлекала его как своей оригинальностью, так и красотой и интеллигентностью, он предпочитал демонстрировать в ее глазах мальчишескую несмелость и наивность, нежели вести себя как мужчина.

И вот сейчас эти цветы, эти нелепые цветы. За несколько минут перед приходом поезда он начал оглядываться в поисках места, куда бы их выбросить. К сожалению, везде было много народу. Нельзя было выглядеть смешным, выбрасывая свежие цветы. Возможно, кто-нибудь видел, как он покупал их, а если и не видел, все равно каждый бы догадался о мотивах такого поступка. Кольский был взбешен. В довершение всего на соседнем перроне он увидел панну Зажецкую. Он не раскланялся, делая вид, что не заметил ее, но его кольнула мысль:

– Конечно, эта гусыня сейчас же напишет Люции, что видела меня на вокзале стоящим как идиот с цветами. Этого только и не доставало.

Наконец, подошел поезд. В окне спального вагона стояла пани Нина. Она показалась ему, как и всякий раз, еще более красивой, чем тот образ, который он носил в своей памяти. Она встретила его обворожительной улыбкой и нежным, многозначительным пожатием руки. Панна Зажецкая, как назло, стояла напротив и смотрела на них с вызывающей наглостью. У вокзала их ждал большой лимузин Добранецких. Только сидя в машине, Кольский заметил, что не вручил Нине цветы и сейчас неловко мнет их в руках. Она тоже обратила на это внимание и сама протянула руку, сказав:

– Как вы добры, ведь это мой любимый цвет. Вы знаете, в моем представлении каждый цвет связан с определенным чувством. Этот цвет означает для меня тоску. Вы тосковали обо мне?..

– Разумеется, – ответил он.

– Это очень мило с вашей стороны, – она с нежностью посмотрела на него и кончиками пальцев провела по его губам.

Он перевел дыхание и спросил:

– Как чувствует себя пан профессор?

Выражение лица пани Нины сразу изменилось.

– Ой, вы знаете, я, действительно, обеспокоена: усиливаются головные боли и часто им овладевает меланхолия. Мне даже не хотелось оставлять его одного, и я бы не приехала в Варшаву, если бы не...

Она многозначительно улыбнулась и сжала его руку. Он поднес ее руку к губам.

– Я рад, что вы приехали.

Он сам не знал, говорит ли он искренне. Он не мог не согласиться с тем, что близость этой женщины возбуждала его всегда, она действовала на него, как электрический ток. В ее движениях было что-то кошачье, какая-то мягкость и коварство. Она пользовалась крепкими духами, а кожа у нее была удивительно гладкой.

Она наклонила к нему голову, как бы подставляя губы для поцелуя.

– Шофер, – буркнул он вполголоса.

– Я так неосторожна, – сказала она, будто раскаиваясь. – К счастью, вы всегда обо всем помните.

Ему это понравилось.

– По крайней мере, стараюсь.

– Вы знаете, меня иногда злит это ваше постоянное присутствие духа. Неужели вы никогда не способны забыть?..

Он сделал неуверенное движение рукой.

– Ну, почему же, думаю, что это может со мной случиться...

– Но до сих пор не случилось?

Он задумался и вспомнил ситуацию, когда в лаборатории он до боли сжал руку Люции и был тогда почти без сознания.

– Надо держать себя в руках, – проговорил он сдавленно.

– Ох, уж эти мне мужчины! Не могу понять, за что мы вас любим. Вы рассудочны, безгранично рассудочны, а ведь вся прелесть жизни основана на умении забыть о правах, обязанностях, фактах, предметах. Нужно уметь жить собой, собой и кем-то другим. Автомобиль приближался к Фраскатти.

– Вот мы и на месте, – доложил Кольский. – Вы, вероятно, приляжете, чтобы отдохнуть после дороги?

Она откровенно запротестовала.

– Вовсе нет, я не устала и прекрасно спала. Мне нигде так хорошо не спится, как в вагоне. Видимо, я создана для путешествий. Вы любите путешествовать?

– До настоящего времени я путешествовал очень мало: один раз был в Венеции и раз в Берлине, но, признаюсь, езда в вагоне для меня очень мучительна.

Она улыбнулась.

– Боже мой, у нас такие различные привычки. Единственное, что меня утешает, это что *les extremities se touchent* (противоположности притягиваются (франц.)).

Машина остановилась у дверей особняка, из которого выбежал слуга. Шофер открыл багажник и вынул чемоданы. Кольский снял шляпу.

– Позвольте с вами попрощаться...

– Но это исключено, – сказала она с притворным негодованием, – вы позавтракаете со мной.

– Но я уже позавтракал.

– Ах, эгоист! И только поэтому вы обрекаете меня на одиночество?

Она взяла его под руку и направилась к двери.

– Вам придется созерцать ужасную картину насыщения изголодавшегося существа. Людей сытых ничто так не раздражает, как наблюдать за процессом насыщения голодных.

– Если это касается вас, то об этом не может быть и речи, но...

– Какое же но вы нашли еще?

– Я уже должен быть в клинике.

– "Конь готов и оружие, девушка ты моя, обними, дай меч"... Не будьте же смешным с этим вашим благоговением перед обязанностями. Обойдутся без вас.

– К сожалению, – начал он, но она прервала.

– К сожалению, вы не хотите быть добрым по отношению ко мне. Не отказывайте же, пустой дом – это кошмар! Сразу по возвращении я буду чувствовать себя ужасно. С меня уже хватит обязательности. Это департамент моего мужа. Будьте, по крайней мере, снисходительны ко мне и милы. Пойдемте, пойдемте же!

Уже находясь в холле, он сказал:

– Я обещал быть, меня ждут.

– Значит, сообщите по телефону, что какой-то пациент или какая-то пациентка задержали вас в городе. Может ведь пациентка срочно нуждаться в вашем присутствии, не правда ли?

Она улыбнулась и добавила:

– А я как раз срочно нуждаюсь в вашем присутствии, пан доктор.

Он также не мог не улыбнуться.

– Я не заметил этого. Вы выглядите превосходно.

– Ах, однако вы заметили это?... За это вам полагается награда.

Она оглянулась: никого из слуг не было. Поднявшись на цыпочки, она поцеловала его в губы.

– Это ваш гонорар, оплаченный авансом. Сейчас медицинская этика не позволит вам оставить пациентку без опеки.

Ему действительно нужно было быть в больнице, но он не мог убедить ее в этом. Она была настроена весело и фривольно. В конце концов в клинику можно было в самом деле позвонить.

– Оставьте свою шляпу, – настаивала она, – и пойдемте.

В столовой слуга уже успел поставить второй прибор.

– Сейчас вы должны меня смиренно подождать, – говорила она, пощипывая полу его пиджака. – В вагоне было все-таки много пыли. Я приму ванну, но это займет у меня не более десяти минут, а вы можете за это время позвонить в клинику и придумать какую-нибудь католическую выдумку, чтобы оправдаться.

Телефон был перенесен в спальню. Нина умышленно не закрыла дверь ванны. Все уже, видимо, было готово, так как через минуту Кольский услышал плеск воды. Он поговорил со старшей сестрой, пани Зачиньской, выдал распоряжения по всем своим больным и сказал, что важные дела задерживают его в городе. Когда спустя пять минут он положил трубку, то услышал голос пани Нины:

– Вы уже закончили?

– Да.

– Ну, вот видите, что значит ваша мания величия. Вам казалось, что клиника развалится на куски, если вы не придете, а оказалось, что без вас там прекрасно обойдутся.

– Прекрасно не прекрасно, но я должен там быть. Если позволите, я подожду вас в холле.

– Хорошо, но прежде подайте мне, пожалуйста, банный халат, только прошу вас на меня не смотреть.

Кольский оглянулся вокруг.

– Но здесь нет никакого халата.

– Разумеется, халат здесь, но он далеко от меня висит, и я не могу его достать.

– Как же я его вам подам? – спросил он озабоченным голосом.

Она громко рассмеялась.

– Ох, пан Янек, пан Янек! Вы просто войдете в ванную, снимете халат с вешалки и подадите его мне. Разве для вас как для врача вид женщины... недетой является чем-то чрезвычайным?

– Вовсе нет, – ответил он, подумав. – Но я здесь не в роли врача.

– А в иной роли вы никогда не видели голой женщины?

Он был крайне сконфужен и только спустя какое-то время ответил:

– Во всяком случае, я не могу сказать этого о таких женщинах, которых... уважаю, которые требуют уважения.

Видимо, это развеселило ее еще больше, так как она продолжала смеяться.

– Уверю вас, ни одна женщина, которая может показаться мужчине без одежды, не требует от него уважения. Ну, так дайте же мне этот халат!

Иного выхода не оставалось, нужно было выполнить ее желание. Он закусил губу и вошел в ванную. Это была довольно большая комната, выложенная розовым кафелем. К счастью, ванна находилась в противоположном углу, а халат здесь, у дверей. Он старался не смотреть на нее, хотя не мог скрыть своей растерянности. Она сидела в ванне со сложенными на груди руками. Нельзя было не заметить покатошь ее плеч и нежный бронзовый загар. Пытаясь справиться с ненужной поспешностью, он снял халат и приблизился к ванне.

– Прошу вас, – сказал он охрипшим голосом.

– Осторожно, не окуните его в воду! Ах, какой же вы негодный, зачем смотрите на меня? Я же просила вас...

Она говорила с притворным негодованием.

– Я вовсе не смотрю на вас. – Он нахмурил брови.

– Так закройте глаза и подайте мне халат.

Он подчинился ее приказу и тотчас же услышал всплеск воды, а затем почувствовал, как удерживаемый им банный халат наполняется ее горячим телом.

– Спасибо, – непринужденно сказала она.

Завернувшись в халат и в одно мгновение обвила его шею руками.

– Ты очарователен с этой своей стыдливостью, – прошептала она и поцеловала его в ухо. – С этого момента будешь считать меня распушенной?

– Ну, что опять? – запротестовал он.

Он увидел совсем близко ее зеленые, искрящиеся, любопытные и изучающие глаза. Она коснулась губами его подбородка.

– Ты всегда тщательно выбрит. Ну, хорошо, подождите меня в холле.

Когда он поспешно вышел из ванной комнаты, она крикнула ему вслед:

– Вы не обидитесь на меня, если к завтраку я приду в халате? Так не хочется одеваться.

– Пожалуйста, прошу вас.

– Вы действительно просите? – спросила она наступательно. – Мне всегда казалось, что я вам безразлична...

– Неверно казалось, – ответил он неуверенно.

– Через пять минут я буду готова.

И действительно, ее не пришлось ждать дольше. Она появилась в светло-зеленом халатике. Он заметил, что в поспешности она оставила на одной щеке больше румян, чем на другой. Несмотря на это, она выглядела обворожительно. Завтракала с аппетитом, не прекращая разговаривать. В какой-то момент неожиданно бросила вопрос:

– Ну, и что там происходит с вашей докторшей?

Она произнесла это как-то легковесно, и Кольский сразу ошетинился.

– Не знаю. Ее нет в Варшаве.

– И вы не переписываетесь?

– Нет, – соврал он.

Она нежно положила свою ладонь на его руку. Много бы отдал он за то, если бы смог резко сбросить ее.

– Вот видите, я говорила вам, что это пройдет. Время делает свое.

– Вероятно, – проворчал он неохотно.

Он был глубоко уязвлен ее словами и лихорадочно искал способ отмщения. Непонятно почему ему пришла в голову мысль, что ей будет неприятно, если он уличит ее в каких-то близких отношениях с ротмистром Корсаком, – он видел его в доме Добранецких довольно часто. По правде говоря, ротмистр вел себя весьма благопристойно, однако нельзя было не заметить, что его красота, безусловно, редкая, и темперамент нравились женщинам.

– Вы с такой же легкостью забудете ротмистра Корсака? – произнес он после паузы.

Она пристально посмотрела на него.

– Что вы имеете в виду? Он пожал плечами.

– Ничего.

Она непринужденно рассмеялась.

– Вы знаете, я была бы оскорблена вашим упреком, если бы не его абсолютная беспредметность и если бы я не была уверена в том, что вы об этом осведомлены.

Кольский опустил глаза. Естественно, уличить пани Нину в том, что у нее роман с ротмистром, было равносильно тому, что у нее роман с первым встречным. Он понимал, что его злая шутка не удалась, и проворчал:

– Это вовсе не был упрек.

Улыбка не сходила с ее лица.

– Конечно, был и с определенной точки зрения произвел на меня приятное впечатление.

– Приятное впечатление? – удивился он.

– Представьте себе. Это послужило доказательством того, что вы ревнуете меня.

Он оцепенел, но справился с собой и сказал:

– О ревности здесь не может быть и речи.

– Вам так тяжело признаться в этом?.. Неужели это так стыдно ревновать меня?..

Он молча стоял, опустив голову. Пани Нина встала, приблизилась к нему, деликатно двумя руками подняла его голову и, наклонившись к нему так близко, что он слышал ее дыхание, спросила:

– Неужто я так непривлекательна и настолько некрасива?..

Он покраснел. И снова его поразила ее красота и какое-то неодолимое очарование, исходящее из контраста чувственности губ и ноздрей и холода больших зеленых глаз.

– Вы прекрасны, – произнес он тихо.

Кончиками пальцев она нежно коснулась его волос и лица и прошептала:

– Я так тосковала без вас...

Из соседней комнаты послышались шаги слуги. Она отпрянула и сменила тон:

– Жарко здесь. Пойдемте в библиотеку, там прохладнее всего.

Окна в библиотеке были наполовину завешены тяжелыми шторами из дамаста. Здесь царили приятная прохлада и полумрак. Она указала ему место на удобной широкой софе. Кольский сделал вид, что не заметил ее жеста, и выбрал мягкое кожаное кресло. Но пани Нина была очень опытной женщиной, чтобы обратить на это внимание. Она закурила и, прохаживаясь по комнате, начала рассказывать ему о своем пребывании за границей, о людях, с которыми она там познакомилась, о развлечениях и о сделанных ею наблюдениях.

Самым удивительным из них было то, что она впервые тосковала, действительно тосковала по родным местам. Она умела рассказывать интересно. Светло-зеленый халатик изысканно подчеркивал прекрасные формы ее тела, и глаза Кольского, как и все его внимание, невольно были прикованы к ней. В какой-то момент она отложила папиросу и села на широкий подлокотник кресла. Опираясь на плечо Кольского, она продолжала говорить с таким выражением лица, точно это положение для нее было чем-то наиболее естественным: – Это самое удивительное чувство из всех, какие я знаю, – тоска. Человеку кажется, что он полностью поглощен новыми делами. И вдруг ослепительный блеск: чье-то лицо, чьи-то глаза, чьи-то губы и руки. Ощуcaешь их на себе с мучительной реальностью, и приходит сознание, что все, что нас окружает, не имеет никакого значения, безразлично, даже неприятно, а неприятно потому, что отдаляет нас от этих рук, от этих губ. Знаком ли ты с этой болью в сердце, почти физической болью, которая проходит через сердце мгновенной короткой волной?..

Кольский поддался убедительности ее слов и тона. В мгновение ока он не только вспомнил бесконечные минуты тоски по Люции, но и почувствовал эту тоску сейчас... Ее сердце... ее ясный, теплый взгляд... Ее губы... Когда она говорила, казалось, что в них складывались слова, точно осязаемые формы из какого-то невидимого пластилина... Губы, которых он никогда не целовал и которых уже никогда не коснется...

Боль, пронизывающая физическая боль в сердце... Как хорошо она это сказала!.. Откуда она все это знает? Как верно она умеет все выразить!..

Она действительно показалась ему сейчас единственным существом на свете, которое способно понять его трагедию. Ведь в начале сближения она с такой убежденностью ему говорила о том, что душевные страдания можно преодолеть во сто крат легче, если мы встретим чью-то сердечную помощь, чей-то мудрый взгляд, чье-то глубокое чувство, если этот человек примет на себя часть наших огорчений. Как же он мог сомневаться в искренности ее слов, сказанных тогда ночью на балконе, в чувствах, о которых она говорила сейчас, в мудрости и знании человеческой души, которые открывал в ней с каждым разом? Не было ли безумием то, что он защищался от всего этого, вместо того чтобы принять этот дар со всей благодарностью и преданностью?..

Он молча протянул руку и нежно обнял ее. Она, точно ожидая этого, мягко и доверчиво передвинулась к нему на колени.

– Я столько пережила там вдали от тебя, столько передумала, – тихо говорила она, едва касаясь щекой его виска. Бывали такие тяжелые дни ожиданий, дни бессмысленных надежд. Представь себе, мной овладевало тогда какое-то непонятное чувство, – я называла его предчувствием. Я ждала и надеялась, что ты сделаешь мне сюрприз и приедешь. Я знала, что это абсурд, смеялась сама над собой, но справиться с этим предчувствием не могла. Тогда у меня спрашивали, что со мной...

Она замолчала и потом добавила:

– А разве я знаю, что это такое? Сумею ли назвать? Как много существует значений, как много определений! Можно заблудиться в этом лесу, и не суметь выбрать, и не найти соответствующего слова. Говорить о чувствах – это все равно, что словами передавать музыкальное произведение. Немыслимо! Ты согласен?

– Да-да, – подтвердил он и прижал ее крепче к себе.

В висках стучало. Всем своим телом он ощущал только одно – близость ее тела.

Она прильнула к его губам в долгом, упоительном и мучительном поцелуе...

Она не оторвала губ и тогда, когда он встал и, неся ее на руках, положил на софу...

С того дня, с тех часов, проведенных с Ниной в библиотеке, отношение Кольского к ней радикально изменилось. Он поверил ей, поверил, что она любит его, и, хотя в себе он не находил ответного чувства, ему хотелось выравнять их отношения подобием любви.

Учитывая окружение, они не могли позволить себе встречаться слишком часто. Она приходила к нему два-три раза в неделю и оставалась довольно долго, не позволяя ему в эти дни исполнять свои обязанности по отношению к пациентам ни в клинике, ни вне ее. Да он и не сказал ей ни разу об этих обязанностях, даже малейшее упоминание о них было невозможно. С течением времени у него даже пропало желание как-нибудь урегулировать этот вопрос. Он все больше привыкал к Нине. Отношения с ней казались ему эффективным лекарством, а если не лекарством, то во всяком случае наркотиком, который заглушал в нем

тоску по Люции. Ей он писал так же часто, как и прежде. И, возможно, когда писал эти письма, он чувствовал какую-то свою вину, а может быть, даже предательство, совершенное им. Это не имело никакого обоснования, однако словами полными нежности он хотел как бы искупить эту вину.

Это были бесценные минуты, когда чувство любви к Люции овладевало им, как прежде. Это были такие моменты, когда он убеждался в ненужности своего романа с Ниной. Но роман этот уже вошел в его жизнь как естественная и неизбежная часть недельной программы. Если случалось иногда, что Нине что-нибудь мешало появиться в условленное время, он злился и не находил себе места. Более того, он стал замечать в себе признаки ревности.

Случилось это во вторник. Она должна была прийти в шесть. Вообще она была пунктуальной и, если что-нибудь ей мешало, она всегда предупреждала письмом или по телефону. Было уже около семи, когда он решил позвонить ей сам. Трубку подняла служанка. Он представился и спросил, можно ли пригласить пани Нину. В ответ он услышал:

– Сейчас доложу, пан доктор.

Служанка знала его, а может быть, даже догадывалась, что их соединяют какие-то более близкие отношения. Видимо, она не предполагала, что пани хотела бы скрыть свое присутствие дома. Спустя несколько минут она вернулась и сообщила:

– Извините, пан доктор, но пани нет дома. Она уехала в Константин. Я передам пани, что вы звонили.

Он положил трубку совершенно уверенный в том, что его обманули. Он хорошо знал расположение комнат в особняке Добранецких и место, где находился телефонный аппарат, поэтому понимал, что служанка не могла не знать, что ее пани нет дома. Более того, она была уверена, что пани дома, потому что сказала, что доложит ей. По всей вероятности, она доложила и услышала от Нины распоряжение сообщить об отъезде в Константин.

Его охватила злорада. Разумеется, вранье, но с какой целью?.. Цель могла быть только одна: другой мужчина. Странно было лишь то, почему Нина не позвонила сама, сообщая о своем отъезде, ведь таким образом она бы застраховала себя от возможного разоблачения. А он знал, что она была достаточно ловкой, чтобы организовать все как можно правдоподобнее. Ответ на его сомнения появился раньше, чем он ожидал. Появился он в образе посланца с письмом. На листке бумаги было написано лишь несколько слов: " Должна обязательно навестить Стефу в Константине. У нее опять сердечный приступ. Я в отчаянии, что не увижу тебя сегодня. Н."

Доставая из кармана чаевые, он спросил гонца:

– В котором часу вы получили это письмо?

– В пять, но это не я получил, а мой коллега. Он не мог доставить и попросил меня, а я не подумал, что здесь что-нибудь важное.

После ухода посланца Кольский еще раз прочитал письмо и презрительно отбросил его, но листок затрепетал в воздухе и, как бумеранг, упал ему под ноги. Он поднял его и разорвал на мелкие кусочки.

– Значит, так!.. Так, дорогая пани! Ну, посмотрим.

Он схватил шляпу и быстро спустился по ступенкам лестницы. Такси поблизости не было, и когда он, наконец, нашел его, то остыл уже настолько, что вместо Фраскатти сказал ехать в клинику. Его здесь не ждали, и, поскольку никого из старшего персонала не было, он застал в своем кабинете двух медсестер, попивавших кофе с пирожными в обществе какого-то незнакомого парня. Он был настолько переполнен злобой и желанием отомстить, что заорал на них:

– По какому праву вы здесь?! Кто вы?! И что за попойки в моем кабинете?!

Оторопевший юноша вскочил и с ужасом глядел на своих приятельниц, как бы ожидая от них спасения. Однако те молчали как заколдованные.

– Разве вы не знаете, – все более резким тоном говорил Кольский, – что это недопустимо?!

Что я не допущу чего-то подобного в клинике?! Это нарушение дисциплины, которое не пройдет вам даром! Клиника – это не место для оргий! Это не пивная! Сколько живу, не видел еще ничего подобного.

– Извините нас, пожалуйста, пан доктор, – отозвалась одна из сестер, с трудом справляясь с дрожью в голосе.

– Здесь не может быть никаких извинений. Прошу вас оставить мой кабинет, и немедленно! Они выбегали с такой поспешностью, что даже застряли в дверях. Кольский сел за стол и нажал кнопку звонка. В дверях появился санитар.

– Что это, черт возьми, за порядки?! – крикнул Кольский. – Кто сегодня дежурит?

– Доктор Пшемяновский.

– Пригласите ко мне доктора.

Спустя минуту перепуганный Пшемяновский появился в кабинете Кольского. Весть о том, что доктор Кольский застал в своем кабинете панну Будзыньскую и панну Колпевную вместе с их гостем, разошлась уже всюду, так что Пшемяновский сразу начал объясняться:

– Я действительно ничего не знал, пан директор...

Кольского с того момента, когда он стал выполнять функции доцента Ранцевича, называли директором. Обычно ему это нравилось, хотя официально он не имел этого титула. Сейчас, однако, он строго сказал:

– Я никакой не директор, и вы, коллега, должны об этом знать. Но, к сожалению, вы очень мало интересуетесь тем, что происходит в клинике. Поэтому во время ваших дежурств возможен такой скандал, что в моем кабинете медсестры устраивают попойки с какими-то юнцами, приведенными из города. Я предупреждаю вас, что буду вынужден доложить об этом профессору Добранецкому после его возвращения в Варшаву.

– Я был как раз на втором этаже при кровотечении...

Кольский прервал его движением руки.

– Я не прошу объяснений. Завтра будьте любезны вписать этот случай в персональную карточку обеих медсестер, отметив, что случилось это во время вашего дежурства...

После ухода Пшемяновского Кольский стал нервно ходить взад-вперед по кабинету.

Каждый раз, проходя мимо стола, он машинально тянулся к кусочку пирожного и не успел заметить, как съел все. Такое состояние собственной растерянности почти развеселило его и смягчило.

Встретив во время вечернего обхода панну Будзыньскую, он сказал ей:

– Вы посоветуйте своей подруге, чтобы она впредь так не поступала. На сей раз я не сделаю никаких выводов.

Пшемяновскому он также дал понять, что инцидент исчерпан.

И все же он вышел из клиники подавленный и съедаемый ревностью. По дороге домой промелькнула мысль, что у Нины, когда он ей звонил, был как раз этот ротмистр Корсак.

Он просто готов был поклясться, хотя хорошо знал, что ротмистр в настоящее время находится на маневрах где-то в Малой Польше, в ее восточной части. Придя домой, он решил проверить и позвонил ротмистру. Раздались успокаивающие длинные гудки. Никто не поднимал трубку. Был уже первый час ночи. Квартира ротмистра была пуста. Он уже хотел положить трубку, как услышал заспанный и гневный голос:

– Алло!

– Могу ли я поговорить с ротмистром? – спросил Кольский, изменив голос.

– Я слушаю, черт возьми, но вы не могли бы подобрать более подходящее время?!

Кольский положил трубку и стал лихорадочно думать. Как поступить? Как отреагировать на несомненное предательство Нины?.. Правда, у него не было неопровержимых доказательств, но ему достаточно было своей уверенности. В первые минуты он хотел написать Нине письмо, длинное письмо, злое, оскорбительное и унижающее. В голову приходили ядовитые эпитеты, едкие сравнения, иронические упреки. Такое письмо было достойной мстью.

Однако заслуживает ли какой-то мести женщина типа Нины, трусливая, коварно изменяющая любовница? Ведь она могла с ним просто расстаться! Что касается ее моральных качеств, на этот счет у него уже не было никаких сомнений. Все казалось ясным: Нина отвела ему роль лишь заместителя на время отсутствия ротмистра Корсака. Да, достаточно короткого, холодного письма, без каких бы то ни было объяснений и оскорблений, письма, выдержанного в жестком безразличном тоне и перечеркивающего все окончательно.

Он сел и написал: "Уважаемая пани! Ввиду случившегося считаю своим долгом сообщить Вам, что между нами все бесповоротно закончено. Я.К."

Он прочел и пришел к выводу, что это не годится, порвал письмо на мелкие кусочки и написал второе: "Пани! Я всегда понимал, что то, что нас связывало, Вы считали случайным развлечением. Вчера Вы сочли удобным это развлечение закончить. Спешу сообщить Вам, что решение Ваше полностью одобряю. Прощайте. Я.К."

Так было лучше. Здесь и определенный порыв, и непринужденность, и в то же время он давал ей возможность понять, что она его совсем не интересуется.

По правде говоря, не интересовала, однако мучился он всю ночь. Он поймал себя на мысли, что вот уже второй раз его отвергли. Отказалась от него Люция, на которой он мечтал жениться, которая была его первой и, как верил, последней любовью. Сейчас Нина бросила его ради другого мужчины. После этих двух поражений нетрудно было потерять веру в себя, нетрудно было прийти к убеждению, что как мужчина он может исполнять роль лишь случайного любовника.

– Любовник, – думал он, – исполняющий обязанности любовника, и.о. любовника на период отпуска...

Его самолюбие было болезненно уязвлено.

– Но почему? – думал он, стоя перед зеркалом. – Я ведь молод, силен, вполне пристоеен. Конечно, я не отличаюсь особой красотой, но меня всегда считали привлекательным. Я не отношусь к числу хлыщей, занимаю серьезную должность, хорошо зарабатываю и у меня определенное будущее. Никто не может мне отказать в образованности и интеллигентности. Так почему?..

Потеря Нины ударила не только по амбиции Кольского. Он все же привык к ней и хорошо знал, что какое-то время ему будет ее не хватать. Не так, разумеется, как не хватает Люции, но все же...

На следующее утро он отправил письмо с сыном сторожа и пошел в клинику. День был исключительно тяжелый. Привезли несколько новых пациентов, которых нужно было сразу оперировать. Обе операционные были заняты с восьми утра до двух часов дня без перерыва. Мелкие операции Кольский провел сам, при четырех более сложных ассистировал Ранцевичу. Когда, наконец, он спустился в свой кабинет, нашел там записку с сообщением о том, что трижды звонила пани Добранецкая. Он смял этот листок и выбросил в корзину. Ему принесли обед. С аппетитом пообедав, он прилег на софу. Часы пробили три. У него было еще полчаса, чтобы отдохнуть.

Кто-то постучал в дверь.

– Войдите, – неохотно бросил Кольский.

В кабинет вошла Нина.

Он вскочил и потянулся к пиджаку, висевшему на спинке стула. Нина была неотразимой. Она смело смотрела ему в глаза. Лицо ее было величественно спокойным. Она медленно открыла сумочку, вынула из нее письмо Кольского и спросила почти надменно:

– Что это значит?

Он взглянул на письмо, точно увидел его впервые в жизни. Она держала его так, будто это было что-то омерзительное, ужасное, грязное, что берут в руки лишь для того, чтобы тотчас же выбросить. Он нахмурился и отвернулся.

– Я спрашиваю: что означает это непонятное для меня письмо?

Кольский посмотрел на нее с ненавистью: он понял, что эта женщина хочет воспользоваться тем, что у него нет никаких доказательств ее измены. Он тихо сказал:

– Я думаю, что у нас нет поводов для дискуссии.

Она пожала плечами.

– Я не собираюсь дискутировать и не для этого пришла. Я бы хотела получить объяснения. Кольский молчал.

– Я полагаю, что у меня есть на это право. Чтобы послать мне такое письмо, у тебя должны были быть какие-то доказательства.

– Разумеется, были.

– Можно ли мне узнать их?

Он закусил губу.

– Ты знаешь их гораздо лучше меня. Никакая комедия здесь уже не поможет, потому что мое решение окончательное.

Она смерила его холодным взглядом и не без иронии спросила:

– А откуда тебе известно, что я хочу повлиять на твое решение? Почему ты в этом так уверен?

Кольский растерялся.

– Тем лучше, лучше для нас обоих, – буркнул он.

– Возможно, мой дорогой. Однако же ты понимаешь, что твое письмо меня оскорбило, и что я просто желаю удовлетворения в форме твоего объяснения, в котором ты не можешь мне отказать.

– Я к твоим услугам, – ответил Кольский, не глядя на нее.

– Если позволишь, я присяду?

Он подвинул ей стул и сказал:

– Ты изменяешь мне. Со вчерашнего дня у меня на этот счет нет никаких сомнений.

– Никаких сомнений? – повторила она удивленно. – Ну-ну, слушаю тебя!..

– Да, – взорвался он, изменяешь. Когда я позвонил, чтобы узнать, почему ты опаздываешь, служанка ответила, что ты дома.

– Так и сказала?

– Сказала что-то равносильное этому. Она сказала, что сейчас пригласит тебя к телефону, а вернулась с сообщением, что ты уехала. Если бы ты действительно уехала, она не могла бы об этом не знать. Ты была дома и не одна.

– Разумеется, – спокойно призналась Нина, – а в довершение всего была настолько наивна, что не предупредила службу об этом в случае твоего звонка.

Он иронично рассмеялся.

– О нет, ты не была наивной. Только ты не ожидала, что я позвоню, потому что была уверена в том, что я вовремя получил твое письмо. К сожалению, наиболее продуманные махинации иногда проваливаются: какая-то незначительная помеха – и все выходит наружу.

Лицо ее не отражало даже следа обеспокоенности.

Она спросила ровным тоном:

– И что же вышло наружу?

С выражением безразличия он сказал:

– Зачем нам затрагивать эти неприятные дела? Я не хочу вмешиваться в твою личную жизнь. Сегодня я уже не вправе делать это, так зачем?

– Так что же вышло наружу? – чеканя каждое свое слово, повторила она.

Он поднял голову и, не глядя на нее, сказал совершенно безразличным тоном:

– Если только непременно хочешь... Выяснилось то, что ты любовница ротмистра Корсака. Это он был у тебя вчера.

Кольский говорил это не только с убежденностью, но и с какой-то ожесточенностью.

Самым неожиданным на свете было для него в этот момент то, что Нина взорвалась долгим раскатистым смехом.

– Ах, Янек, Янек! Мне должна льстить твоя ревность. К сожалению, в данном случае она совершенно беспредметна. Я думаю, что Корсак без большого сопротивления согласился бы на роль, которую ты ему приписываешь и, по крайней мере, на то, чтобы вообще быть в Варшаве, вместо того, чтобы мучиться на маневрах под Станиславом.

Кольский покачал головой.

– К сожалению, твой смех меня не убедил по той простой причине, что пан Корсак вообще не мучится на маневрах, а самым спокойным образом пребывает в Варшаве. Во второй половине дня вчера он был у тебя, а вечером – в собственной квартире, что я и проверил по телефону.

На лице Нины отразилось искреннее удивление.

– Но это же невозможно! Только позавчера я получила от него сообщение, где он пишет, что вернется не ранее чем через месяц. Это какое-то недоразумение.

– Здесь нет никакого недоразумения, – возмутился Кольский. – Я не собираюсь скрывать это от тебя. После двенадцати я позвонил ему на квартиру и спросил, могу ли я поговорить

с паном ротмистром. Я услышал ответ, что он у аппарата и возмущен, что ему ночью не дают спать.

Нина усмехнулась.

– Ты просил ротмистра? И назвал фамилию ротмистра?

– Зачем же мне ее называть? Я не думаю, чтобы в одной квартире разместился целый эскадрон ротмистров.

Какое-то время она снисходительно смотрела на него и, наконец, сказала, цедя слова сквозь зубы:

– Эскадрон, разумеется, нет, а вот еще один мог быть, например ротмистр Супинский, который на время отсутствия коллеги поселился в его квартире.

Кольский несколько растерялся, хотя тотчас же заметил:

– Это очень легко проверить.

– Разумеется, – согласилась Нина. – Перед тобой телефон, а рядом лежит абонентная книга, позвони и спроси.

Кольский подумал и ответил:

– Если ты думаешь, что я этого не сделаю, то ты ошибаешься.

В телефонной книге он нашел номер Корсака и позвонил. Он услышал какой-то незнакомый и грубый мужской голос, наверно ординарца.

– Я бы хотел попросить ротмистра Корсака.

– Пан ротмистр на маневрах, – ответил ординарец.

– А ротмистра Супинского?

– Пан ротмистр будет только в четыре, – прозвучал ответ.

Он пробормотал "спасибо" и положил трубку.

Нина курила. Он действительно оказался в глупой ситуации. Для доказательства своих подозрений у него были два аргумента, и вот один из них рассыпался у него в руках.

Оставался второй. Собственно говоря, и этого достаточно, чтобы убедиться в неверности Нины. Если у нее действительно не было близких отношений с ротмистром Корсаком, должен быть кто-то другой и он был наверняка – Кольский мог бы дать голову на отсечение.

– Вы не могли бы нажать кнопку звонка? – обратилась к нему Нина.

Он молча выполнил ее просьбу. В дверях появился санитар.

– Пригласите, пожалуйста, моего шофера, – распорядилась она.

Когда шофер вошел в кабинет, она спросила его:

– Павловский, ты не помнишь, где я могла вчера оставить свою лису?

– В машине пани не оставила, это точно. По приезде в гараж я убирал в машине и нашел бы. А вчера вы были только у парикмахера и в Константине...

– Действительно, – прервала она его. – Мне кажется, что я оставила ее в Константине, поезжай и забери. Я вернусь домой пешком.

– Слушаюсь, пани, – с усердием ответил шофер и вышел.

В кабинете воцарилось молчание. Нина неторопливо докуривала папиросу. Тщательно загасив ее в пепельнице, она встала, с полуулыбкой на лице кивнула Кольскому головой и, не сказав ни слова, направилась к двери.

Там она задержалась и холодно взглянула на него.

– Нина! – позвал Кольский.

– Чем могу служить?

Он чувствовал себя виноватым, пристыженным, скомпрометированным, осмеянным. Он был уверен, что она изменила ему. Но подобная уверенность с точки зрения рассудка являлась ничем иным, как истерикой. Тени фальшивых улик, потому что это были лишь тени, принял за достаточные доказательства ее вины. В своем воображении он создал теорию, не имеющую никаких реальных оснований, попросту высосал все из пальца. Унизил эту женщину, которая – он должен был себе признаться – сама снизошла до того, чтобы отдаться ему. Снизошла, хотя ее общественное положение, красота и культура предоставляли ей неограниченные возможности в выборе любовника. Ей следовало вlepить ему пощечину за его подозрения, проигнорировать молчанием. Она проявила к нему снисхождение уже тем, что захотела объясниться, и сделала это так по-джентльменски, так

изысканно и так болезненно, что это подействовало сильнее пощечины. Он вел себя как грубиян, как ревнивый сопляк.

– Нина! – начал он. – Я должен извиниться перед тобой. Я действительно поступил весьма опрометчиво и незаслуженно тебя оскорбил. Ты можешь меня простить?

Она иронически усмехнулась.

– О, не проси прощения преждевременно, потом можешь пожалеть. Проверь, не обманула ли я тебя. Проведи следствие, расспроси слуг, а может быть, я подкупила шофера и того ординарца. Найми детектива.

– Не издевайся надо мной, – сказал он покорно.

У Нины загорелись глаза.

– А действительно, найми детектива! С таким жалким ничтожеством, как я, следует поступать полицейскими методами. Я же твоя любовница не потому, что люблю тебя, а лишь потому, что для меня это одолжение и почет. Могла ли я мечтать о таком счастье? Я должна на коленях каждый день благодарить судьбу, иначе кому бы я была нужна?!

Он взял ее за руку и сказал умоляюще:

– Не насмехайся надо мной, Нина.

– Я не насмехаюсь над тобой, скорее над собой. Ну, разве это не смешно, что я пекусь о твоих чувствах в то время, как ты не щадишь мои? Знаешь, Янек, больше всего мне стало оттого, что ты обвиняешь меня в трусости и малодушии. Подумай, что могло бы мне помешать прийти к тебе и открыто сказать: "С меня хватит, я люблю другого!.."

– Да, да, да, Нина, – согласился он, покрывая поцелуями ее руку. – Извини, извини меня. Я был глуп. Сможешь ли ты меня простить?

В ее глазах появилась грусть.

– Не смогу не простить, – сказала она едва слышно. – Только я не знаю, когда я смогу с тобой встретиться. Сам понимаешь.

– Понимаю, – согласился он.

– Я должна разобраться в себе. Не звони мне и не пиши до тех пор, пока я сама не отзовусь...

Она едва коснулась губами его щеки и вышла.

В первый день Кольский никак не мог освободиться от мысли о том, что он натворил из-за своей глупой ревности и большого воображения. На следующий день его настроение улучшилось. Он был счастлив, что все хорошо закончилось. На третий день утром, пересекая площадь Наполеона, у самой почты он встретил ротмистра Корсака.

Кольский остановился как вкопанный, точно кто-то внезапно ударил его по темени.

Остановился и ротмистр. Одет он был в штатское. На нем был серый спортивный костюм и спортивная шапочка, через руку переброшен плащ, а в руке он держал небольшой несесер. Корсак радушно протянул Кольскому руку.

– Приветствую, доктор. Что слышно в Варшаве? Ну и жара!

– А вы, пан ротмистр, не на маневрах? – выдавил из себя Кольский.

Корсак предостерегающе поднес палец к губам.

– Тсс! Это большая тайна! Я вырвался на короткое время в Варшаву.

Кольский уже овладел собой и почти непринужденно рассмеялся.

– Вот уж действительно шерше ля фам? – вопросительно бросил он.

– Вы весьма догадливы, доктор, – ротмистр прищурил глаз. – Ну, я вынужден попрощаться.

В вагоне была такая пыль, что я чувствую себя как дворняжка, вывалявшаяся в песке. Я должен помыться...

– Так вы прямо с вокзала? – поинтересовался с недоверием Кольский.

– Да, – подтвердил Корсак. – Привет!

Он небрежно приложил руку к козырьку спортивной шапочки и исчез в толпе. После минутных раздумий Кольский сел в такси и поехал на вокзал, где просмотрел расписание поездов. Действительно, ротмистр мог говорить правду. Пятнадцать минут назад пришел поезд из Львова. Сейчас он уже ничего не понимал.

Вечером ему очень хотелось позвонить Нине. Однако вместо этого позвонил на квартиру Корсака, чтобы проверить, дома ли он. Разумеется, если его нет дома, значит, он у Нины.

Каково же было удивление Кольского, когда он услышал от ординарца:

– Пана ротмистра Корсака нет в Варшаве. Он на маневрах. Вернется через месяц.

Одно из двух: или ротмистр остановился в гостинице, или, скрывая свое пребывание в Варшаве, приказал ординарцу отвечать, что его нет. Так или иначе это следовало выяснить: Кольский не мог больше оставаться в неведении. Он быстро оделся и вышел из дому. Спустя пять минут был уже на Фраскатти и позвонил в дверь.

– Дома ли пани? – спросил он.

Дверь открыл слуга.

– Нет, пан доктор, но она должна скоро приехать; может быть, вы подождете? Здесь уже ждет пан Хове.

– Кто это? – удивился Кольский, не слышавший ранее такой фамилии.

– Мистер Хове, тот англичанин.

Действительно, в холле сидел весьма интересный, очень бледный молодой человек со скучающим выражением лица, с моноклем в левом глазу. Увидев Кольского, он встал, медленно поправил монокль, еще медленнее протянул руку и назвал свою фамилию.

– Что это за обезьяна? – подумал Кольский и отметил, что молодой человек был в смокинге.

– Сегодня страшная жара, – обратился к нему вежливо Кольский.

Мистер Хове ответил, скривив один угол рта, что могло даже напомнить улыбку:

– I dont understand. I am sorry... (Не понимаю. Извините... (англ.)).

Оказалось, что он ни слова не понимает ни по-польски, ни по-французски. Поскольку немецкий язык они оба знали плохо, разговор, который они вели почти полчаса, никто не смог бы назвать ни оживленным, ни интересным, тем более что им абсолютно нечего было сказать друг другу. Однако Кольский узнал, что англичанин развлекается в Варшаве уже месяц и что его возвращение зависит от определенных дел, по которым он сюда прибыл.

Узнал Кольский и то, что в Варшаве мистер Хове не знает никого, кроме пани Добранецкой, с которой имел честь познакомиться во Французской Ривьере. Настоящим облегчением для обоих был звонок, возвещающий о возвращении хозяйки дома.

Присутствие Кольского, видимо, не было неожиданностью для Нины. Во всяком случае она не выразила ни малейшего удивления. Она была в таком прекрасном настроении, в каком ее Кольский не видел уже давно, при этом выглядела, по крайней мере, лет на пять моложе.

После короткого приветствия и обмена несколькими английскими фразами со скучающим молодым человеком она мимоходом обратилась к Кольскому:

– Я надеюсь, вы здесь не скучали?

– Я не знаю английского, – проворчал Кольский.

– Ах, как жаль. Извините меня, я должна переодеться.

Еще одна фраза по-английски, обращенная вместе с милой улыбкой к мистеру Джимми, и она исчезла в глубине дома, а мужчины проводили ее восхищенными взглядами.

Минут через пятнадцать Нина появилась в великолепном вечернем туалете, и одновременно открылись двери в столовую. На столе стояло четыре прибора. Когда они сели, пани Нина вроде бы нехотя сказала по-польски:

– Твои подозрения, о чуде, реализуются. Возможно, ты провидец. Как раз сегодня приехал ротмистр Корсак. Он звонил, и я пригласила его на ужин. Я звонила и тебе, хотя и не предполагала, что ты захочешь составить нам компанию. Поскольку тебя не застала, обратилась за помощью к мистеру Хове.

Сказав это, Нина подвинула англичанину салатник и стала говорить по-английски.

Кольский не мог отказаться от мысли, что она слово в слово повторяет то же самое этому бледнолицему олуху, бессовестно пользуясь тем, что они не могут объясниться.

Но, если даже так и было, пани Нина недолго могла тешиться своей игрой, так как появился Корсак, который прекрасно владел как английским, так и польским языком. Корсак пришел в той же спортивной одежде, в какой был утром на площади Наполеона. Он извинился за свой вид и, обмениваясь с Ниной остротами, ел с волчьим аппетитом. Он, казалось, был в прекрасном настроении, но очень скоро Кольский заметил, что ротмистр с откровенной неприязнью посматривает на англичанина. Он обращался к нему очень редко, на вопросы отвечал кратко и неохотно, с выражением безразличия на лице. В какой-то момент, когда мистер Хове был занят разговором с Ниной, ротмистр проворчал, обращаясь к сидящему рядом Кольскому:

– Откуда здесь взялся этот английский дохляк?

Кольский незаметно пожал плечами.

– Понятия не имею. Впервые его вижу.

Всегда бдительная, пани Нина услышала и объяснила:

– Мистер Хове знакомится с Польшей. Он очень милый, хотя несколько манерный, молодой человек.

Корсак слегка нахмурил брови.

– Конечно, чувствуются манеры в той бесцеремонности, с какой он ластится к вам.

– Ах, что за выражение, ротмистр! – И добавила по-английски:

– Ротмистр находит, что в вашем кокетстве много бесцеремонности.

– Это правда, – признался англичанин. – Бесцеремонность – это моя маска. Если бы я хотел довести свое кокетство до уровня обожания, которое я питаю к пани, то стал бы смешным для окружения в результате чрезмерного усердия и раболепия.

Кольский ничего не понял. Хотя он не думал, чтобы в словах англичанина было какое-нибудь сенсационное сообщение, но то, как этот младенец посматривал на Нину, могло возбуждать серьезные опасения. Так смотреть на женщину имеет право только человек, которого с ней связывают самые близкие узы и который с ней запанибрата.

Кофе подали в холл. Здесь уже ротмистр вовсе не скрывал своей антипатии к англичанину и даже по отношению к Нине продемонстрировал откровенный холод и дерзость. Он разговаривал только с Кольским и весьма сердечно, как бы этой сердечностью хотел подчеркнуть разницу в отношениях к нему и к остальным гостям. Кольский был этим приятно удивлен, и сам все чаще посматривал на мистера Хове.

Около одиннадцати часов Корсак встал с явным намерением попрощаться с хозяйкой дома. В его гордо поднятой голове и во всей фигуре было такое выражение, как будто его оскорбили.

– Оставайтесь, – необычно теплым и мягким тоном сказала Нина. – Ведь ваш поезд уходит только в половине первого ночи.

– Весьма признателен, но я хотел бы еще кое с кем встретиться. У меня еще есть несколько вопросов, которые мне необходимо решить.

– Я прошу вас, оставайтесь, – повторила она таким просительным тоном и так взглянула на него, что Кольскому кровь ударила в виски, а молодой англичанин демонстративно потянулся за каким-то журналом, лежавшим рядом на столике, и начал его просматривать.

После долгого молчания ротмистр сказал:

– Если вам так будет угодно...

Он сел и, восполняя резкость юмором, добавил:

– Но за это я требую плату в форме чашки кофе.

– Вы получите ее сейчас же, – сказала Нина и встала, чтобы налить кофе.

У Кольского все кипело внутри. И если он не вскочил сразу, то лишь потому, что не хотел выглядеть смешным. Однако сейчас он уже сумел справиться с собой и составил полный сценарий своего ухода. Он посмотрит на часы, скажет: "Я завидую вам, что обязанности не заставляют вас покинуть столь милое общество, но я, к сожалению, должен быть в клинике. Такова участь врача", потом встанет и попрощается.

Он успел выполнить только первый пункт своей программы: достал часы. Как раз в этот момент пани Нина с обворожительной улыбкой обратилась к нему:

– Ах, дорогой доктор, совершенно забыла: мой муж прислал сегодня какие-то бумаги, касающиеся клиники, и просил, чтобы я передала их вам. Мне кажется, они лежат в кабинете на столе, в голубом конверте, найдете?

Вынужденный нарушить свою программу, Кольский кашлянул и встал.

– Надеюсь, что найду.

Когда он исчез в дверях гостиной, за которой располагался кабинет, пани Нина извинилась по-английски:

– Я не уверена, что он найдет. Мне кажется, я спрятала эти бумаги в стол. Извините меня, одну минуту.

Она быстро пересекла гостиную. В кабинете она застала Кольского, напрасно отыскивающего на столе голубой конверт.

Жестом смертельной усталости и просьбы сжалиться над ней она протянула к нему руки:

– Не уходи, не оставляй меня с ними! Они оба влюблены в меня, может дойти до скандала.

Он холодно посмотрел на нее:

– Они в тебя, а ты в них, хотя, правда, мне уже трудно понять, кого ты любишь.

– Не знаешь кого? – спросила она, прищуривая глаза.

Она обвила его шею руками и осыпала поцелуями.

– Вот кого... вот кого... вот кого... – повторяла она страстно. – Я хотела наказать тебя за твое гадкое подозрение и не разговаривать с тобой неделю, но я лишь слабая женщина и уже сегодня звонила тебе. А завтра... завтра я приду к тебе в обычное время... Но сейчас, прошу тебя, иди к ним и займи их как-нибудь. Не могу же я допустить, чтобы мой дом, дом моего мужа стал ареной скандала: это скомпрометировало бы меня. Ты ведь сам понимаешь. У меня есть право обратиться к тебе за помощью, и помни, что ты единственный человек, которого я могу попросить о помощи. Ты не откажешь мне, правда? Иди, иди к ним...

Когда он заколебался, она добавила:

– Я должна привести в порядок губы и волосы после наших поцелуев, ну и немного охладиться; наверное, у меня пятна на лице.

Проходя через неосвещенную гостиную, Кольский думал:

– Или она дьявол хитрости и порока, или чрезвычайное стечение обстоятельств постоянно складывается против нее.

Вопреки ожиданиям, в холле он застал мужчин, занятых спокойной беседой. Видимо, внешне приятельские отношения взяли все-таки верх над взаимной антипатией.

– Если бы они только знали, – думал Кольский, – что то, за что они борются друг с другом, принадлежит мне...

Он не закончил мысль, так как пришла Нина. Завязалась довольно оживленная беседа по-английски, в которой Кольский, конечно, не принимал участия.

В какой-то момент Нина взглянула на часы и сказала:

– Ну, я больше вас не задерживаю. Мистер Хове на машине и будет так любезен, что подвезет вас.

– Мне жаль, что не могу воспользоваться этой любезностью, – с усмешкой ответил ротмистр. – Предпочитаю пройти. У меня еще полчаса времени, а ночь такая прекрасная. Корсак и Кольский попрощались с Ниной и одновременно вышли. У дома, действительно, стояла машина англичанина, который с ними поспешно попрощался. Они вышли на Вейскую и через площадь Тшех Кшижи направились в сторону Брацкой. Шли молча. Вдруг ротмистр остановился и, схватив Кольского за плечо, сказал сквозь сжатые зубы:

– Если бы я не должен был находиться завтра в полку, – дал командиру слово, – поверь мне, я бы избил этого альфонса, этого извращенного хлыста шпицрутеном, дал бы ему по морде!..

Он отпустил плечо Кольского, и снова несколько шагов они прошли в молчании.

– Вы... вы считаете, пан ротмистр, что... мистер Хове... любовник пани Добранецкой?

Ротмистр прыснул со смеху.

– Вы забавный парень! Считаю ли я! Да это же очевидно! Она его любовница и в довершение всего боится!

– С чего вы взяли, что она боится? – надломленным голосом спросил Кольский.

– Как это с чего? Но это же не вызывает никаких сомнений. Я собирался с ней поужинать, а в это время приполз этот хлипкий оболтус, и она не решилась его выставить. Почему? Потому что боится его или боится его потерять. Такие иностранные пресыщенные типчики на все способны, дорогой доктор.

И добавил после паузы:

– Свины!

Улицы были почти пустынные, часть фонарей погашена. После знойного дня прохладное дуновение ветра приносило облегчение, но Кольский этого почти не замечал.

– Естественно, – начал ротмистр снова, – она вынуждена была в последнюю минуту пригласить вас, чтобы спасти ситуацию по отношению ко мне.

– По отношению к вам? – удивился Кольский. – Но из этого следует, что она и ваша любовница.

Ротмистр посмотрел на него как на сумасшедшего.

– Ну что там опять с вами? По крайней мере, – сказал он неохотно, – я влюблен в нее, но без взаимности.

В конце концов ротмистр как-то странно хмыкнул и замолчал.

Они подходили уже к Маршалковской, когда ротмистр остановился и, вонзив указательный палец в плечо Кольского, сказал:

– Задумывались ли вы когда-нибудь над странной психологической загадкой?

Предположим, что у вас роман с замужней женщиной, роман и все тут, обычная вещь.

Досконально знаешь, что она должна одаривать и мужа своими ласками. Этого мужа ты встречаешь, черт возьми, ежедневно и, в сущности, даже любишь его. Но насколько иначе выглядит ситуация, если та самая женщина связана не только с мужем, но еще с каким-нибудь мужиком! Вот тогда уже все нутро переворачивается! Разорвал бы соперника в клочья! Как это понять? Откуда такая разница отношений?..

Кольский покачал головой.

– Не знаю. Я не разбираюсь в этом.

– Вот именно. Философы там о разных вещах пишут, о какой-то критике чистого разума и других пустяках, которые никогда и никому не пригодятся, вместо того чтобы заняться жизненно важными вопросами. Ну, ничего, не беспокойтесь. Через месяц заканчиваются маневры, и я не желаю этой вонючке оставаться в Варшаве. А ты парень что надо, честное слово! Когда вернусь в Варшаву, мы должны чаще встречаться. Ты играешь в бридж?

– Очень плохо.

– Подучисься. Ну, а сейчас до свидания, а то мой поезд убежит. Привет!

Кольский повернул в сторону дома. У него было такое чувство, точно его окунули в болото.

Но, чудо, основная тяжесть его осуждения была направлена не против Нины. Нина показалась ему таким ничтожным и таким мелким существом, что ее просто нельзя было обременять нормальной человеческой ответственностью за совершенные поступки, ни обременять, ни наказывать. Наказывать ее было так же бессмысленно, как, например, мучить собаку или кошку за то, что она съела кусок мяса, оставленный без присмотра.

– Звереныш, быстрый, ловкий звереныш с примитивными инстинктами.

Им овладела усталость, та самая тяжелая из всех моральная усталость, которая граничит с апатией, а еще презрение к себе. Как он мог оказаться в такой ситуации! Он верил этой женщине, и это – его вина, потому что хотел верить, это только его вина. Он совсем не обижался на нее, он чувствовал неприязнь лишь к себе. В этом заключался болезненный урок на будущее: никогда не приближаться к тем женщинам, в этических нормах которых можно сомневаться!

В ту ночь он писал Люции:

"Мне кажется, что можно пройти через болото, а выйти из него более чистым, лучшим, чем был до того. Разделяете ли вы мое мнение? Только сейчас я понимаю притчу о блудном сыне и то, почему во мне всегда святость Марии Магдалены подсознательно откликнулась глубже, чем святость Тересы.

Мне очень нужен отдых, как физический, так и духовный. Как мне не хватает общения с вами, разговоров! Заменяю их следующим образом: когда я пишу вам или читаю ваши письма, ваши дорогие, милые письма, ставлю перед собой вашу фотографию, с которой смотрят на меня такие знакомые и самые прекрасные глаза на свете..."

Составление этого письма, естественно, оказало благотворное влияние на его нервы, и когда он засыпал, то был уже совершенно спокоен. Все, что он пережил вчера и на протяжении прошедших месяцев, казалось ему чем-то неизмеримо далеким, какой-то неинтересной историей, рассказанной кем-то и очень давно. Ему казалось, что его отделяют от этого сотни миль.

Он настолько вычеркнул из своего сознания Нину и все связанное с ней, что ему даже не пришлось в голову сообщить ей об этом. Поэтому, когда около пяти часов в прихожей раздался звонок, в первую минуту он не сообразил, что это могла быть Нина. Когда он увидел ее, то не мог скрыть удивления, которое она приняла за что-то иное, но сделала вид, что ничего не заметила.

Усталым движением она протянула ему руку.

– Ах, я тебе так благодарна за вчерашний вечер. Ты не можешь себе представить, как это было для меня мучительно. Еще до сих пор не могу отойти от этих ужасных впечатлений.

Она вошла в комнату и бессильно опустилась на диван. В белом шелковом платье без рукавов с маленьким декольте, она была похожа на девочку – наивную, капризную и свежую. Она была почти без грима или делала это так искусно, что ее загар, голубые тени под глазами, брови, ресницы и губы, казалось, имели натуральный цвет.

Кольский с недоверием присматривался к ее внешности. Она просто не ассоциировалась с теми сведениями, которые он получил о ней вчера.

– Милый, ты можешь дать мне закурить? – обратилась она, замечая в его поведении что-то необычное. Она хотела выиграть время, чтобы сориентироваться в его настроении и выбрать соответствующую тактику. Но он молча подал пачку папирос, спичку и сел напротив.

– Расскажи мне, Янек, как там вчера закончилось. Я надеюсь, не дошло до скандала между этими сумасшедшими?

– Нет, не дошло.

– Но это только благодаря тебе. Ты не можешь себе представить, как я тебе благодарна. Всегда можно положиться на твое чувство меры и такт. Ты настоящий мужчина.

Снова наступила тишина, и Кольский спокойно сказал:

– Послушай, Нина, я хочу поговорить с тобой серьезно и откровенно.

– Что-нибудь случилось? – удивленно спросила она.

Он отрицательно покачал головой.

– Не сейчас. Случалось постоянно, только я этого не видел, а разглядел внезапно.

На ее лице отразилось страдание.

– Ах, Янек, я чувствую, что ты хочешь сделать мне что-то неприятное, – произнесла она умоляюще.

– Разглядел внезапно, – продолжал Кольский. – Я узнал тебя и не стану утомлять разными нравоучениями или проповедями. Во-первых, потому, что не гожусь для этого, а во-вторых, по той простой причине, что они все равно были бы бесполезны. Ты зрелый человек, понимаешь жизнь, точно знаешь, чего хочешь, и поступаешь так, как подсказывает тебе твой вкус. У тебя своя жизненная программа.

Она встала и приблизилась к нему так, будто собиралась сесть ему на колени, но Кольский сказал почти категорически:

– Прошу тебя, выслушай меня до конца.

– А... а нельзя ли это отложить на ... потом? Он усмехнулся.

Нет, Нина. Я тоже зрелый человек, и у меня тоже есть свои правила и намеченный путь, собственные взгляды и собственный смысл жизни, словом, индивидуальность. Признаться, я не могу понять, что заставило тебя заняться моей особой. Возможно, мной не заинтересуется ни одна женщина. Я не обладаю теми качествами, которые ты ищешь в мужчине.

– Хочешь порвать со мной? – спросила она.

– Не порвать, зачем ты употребляешь такие слова? Просто расстанемся. На короткое время нас связал непонятный для меня каприз судьбы или, скорее, твой, но эта связь с самого начала была абсурдной. Я не упрекаю тебя в том, что, кроме меня, у тебя были другие любовники. Это – вопрос твоей совести. Я не стану тебя осуждать, потому что сам виноват. Было бы смешно, если бы я, обкрадывая твоего мужа за его спиной, отнимая чувства и ласки, которыми ты должна была одаривать его, громил бы тебя с амвона только потому, что хотел бы иметь монополию в этом обкрадывании. Я предлагаю спокойно и разумно расстаться. Расстанемся не как пара добрых приятелей, а как люди, которые совершили ошибку и, не обижаясь друг на друга, расходятся в разные стороны.

– Я не собираюсь защищаться, – сказала Нина, – или оправдываться. Я только хочу обратить твое внимание на то, чего ты сам не замечаешь. Тебе кажется, что ты поступаешь благородно, но ты не принимаешь во внимание, что чувствую я, что переживаю.

Предлагаешь расстаться, потому что тебе это ничего не стоит. А тебе не пришло в голову, что для меня это может стать драмой?

Его брови поползли вверх.

– Драмой? Возможно, фарсом? Одним из многих.

Она сделала вид, что не слышит, и продолжала:

– Тебе кажется, что, избегая нравоучений и осуждений, ты поступаешь по отношению ко мне лояльно, но ты не видишь того, что причиняешь мне мучительную боль. Если бы у тебя была хотя бы капелька чувства ко мне, то ты не предлагал бы расстаться из-за того, что я другая, чем тебе этого хотелось бы. Ты бы сказал: изменись, стань другой, я хочу тебя видеть такой, какую люблю, я думаю, что ты поступаешь плохо, я помогу тебе, ты найдешь у меня моральную поддержку, дружескую руку.

Он покачал головой.

– Нет, Нина, это пустые слова. Я не потому хочу расстаться с тобой, что узнал о твоих любовниках, а потому, что... понял, насколько ужасна роль любовника чужой жены, насколько невозможно установить границу между тем, что ты называешь любовью, и тем, что твой муж назвал бы распутством.

Нина иронически рассмеялась.

– Дорогой мой, ты слишком легко хочешь подняться надо мной в своей морали.

До сих пор он старался не затрагивать того, что могло ее оскорбить. Однако сейчас сказал:

– Потому что это не так трудно.

– Ты весьма любезен.

Они замолчали. Нина курила, Кольский играл ключами, которые держал в руках.

– Ты поступаешь не как мужчина, – отозвалась она наконец.

Он пожал плечами.

– А как бы поступил мужчина?

– Пожелал бы, чтобы я порвала с другими. Он сделал отрицательное движение головой.

– Ты совершенно меня не понимаешь.

– Но я хочу тебя понять.

– Прежде всего, я не верю, что ты смогла бы изменить свой прежний образ жизни. Образ жизни – это не дело случая, а просто следствие природы данного человека. Но не об этом речь. Если бы я был даже уверен в том, что ты бросишь Корсака, этого англичанина и всех других, которых я не знаю, я все равно бы расстался с тобой. Я ни на йоту не хочу обидеть тебя, и более того, я вижу в тебе много достоинств: ты интеллигентна, изысканна, красива. Я уверен, что, расставаясь с тобой, не причиняю тебе никакой обиды, потому что я тебе безразличен.

Она прервала его:

– Судить об этом предоставь мне.

– Здесь играет роль исключительно твое задетое самолюбие, задетое тем, что расстаемся мы по моей инициативе. Так я хочу тебя успокоить: я не пытаюсь себя оправдывать и не вижу никакого своего преимущества, скорее наоборот. Я считаю, что эту игру я проиграл: ты останешься такой, какой была, какая есть, зато я должен пересмотреть свои позиции. Ты ни в чем не можешь себя упрекнуть, а я... Но давай не будем говорить об этом.

Нина подняла голову и спросила:

– Меня интересует еще только одно: ты встретил другую женщину?

В первую минуту он не понял, о чем она говорит:

– О нет, Нина! О Боже, как мы далеки друг от друга!

Она встала и начала медленно натягивать перчатки.

– Ну что ж, – сказала она с улыбкой. – Мне не остается ничего другого, как попрощаться с паном.

Она протянула руку, которую Кольский молча поцеловал, и медленно пошла к дверям. Там она повернулась:

– В сущности, ты хороший парень.

Пока он собрался что-нибудь ответить, она вышла.

С того дня он ее не видел. Прошли три недели. Он делал вечерний обход пациентов на втором этаже, когда прибежал санитар.

– Пан доктор, внизу пани Добранецкая, она спрашивает вас.

Он сразу догадался, что случилось что-то чрезвычайное. Когда он вошел в кабинет директора и увидел Нину, то ужаснулся. Она была бледная, глаза впали, руки дрожали.

– Что с вами? – спросил он, искренне обеспокоенный.

Она сказала с дрожью в голосе:

– Мой муж... С моим мужем очень плохо.

– Пан профессор вернулся?

– Нет. Я получила письмо из Мариенбада. Доктор Хартман пишет, что у мужа подтвердилось внутричерепное новообразование... Это, вероятно, уже вопрос лишь месяцев или даже недель... Страшно... Мне страшно...

Наверняка она не притворялась, ее отчаяние было искренним. Это явилось для Кольского неожиданностью. Она, должно быть, была привязана к мужу, а может быть, даже по-своему любила его. В глазах ее стояли слезы.

Он наклонился к ней.

– Не теряйте надежды, – сказал он своим профессиональным успокаивающим тоном доктора. – Подобные диагнозы бывают ошибочны. А вообще такие новообразования поддаются оперативному лечению, но я сомневаюсь, чтобы в Мариенбаде были серьезные специалисты в этой области.

Она вытерла слезы.

– Дай Бог... Ежи хочет вернуться в Варшаву, но не может быть и речи о том, чтобы он возвращался один. Он нуждается в соответствующем сопровождении. Вы... вы поехали бы со мной?

– Да, разумеется.

– Доктор Хартман советует забрать Ежи как можно быстрее. Боже, Боже! Именно эта спешка ужасает меня.

– У вас с собой письмо Хартмана? Она отрицательно покачала головой.

– Мне бы хотелось его прочитать.

– В письме нет никаких более конкретных данных, но я могу его вам прислать.

Он задумался и сказал:

– Я не вижу причины, чтобы откладывать поездку. Мне только нужно поговорить с Ранцевичем. Когда вы можете быть готовы?

– В любую минуту.

На следующий день Кольский с Ниной выехали скорым поездом в Мариенбад.

Глава 13

Нет ничего прекраснее ранней осени на просторах белорусских земель. По полям, ржаной стерне и парам мягкий теплый ветер разносит серебряные нити бабьего лета. Леса застыли, заслушавшись шелестом пурпурных и золотистых листьев. В садах груши и яблони, освободившись от тяжести плодов, потягиваются своими ветвями перед зимним сном. Воробьи в гумнах проводят свои шумные вече, ныряя в золотистую солому. На бледно-голубом небе черными линиями обозначились косяки журавлей. В овинах ритмический танец выбивают цепи, брызжет ядреное зерно из выстоявшихся на солнце колосьев, чтобы, провянное и чистое слиться сыпучей струей в тугие мешки.

Радует глаз хозяина этот достаток, приятно ему, когда его плечи ощущают тяжесть собранного урожая. Руководствуясь больше опытом, чем силой, укладывает он мешки на телегу целую гору. У маленькой толстопузой лошаденки хватит сил, чтобы, не спеша, нога за ногу, свезти зерно на мельницу. А мельница эта, ненасытное чудовище, добродушно ворчит и перемалывает в своих огромных жерновах молодое зерно. Широким потоком падает вода на мельничное колесо и низом уходит в пене и брызгах. Днем и ночью в открытую пасть засыпается зерно, днем и ночью в белых туманах, пахнущих хлебом, высыпается струя муки.

Голодной бывает ранняя весна на неплодородных белорусских землях. А вот уж ранней осенью мельница отдыха не знает. Истосковались люди по хлебу, по черному пахучему хлебу которого многие с весны во рту не держали.

На добрый лад, следовало бы и в воскресенье не останавливать мельницу, но у старого Прокопа Мельника были свои принципы, от которых он никогда не отступал, хотя знал, что Гайер в Поддубной да и Шимонюк в Раковщизне по воскресеньям работают. Конкуренция конкуренцией, а праздник праздником.

Поэтому в воскресенье умолкали жернова на мельнице Прокопа Мельника. Сам он в праздничной блузе вишневого цвета, подвязанной толстым шелковым шнурком, шел к Вильчурю побеседовать. Они усаживались вдвоем на крыльце больницы. Остальные жители мельницы тоже отдыхали. Зоня с Ольгой шли в Бервинты или в городок. Наталка потихоньку пробиралась в сторону Нескупы, где ее ждал поклонник, ее ровесник Саша. Донка с Василем катались на лодке по пруду. Дома оставались только старая Агата и Виталис, который храпел под топодем. Емел, как всегда, послеобеденное время проводил в пивной в Радолишках. Люция эти часы посвящала личным делам. Она писала письма знакомым, починая свой гардероб, а также гардероб Вильчура, разумеется, без его согласия.

Тем временем на крыльце шла беседа. Вильчур интересовался делами мельницы, ценой на зерно, спрашивал о том, что слышно в окрестности. Сам рассказывал об интересных случаях в больнице. Там дела шли хорошо. Как обычно, после уборки урожая люди вспомнили о своих недомоганиях и о том, что от них можно избавиться, если только обратиться к профессору. С помощью даров, которые приносили пациенты, можно было без особой экономии покрыть расходы на содержание и себя, и клиники.

Когда были исчерпаны эти темы, Прокоп начал рассуждать о своих планах на будущее. Больше всего его волновала передача мельницы и земли Василю.

– Я уже человек немолодой, – говорил он, – и хотя, слава Богу, здоровья и сил у меня хватает, всегда может нагрянуть смерть. Зачем же я буду оставлять после себя беспорядок? Пока я жив, все они меня слушают, а когда умру, кто знает, не начнутся ли между Василем, Ольгой и Зоней какие-нибудь раздоры. Не дай Бог, начнут еще таскаться по судам, так все нажитое мной и разбазарят. Поэтому я решил: перепишу все еще сейчас на Василя. Хлопец он порядочный, ни сестры, ни невестки не обидит, а имущество таким путем останется в одних руках и не пропадет.

– А когда ты думаешь это сделать? – спросил Вильчур.

– Вот, думаю, после праздника Трех Королей сыграем свадьбу, а потом поеду с ним в район и перепишу. Советуешь или не советуешь?

– Конечно, советую, – ответил Вильчур. – А скажи ты мне, пожалуйста, доволен ли ты своей будущей невесткой?

– Почему я должен быть недоволен?! Не девушка, а золото, работящая, веселая, а самое главное, что здоровая и не будет хилых рожать. По правде говоря, я и взял ее к себе с этой мыслью и даже беспокоился, что между ней и Василем никакой симпатии нету. Если мужчина и женщина живут рядом, то и симпатия должна появиться, ну и появилась. Воцарилось молчание. Вокруг была тишина, только с мельницы доносился монотонный шум воды и треск сойки, которая расположилась на одной из берез у дороги.

– Ну, а как же будет с тобой? – заговорил Прокоп.

– Со мной? – спросил Вильчур, выведенный из задумчивости.

– Ну да. Ты не обижайся на меня, что я тебя об этом спрашиваю, но я все смотрю, смотрю, а если смотрю, то и удивляюсь.

– Это с какой стороны? Что тебя так удивляет?

– Ну, вот ты живешь под одной крышей с этой барышней. Каждый видит, что у вас есть расположение друг к другу. Если бы это был кто-нибудь другой, а не ты, то уже давно бы люди языками молоть начали. А так, Боже сохрани, никто ничего плохого не думает, но раз меня уже спрашивали: "И когда это он уже женится на ней, наш профессор?.." А я отвечаю: "А Бог его знает, а откуда я могу знать?" – "А ты спроси..." Ну, так я им: "Сами и спрашивайте, что, вы без языков?" Ну, понятно, смелости не хватает.

Вильчур опустил голову.

– Сам не знаю... Сам не знаю, как поступить.

И он действительно не знал. Правда, неделю назад он уже принял решение жениться на Люции, но именно тогда случилось то незначительное происшествие, которое заставило его задуматься и если не перечеркнуло его планы о браке, то, во всяком случае, сильно их поколебало.

А было это так.

Давно уже лечился в больнице десятилетний мальчик, сын гончара из Бервинт. Снимая яблоки, он упал с дерева и получил довольно тяжелые внутренние травмы. Он был самым маленьким пациентом в больнице и общим любимцем. Даже Емел мог часами просиживать у его кровати, рассказывая ему удивительные сказки. Донка приносила ему различные лакомства, а Люция сшила красивый костюмчик. И Вильчур заглядывал к нему значительно чаще, чем того требовала забота о его здоровье. Маленький Петрусь постепенно выздоравливал. Вначале ему разрешили вставать на несколько часов в день, позднее в постели он проводил уже только ночь. Никому не хотелось с ним расставаться. Однако он нужен был дома. Его младшая сестренка не могла справиться с большим стадом гусей, и в один из дней за Петрусем приехал отец. С этой грустной вестью пришла к Вильчурю Люция, ведя за руку мальчика, чтобы тот попрощался с профессором.

– Петрусь, поблагодари пана профессора за то, что он вылечил тебя, а я тем временем соберу твои пожитки, – сказала она и вышла в сени.

Мальчик протянул руки так, точно хотел обнять профессора за шею. Вильчур, взволнованный, наклонился и поднял мальчика, чтобы поцеловать его.

– Ну и тяжелый же ты, – сказал, запыхавшись, Вильчур, опуская его на пол.

Спустя несколько минут возвратилась Люция, а за ней на пороге появился отец Петруся и стал благодарить и извиняться за хлопоты, которые, наверное, его сын доставил им.

– Все никаких хлопот, – весело ответила Люция. – Он самый замечательный мальчик, которого я встречала в жизни.

Мгновенно она подняла Петруся на руки, прижала его к себе и закружилась с ним по комнате.

Она даже не заметила, какое впечатление эта сцена произвела на Вильчурю. Он с грустью смотрел, как она без малейшего усилия танцевала по комнате с мальчиком на руках, с тем самым мальчиком, которого он едва смог поднять. Никогда прежде ничто не подчеркивало так сильно разницу их возраста и разницу их сил.

Люция не заметила и даже не догадалась, какой болью отозвалось это в его сердце, какой удар был нанесен его надеждам. И позже она не могла объяснить себе, казалось, ничем не обоснованное отстранение от нее Вильчурю и грусть, которая не покидала его. Напрасно она искала в своей памяти какое-то опрометчивое слово, какой-то поступок, которым она могла оттолкнуть его. Она боялась спросить его откровенно, так как знала, что он ничего не ответит, а в результате еще более углубится та невидимая черта, которая снова начала их разделять.

Вильчур еще больше, чем Люция, чувствовал существование этой черты. Он видел, как легко она поднималась по ступенькам, как, не прибегая ни к чьей помощи, перестилала постели больным, передвигая их и перенося. Он замечал, как после целого дня тяжелой работы она уходила на длительные прогулки; несмотря на холодную воду в прудах, она ежедневно купалась, плавала быстро и красиво, словом, была молодой, очень молодой, настолько молодой, что его рядом с ней нужно было считать стариком. И вот сейчас, когда Прокоп задал вопрос, он ответил:

– Не знаю, сам не знаю. Прокоп пожал плечами.

– А что тут нужно знать? Она хочет за тебя? Вильчур пробормотал:

– Хочет, потому что не понимает.

– Так если хочет, вот и женись. Что это за порядок, чтобы мужик без бабы был?

– Но прими, Прокоп, во внимание разницу в возрасте. Она молода и красива, а я уже старик. У нее впереди будущее. Что же я буду ее жизнь перечеркивать.

Прокоп вскипел:

– Вот мудрый ты человек, а говоришь глупости. Не диво, если дурак глупость несет, а если умный человек говорит глупости, то и смеяться не хочется. Ну какой ты дед? Если ты дед, то кто я? Я же тебя куда старше, а если бы, не дай Бог, Агата померла, так и женился бы.

– Видишь, Прокоп, у вас иначе. У вас жену берут, чтобы иметь хозяйку, а у нас из чувства любви.

– Вот и плохо, – заключил Прокоп. – Надо и для одного, и для другого. А мало людей постарше на молодых женятся? Хо, уже только в нашей околице я насчитал бы тебе человек тридцать. И потом, чего тебе не хватает? Ты что думаешь, что только она одна хотела бы за тебя выйти? Каждая хотела бы. Теперь еще одно: говоришь, что перечеркнешь

ее жизнь. Одно из двух: или в добром здравии будешь жить долго, так ей нечего будет жаловаться, или останется вдовой и получит свободную жизнь. Вот и все ясно. После разговора с Прокопом Вильчур почувствовал себя значительно увереннее. Он, действительно, не связывал жизнь Люции. Она ведь была уже зрелой женщиной и знала, чего хочет. Нельзя всех людей мерить одной меркой. А может быть, для нее будет счастьем, настоящим счастьем то, что он может дать ей: спокойную, умеренную жизнь, нежную дружбу, сердечную привязанность, да и как мужчина он не исчерпал еще своих возможностей.

Когда после обеда, как обычно в воскресенье, он собирался с Люцией на кладбище в Радолишки, то решил откровенно обсудить с ней все эти вопросы и только потом принять решение.

Люция в этот день была немного грустной. Она как раз отвечала Кольскому на его длинное и полное горечи письмо. Ей казалось, что Кольский попал в какое-то затруднительное положение, что он подавлен, о чем не хочет или не может писать. Она была уверена в том, что если бы он откровенно все ей рассказал, то она сумела бы помочь ему, сумела бы найти для него какой-нибудь совет. Не сомневалась она и в том, что если бы они встретились, то он ничего не скрывал бы от нее, но в письмах не мог решиться на полную откровенность. Она догадывалась, что причиной его переживаний и отчаяния является женщина. Она была совершенно уверена в этом, равно как и в том, что та женщина не заслуживала его любви и что в его жизни она, та женщина, была скорее всего случайностью. Несмотря на это, Люция испытала что-то такое, чего, правда, не могла назвать ревностью. Она почувствовала себя уязвленной.

– У вас сегодня плохое настроение, – заметил Вильчур, когда они оказались на тропинке, вьющейся по берегу пруда. – Что-нибудь случилось?

– Да нет, – возразила она. – Я немного беспокоюсь о Кольском. Получила от него письмо, и хотя он не пишет, но я знаю, что у него какие-то серьезные проблемы.

– В клинике?

– Нет. Это скорее проблемы личного плана. У меня такое впечатление, что у него какой-то неудачный роман или обручился с кем-то, и это приносит ему огорчение.

– Кольский не производит впечатления человека, который легко поддается сердечным переживаниям. Это очень порядочный человек с сильным характером.

Он вспомнил последний разговор с Кольским и добавил:

– Возможно, его недостатком является довольно поспешное суждение, но это издержки молодости. Его вина окупается гражданским мужеством. Это большое достоинство в наше оппортунистическое время. Если будете писать ему, то передайте от меня привет.

Их беседу прервали крики, доносящиеся с пруда. Это Василь и Донка покрикивали с лодки в сторону берега. Только сейчас Вильчур с Люцией заметили Емела, удобно расположившегося в тени кустов. Рядом с ним стояла наполовину опорожненная уже бутылка водки. Молодые подплыли ближе и завязали с ним разговор. Донка, указывая на удалявшихся Люцию и Вильчура, сказала:

– И не завидно вам, пан Емел?

– Завидно? Чему?

– Ну, у каждого есть своя девушка, а вы один.

– Моя милая лягушечка, да, я один, один, как палец в носу; но если ты думаешь, что я завидую другим, то ты глубоко ошибаешься.

Василь громко рассмеялся:

– Потому что вы никогда не бываете один, вы всегда с бутылкой.

– Твое счастье, туземец, мой местный Ромео, что бутылка еще не опустошена. В противном случае я мог бы ее послать воздушным путем. Смотри, чтобы она не приземлилась на твоём органе обоняния.

– Хо-хо, вы не добросите сюда, – смеялся Василь, но на всякий случай взмахнул пару раз веслами, чтобы немного отдалиться от берега.

– А что касается зависти, то пойми, микроцефал, что в этой бутылке у меня не одна подружка, а целое стадо... Гарем, понимаешь, гарем?

– Не понимаю, – откровенно признался Василь.

– Фу, какие гадости вы говорите, – ужаснулась Донка.

– Я говорю, а у вас есть желание делать. И кто же вы такие? Бессознательное орудие фатума, который диктует вам исполнять популяционно-демографическую функцию, быть кустарным предприятием по приросту населения, концессионной фабричкой, основанной для производства нескольких экземпляров себе подобных инженио. Глазеее друг на друга томными взглядами, а результат? Груда зловонных пеленок и несколько килограммов живого мяса, от которого исходит днями и ночами нечленораздельный визг. И напрасно я призывал бы вас к рассмотрению этой проблемы. Задал ли себе кто-нибудь из вас вопрос покойного Гамлета: ту би о нот ту би?.. А задумывался ли кто-нибудь из вас в слепом стремлении поддержать вид, что этот вид, в сущности, очень подлый и мерзкий? Гомо псевдо сапиенс рустиканус зачастую наделен колтуном или паршой. И я хочу спросить вас громогласно: на кой черт вам нужно продолжать генеалогическое дерево из обыкновенных обезьян, антропоидальных существ, заселяющих бассейн рек Двины и Немана?.. Молодые смеялись, хотя понимали немного. Болтовня Емела была для них чем-то весьма забавным. Он сделал небольшой глоток из бутылки и, подперев голову руками, удобно растянулся на высокой траве.

– Смейтесь, чтобы продемонстрировать свою человечность. Естественно, это единственный доступный для вас ответ организма, который отличает животное от человека.

Донка запротестовала:

– Вот и неправда. Животные тоже смеются, например, собака.

– И конь, – добавил Василь. – В Нескупе у Профимчука есть конь, который смеется, как человек.

– На здоровье, пусть себе смеется, – говорил Емел. – Если бы вы были знакомы с философией, я бы сказал вам, что исключения подтверждают правила, а не опровергают их. Собственно, на высшем уровне смех уже перестает быть проявлением человечности. На высшем уровне остается лишь усмешка жалости или сострадания и снисходительного безразличия к обществу, где следовало бы повесить доску, помещенную Данте на вратах в ад: "Оставь надежду всяк сюда входящий!". Поэтому не стоит жалеть меня, что я не обременен обществом самки. Если бы я кому-нибудь и верил, то верил бы прежде всего Вейнингеру, который, как вам хорошо известно, немного хорошего сказал о женщинах.

– Тот пан был некультурным, – сделала заключение Донка.

– Угадала, возлюбленная.

Так они спорили, перебрасывались шутками, пока со стороны мельницы не послышались какие-то тревожные крики. Должно быть, что-то случилось. Василь первым увидел причину: со стороны мельницы по тропинке, ведущей к прудам, бежала большая собака. Нетрудно было понять смысл криков. Собака была бродячей, в окрестности ее не знали. Из пасти текла пенящаяся слюна, хвост был поджат.

– Бегите, пан Емел, – крикнул Василь, – это бешеная собака!

– Убегайте! – с ужасом пропищала Донка.

Но легче было посоветовать бежать, чем указать куда. Вокруг было открытое пространство, именно туда бежала собака. Емел вскочил.

– Хоть бы была какая-нибудь палка!

– Держите! – крикнул Василь и бросил к берегу весло, но расстояние было достаточно велико, и весло не долетело.

Собака бежала быстро. Времени на размышление не оставалось, и Емел, схватив с травы бутылку, прыгнул в воду. Пруд в этом месте был глубокий, а плавать он не умел. Но Василь подплыл к тому месту, куда прыгнул Емел, и, как только голова тонущего показалась над поверхностью воды, схватил его за волосы, потом за воротник и втащил в лодку.

– А, черт бы его побрал! – ругался Емел, брызгаясь и отплеываясь водой. – Что это за порядки, чтобы бешеные псы шатались по окрестности в погожие воскресные дни и вынуждали гражданина, употребляющего дульче фа ньенте, погружаться в эту омерзительную жидкость. Василь, осторожно, ради Бога! Там, там плывет! Не разбей ее веслом.

И действительно, возле носа лодки показалась бутылка. К счастью, она была с пробкой, и ее содержимое уцелело, однако ненадолго, так как Емел тотчас же перелил его в свой желудок.

К пруду прибежал запыхавшийся Виталис с большим дрынком, но преследование пса уже было делом бесполезным. Из рассказа Виталиса они узнали о случившемся. Со стороны

тракта прибежала собака, но она не была похожа на бешеную. Покрутившись какое-то время по двору, она вдруг бросилась на Зоню, которая, к счастью, несла пустое ведро. Зоня ударила псину по голове и таким образом защитилась. Тогда собака бросилась в сторону Виталиса, а когда прибежали две местные собаки, она обеих покусала.

– Ничего не поделаешь, надо будет ее убить, – закончил работник свой рассказ.

– Очень жаль, – с грустью сказала Донка.

Они причалили к берегу и пошли посмотреть покусанных собак.

Тем временем Вильчур с Люцией вышли с кладбища и, как обычно, окружной дорогой направились в сторону дома, а точнее, к тракту, где собирались расстаться, потому что Люция хотела навестить больную девочку в Радолишках.

Разговор о Кольском и о Варшаве, а позднее о маленькой пациентке нарушил планы Вильчура. Не представилось случая поговорить о своих намерениях, связанных с браком. Правда, профессор не спешил и, в сущности, был даже рад тому, что может отложить эту тему.

Они шли извилистой дорогой среди сжатых полей. По краям дороги густо рос кустарник. На повороте под одним из кустов они увидели большого рыжего пса, который неподвижно стоял и всматривался в идущих.

– Какой красивый сеттер, – отметила Люция.

– Действительно, красивый, – согласился Вильчур. – Здесь в окрестности он, наверное, недавно, потому что я никогда его не видел.

Он направился в сторону собаки и, протягивая к ней руку, позвал:

– Ну, иди сюда, собачка, иди.

Он не успел отдернуть руку... Минуту назад спокойно посматривающий сеттер в мгновение ока впился зубами в ладонь, затем повернулся и помчался в сторону кладбища.

– Боже мой! – воскликнула Люция. – Собака укусила вас. Очень больно?

Вильчур за усмешкой спрятал боль.

– Да нет. Это мелочь, – соврал он.

На самом же деле все плечо разрывалось от боли. Зубы собаки, наверное, повредили какой-то нерв. Из небольшой ранки сочилась кровь. Он вынул носовой платок, вытер ладонь и заметил:

– Чего требовать от зверей, если и люди часто поступают таким же образом, отвечая на дружбу и добросердечие укусами зубов.

Люция забеспокоилась.

– Здесь нет воды, но вы должны мне обещать, что сразу же по возвращении домой продезинфицируете ранку.

Он рассмеялся.

– Панна Люция, это же мелочь, хотя я могу вам обещать, что сделаю это.

– Я очень вас прошу.

Они дошли до тракта, и Вильчур спросил:

– Вы надолго задержитесь в городке?

– Нет, – покачала она головой. – Самое большее полчаса, только сделаю перевязку малышке и все.

Улыбнувшись друг другу, они расстались. Вильчур направился в сторону больницы, а Люция пошла в Радолишки. Однако не успела она сделать пары сотен шагов, как встретила двух полицейских из Радолишек. Они давно знали ее и, как всегда, приветствовали, вежливо салютуя. Она ответила им поклоном. Один из них спросил:

– Вы случайно не видели здесь такую рыжую собаку?

Она остановилась.

– Да, видела. Она побежала в сторону кладбища. Это ваша собака?

– Что вы, это какая-то чужая бешеная собака. В городке она покусала лошадь и три другие собаки. Вот идем искать, чтобы застрелить ее.

Сердце Люции лихорадочно забилось.

– Езус Марья! – прошептала она.

Только сейчас она заметила, что у них с собой были ружья.

– Значит, побежала в сторону кладбища? – спросил второй полицейский. – Спасибо вам.

Лишь спустя минуту она пришла в себя. Сразу хотела бежать за Вильчуром, догнать его и предупредить, однако, подумав, она решила как можно скорее добраться до аптеки. По дороге ее не покидала мысль, что в такой маленькой аптеке не найдется противостолбнячной сыворотки. И она не ошиблась.

– Единственный выход, пани доктор, – сказал аптекарь, – везти профессора в город и как можно скорее. Вы же сами знаете, что в таких случаях нет времени для раздумий.

Люция посмотрела на часы. Вечерний поезд из Людвикова отправлялся через час. О том, чтобы за этот час успеть добежать до больницы и потом на лошадях до станции, не могло быть и речи. Следующий поезд должен быть завтра в час дня. Она уже выходила на улицу, когда аптекарь ее задержал.

– Мне помнится, что пан доктор Павлицкий заказывал для себя противостолбнячную сыворотку, потому что за последнее время здесь было несколько подобных случаев с бешеными собаками. Возможно, у него еще осталось.

– Спасибо вам, большое спасибо, – поблагодарила Люция и побежала домой к Павлицкому. Однако дома его не было. Жена Павлицкого приняла ее с откровенной холодностью. Сразу даже не хотела сказать, где он находится.

– Муж уехал к больному. Это все, что я знаю.

– Как это? И вы не знаете, в какую сторону? Она пожала плечами.

– Не знаю. Я не интересуюсь этим.

– Боже мой! Здесь речь идет о жизни человека.

Пани Павлицкая смерила Люцию холодным взглядом.

– Насколько мне известно, вы тоже врач. Кроме вас, там еще есть и сам профессор Вильчур. Зачем же понадобился мой муж?

– Ваш муж, – объяснила Люция, – покупал противостолбнячную сыворотку. Профессора укусила бешеная собака.

– О! – произнесла пани Павлицкая таким тоном, что в этом возгласе можно было усмотреть как испуг, так и сенсационный интерес.

– Ваш муж, – продолжала Люция, – видимо, хранит эту противостолбнячную сыворотку здесь, в своем кабинете. Я врач, позвольте мне поискать ее в кабинете вашего мужа.

– Искать в его кабинете?! – возмутилась пани Павлицкая. – Ну, знаете, извините, но это выше моего понимания. Даже я, будучи его женой, не осмелилась бы совершить нечто подобное, и вообще муж все держит под замком.

– Что же мне делать! Что же мне делать?! – Люция лихорадочно искала решение.

После минутного колебания пани Павлицкая сказала:

– Подождите, я спрошу у служанки, может быть, она знает, куда поехал муж.

Она исчезла за дверью. Каждая минута ожидания казалась Люции часом. Воображение подсказывало ей самые страшные картины. Введение сыворотки окажется несвоевременным, и профессор будет умирать в самых страшных, чудовищных мучениях, в мучениях, которые превращают человека в дикое животное, в мучениях, которые невозможно ничем облегчить. Наконец, пани Павлицкая вернулась.

– Мой муж поехал в Ковалево, – сказала она. – К Юрковским.

– В Ковалево?

– Да.

– А вы не знаете, сколько это километров?

– К сожалению, не знаю. Я думаю, что информацию об этом вы получите у людей в городке.

– Спасибо вам, большое спасибо.

Люция выбежала. Во всяком случае нужно было нанять лошадей. Поскольку почти все жители Радолишек христиане, то они занимались землей, и она считала, что нанять лошадей до Ковалева не составит никаких трудностей. Но, увы, уже у первого хозяина она встретилась с проблемой. Оказалось, что, как обычно в выходной день, лошади находятся на дальнем пастбище. Второй неприятной неожиданностью оказалось то, что Ковалево находится в шести километрах от Радолишек, а дорога здесь песчаная, и лошади могут ее преодолеть только шагом.

– Есть и ближняя дорога, – объяснил мужик, – но там можно пройти только пешком, и то небезопасно. Это будет не больше трех верст: до Муховки две, а там верста или полторы через торфяники. Если хотите, я могу моего Стася послать.

– Нет-нет! – запротестовала Люция. – Я сама пойду, я очень спешу.

– Если вы спешите, то можете одолжить у Войдыл велосипед. У них аж два есть. Вы умеете на велосипеде ездить?

– Умею.

– Ну, так до Муховки вы доедете на велосипеде, а уж потом полями и через торфяники пешком: ни велосипедом, ни коню не пройти. И надо быть очень осторожной, потому что каждый год там кто-нибудь тонет. Вот и в прошлом месяце вытянули Кульманюка, когда из болота торчала уже только его голова. Нужно очень смотреть. Зимой, когда замерзнет, там есть переезд, а сейчас нет.

– А вы не могли бы пойти со мной? – спросила она. – Я заплачу вам.

– Мужик почесал затылок.

– Да не о деньгах тут говорим, но день сегодня праздничный: воскресенье, никак нельзя. Она поблагодарила его за советы и побежала за велосипедом. Здесь не возникло никаких трудностей. Услышав, о чем идет речь, Войдыло тотчас же вывел велосипед своей невестки. Старый шорник давно был в долгу перед Вильчуром и искренне обеспокоился его здоровьем.

– Вы не беспокойтесь о велосипеде. Можете оставить его у председателя Ягодзиньского в Муховке, а утром невестка пойдет и заберет его.

Дорога в Муховку проходила через березовые рощи, где после недавних дождей стояли большие лужи мутной воды. Не успела Люция проехать полкилометра, как была уже полностью забрызгана грязью.

Небольшая деревня Муховка расположилась на довольно большой возвышенности, защищающей ее от частых в этой околице наводнений. Маленькая речушка Ливиния, пересекающая торфяники, во время весенних паводков превращала окольные луга и рощи в настоящее озеро. Однако сейчас вода поднялась невысоко, так что Люция замочила ноги только до косточек, переводя велосипед через брод. В деревне она без труда нашла дом председателя, где должна была оставить велосипед.

Когда она объяснила ему, что намеревается добраться до Ковалева через болото, он пришел в замешательство:

– Как это? Вы хотите там пройти? Но это опасно, особенно сейчас, под вечер, когда уже становится темно.

– Я должна, – ответила она. – Профессора Вильчура укусила бешеная собака, а в Ковалеве сейчас доктор Павлицкий, и только у него есть нужное лекарство.

Председатель всплеснул руками.

– Боже мой! Профессора Вильчура покусала собака! Профессора Вильчура, того знахаря?

– Да-да.

– Того, что живет у Прокопа Мельника?

– Того самого.

– Боже ж ты мой! Такого человека? А вы, наверное, та докторша, которая вместе с ним лечит?

– Да, это я.

– Вот несчастье! Тут сейчас много бешеных собак. Вот несчастье! Как же я отпущу вас в такую дорогу? Вы же утопитесь, как пить дать. Я сам проходил не раз, но когда был молодым. Тогда я знал проходы, а они каждый год новые. Вы же понимаете, что вода подмывает... Сегодня я бы уже не осмелился.

Он задумался, пощипывая бороду, и, наконец, крикнул вглубь дома:

– Ануська! Беги сейчас же за Сушкевичем Антонием. Только быстро! Быстро, потому что темнеет.

Из сеней выбежала молодая девушка, ловко перелезла через забор и исчезла в кустах сирени. Минут через пятнадцать она вернулась тем же путем. Со стороны улицы подошел Антоний Сушкевич, которого они ожидали. Это был худощавый подросток с белой как лен шевелюрой.

Сняв шапку перед прибывшей пани, он пробормотал: "Слава Иисусу Христу" и усмехнулся, глядя на свои босые ноги. Несмотря на праздничный день, на нем была только расстегнутая грубая рубашка и холщовые штаны.

Председатель положил ему руку на плечо.

– Послушай, Антоний, переход через торфяники знаешь?

– А чего же не знать?

– До Ковалева пройдешь?

– А чего ж не пройти?

– А эту пани проведешь?

– А чего ж не провести?

– А до ночи пройдете?

– А чего не пройти?

Председатель удовлетворенно засопел и, обращаясь к Люции, сказал:

– Этот Антоний – самый большой бродяга во всей деревне. Учиться ему не хочется, работать не хочется, только постоянно лазит за утиными яйцами по этим болотам, такой уж он. Но лучше его никто не знает проходов в этих болотах. Опасный это поход, но если уж идти вам, так только с ним. Подождите минуту, я сейчас что-то принесу.

Он пошел к сараю и вернулся с длинной ореховой палкой.

– Он так и без палки справится, – пояснил председатель, – а вот вам лучше взять. Если будете проваливаться, то палку нужно положить, тогда человек дольше продержится на поверхности.

Люция самым сердечным образом выразила ему свою благодарность и напомнила, что, если кто-нибудь в деревне заболит, пусть обязательно приезжает в больницу: там ему всегда помогут. Сопровождаемая Антонием, она вышла на улицу. В конце деревни дорога спускалась вниз почти обрывисто, и в нескольких сотнях шагов начиналось болото.

– Быстрее, быстрее! – повторяла все время Люция подростку, который, видимо, не привык спешить и шел нога за ногу.

Глазам открылась настоящая тундра, пустыри, поросшие густой, колючей, местами жухлой травой. Здесь и там зеленели на скрюченных белых стволах листочки карликовых березок, кое-где усатая лоза выстреливала пучками желтых веточек или кустился темно-зеленый тростник. Противоположный берег болота не был виден. Он мог оказаться и близко, и очень далеко, так как был скрыт поднимавшимися с берега испарениями.

Первые шаги по торфянику привели Люцию в ужас. Почва под ногами прогибалась, как пружинный матрас, лишая чувства равновесия.

Подросток остановился.

– Вы ступайте точно за мной, – флегматично предупредил он, ковыряя в носу. – Куда я ногу поставлю, туда и вы, не куда-нибудь, а точно в мой след.

– Хорошо, буду смотреть.

– А если я остановлюсь, так и вы стойте.

Она кивнула головой, и подросток двинулся вперед.

Если раньше Люции казалось, что они продвигаются очень медленно, то сейчас она с отчаянием думала, что они идут черепашим шагом. А в сущности, это больше напоминало движение лягушек, чем черепаший ход. Под густой травой из-под кочек обильно выступала вода. Время от времени, когда не привыкшая к таким походам нога срывалась, стопа тотчас же погружалась в теплую густую темно-красную жидкость. На чулках оставались ржавые пятна. Густо поросшие травой кочки казались Люции каким-то лесом, затопленным густым лесом, от которого на поверхности остались только кроны деревьев. Именно по этим кронам и нужно было ступать, и каждый неосторожно сделанный шаг мог угрожать смертью. Она ощутила это, когда, упершись палкой в пространство между двумя кочками, с ужасом поняла, что палка не встретила почти никакого сопротивления и, несмотря на свою двухметровую длину, не достигла дна, которого здесь могло и не быть совсем.

Через какое-то время в нее начал вселяться страх, парализующий, физический, звериный страх перед неизвестностью. Напрасно она убеждала себя, что проводник должен знать дорогу и что он выведет ее. Страх был сильнее. Она до крови закусил губу, чтобы сдержаться и не закричать от страха, чтобы не попросить этого паренька вернуться назад в деревню.

– Я должна пройти туда, – повторяла она упрямо. – Я должна его спасти.
Низко нависший туман окутал их холодом. Сейчас уже ничего не было видно вокруг. Она с трудом различала впереди силуэт одетого в белое Антония и ближайшие кочки. Они шли, как в молочном мареве. Над головами поднимались испарения, розоватые от зари на западе. Из тумана иногда возникали скрюченные березки, казавшиеся таинственными чудовищами страшных форм, чудовищами, подстерегавшими здесь смельчаков. Несмотря на холод, пот крупными каплями струился по всему телу, а сердце то останавливалось от усталости, то обрывалось от внезапного испуга, как только нога соскальзывала с кочки.
Проводник шел медленно, и Люция могла поклясться, что они кружатся, что заблудились. Время от времени он останавливался, оборачивался к ней, глуповато усмехаясь, оглядывался вокруг и, выбрав одну из соседних кочек, ставил на нее ногу.
Люции начало казаться, что все окружавшее ее потеряло реальные очертания, что это какой-то сон, мучительный и страшный, от которого нельзя пробудиться. И ее то и дело посещала мысль, что Антоний помешанный, что оставит ее здесь одну, беспомощную и несчастную, убежав куда-то и растворившись во мгле.
Поэтому, когда он хоть на минуту исчезал из поля зрения, она в отчаянии кричала:
– Антоний! Антоний! Где ты?!

И испытывала непередаваемое облегчение, когда во мгле раздавался его спокойный гортанный голос:
– Здесь я. Здесь.

Он сразу же возвращался с невозмутимым терпением, чтобы указать ей переход. Этот страх едва не стал причиной несчастья. В тот момент, когда проводник пропал из виду, Люция, желая догнать его, быстро и неосторожно прыгнула на маленькую кочку. Дрожащие колени подвели ее, и она с шумом рухнула в воду. Это было омерзительное, ужасающее ощущение. Все, что она знала о непроходимых топях, припомнилось ей в одно мгновение. Ее тело до пояса погрузилось в какую-то жидкую мазь. Грудью она навалилась на кочку, впиваясь пальцами в траву. Она была почти в бессознательном состоянии и не чувствовала боли. Острые стебли травы во многих местах разрезали кожу рук. Правда, палка, падая, уперлась в две соседние кочки, и если бы Люция не нервничала, то поняла бы, что непосредственной опасности для нее нет.
Ее раздирающий крик вернул флегматичного подростка, который без особых усилий помог ей выбраться из топи. Содрогааясь всем телом, она повторяла:
– Я не могу идти дальше. Я должна отдохнуть, я должна отдохнуть.
Но паренек покачал головой.
– Здесь, нельзя. Если дольше посидеть на кочке, то она провалится. Так она устроена. Еще немного, а там будет такое место, где можно, потому что там твердый грунт.
Она с трудом поднялась. Платье прилипло к ногам, затрудняя движения. С него стекала ржавая и какая-то жирная вода. К счастью, место, о котором говорил проводник, действительно оказалось не очень далеко. Это был островок в несколько метров, покрытый такой же травой, только очень выгоревшей на солнце. Люция вытянулась на нем с чувством огромного облегчения. Во-первых, она могла отдохнуть, а во-вторых, убедилась в том, что этот паренек в самом деле хорошо ориентируется. На какой-то миг ею овладела блаженная мысль: отсюда уже можно не идти дальше, можно переночевать здесь, а завтра вернуться при дневном свете.
Она отругала себя за эту душевную слабость.
– Нет, я должна сегодня. Мне нужно как можно скорее быть в Ковалеве.
Внезапно ею овладело беспокойство.
– А что будет, если Павлицкого я уже там не застаю?
При этой мысли, несмотря на усталость, она вскочила и сказала:
– Идем дальше, жаль времени.
Проводник не сдвинулся с места.
Лучше отдохните. Сейчас дорога будет еще труднее.
– Как это труднее? – спросила она едва слышным шепотом.
У нее просто не умещалось в голове, чтобы какая-нибудь дорога могла быть труднее той, часть которой они уже преодолели.

– Ну да, потому что кочки там будут пореже и нужно будет прыгать дальше. Вы должны смотреть, когда прыгать будете. Вот только юбка вам будет мешать, подверните ее. Выхода не было. В конце концов, присутствие этого шестнадцати- или семнадцатилетнего подростка совсем не стесняло ее. Она подняла подол платья и заткнула его за пояс, высоко обнажив ноги. Так было действительно удобнее. Парень с усмешкой следил за ее движениями.

– Пойдем! – уже более резким тоном сказала Люция. – Становится все темнее.

Скоро она убедилась, что Антоний не преувеличивал, говоря о трудностях оставшейся дороги. Конечно, не фокус перепрыгнуть с одного кружочка величиной с большую миску на другой на расстоянии метра, но только не тогда, когда между этими кружочками чернеет бездонное болото. Большим усилием воли Люция удерживалась от нелепого и убийственного желания закрыть глаза во время прыжка. Мысленно начала молиться. Она молила Бога только об одном – о том, чтобы, попав на следующую кочку, можно было с нее прыгнуть на берег, на твердый берег, почувствовать твердую почву под ногами.

– Далеко еще? – запыхавшись, время от времени спрашивала она.

– Недалеко, – с невозмутимым спокойствием отвечал проводник.

Люция была зла на того человека в Радолишках, который сказал, что через болото надо пройти только с километр. Хороший километр! Она была уверена, что они прошли уже не меньше десяти.

Проводник вдруг остановился и поднял палец вверх.

– Слышите?

И действительно, в тишине, окружавшей болото, до ее слуха донесся отдаленный звук какой-то музыки. Спустя минуту она различила ритм. Кто-то на гармонии играл польку.

– Это уже Ковалево, – пояснил Антоний. – В Ковалево сегодня свадьба. Дочь кузнеца пошла за рыжего Митьку, что в прошлом году на Латвию за работой ходил.

Кочки сейчас попадались все чаще. Однако их еще ждала неприятная переправа через высокий тростник. На противоположном берегу болота тянулась широкая полоса острых, колючих тростниковых зарослей. Между ними нужно было идти по колено в воде, но ноги уже приятно упирались в твердый, хотя и неровный, грунт дна, покрытого корнями тростника. Острые листья касались лица, царапая кожу.

Наконец они вышли на берег. Это была поляна, переходящая в довольно высокий пригорок, густо поросший деревьями. Над ними раскинулось темно-зеленым шатром небо, высвеченное звездами. Люция обернулась: сзади осталось море белого тумана, нависшего над этим страшным болотом. Она содрогнулась, просто не могла поверить в то, что недавно прошла через этот ад.

Сейчас они шли рядом по широкой, хорошо утопанной тропинке. Крепкие спортивные туфли Люции совершенно размокли, в них хлопала вода. Среди деревьев на пригорке замерцали огни. Звуки гармонии раздавались все громче, послышалась какая-то танцевальная мелодия. В густеющих сумерках можно было различить два больших длинных строения. Это были усадебные постройки. Здесь, наверху, стало значительно теплее.

Паренек остановился.

– Вот и усадьба, – он указал на освещенные окна, видневшиеся за деревьями.

Люция выгребла из кармана все монеты, какие у нее были. Оказалось их около десяти золотых. Она вложила все это в руку паренька и сказала:

– Здесь немного, но когда ты придешь в больницу, я дам тебе больше. Спасибо тебе большое.

– И пани спасибо.

– Ты переночуешь здесь?

– Нет, я пойду домой.

– Как это? Опять через болото?

– Ну да.

– Я ни за что тебе этого не позволю. Это было бы безрассудством, ведь такой густой туман и почти совсем темно.

Паренек пожал плечами.

– Я бы и с закрытыми глазами прошел, как будто мне впервой! Да я ж там каждую кочку знаю, а чего мне здесь ночевать?

Напрасно Люция убеждала его, напрасно уговаривала и обещала довести на лошадях до Радолишек. Антоний Сушкевич был упрям, и, видимо, самолюбие не позволяло ему отказаться от похода, который эта пани считала рискованным. А может быть, он хотел произвести впечатление. Он быстро попрощался, и уже спустя минуту Люция услышала плеск воды в камышах.

В усадьбу нужно было идти через небольшой парк. Собаки, вероятно, еще не были спущены, потому что громкий лай раздавался со стороны усадебных построек, и ни одна собака не встретила на пути Люции. Ей нестерпимо хотелось присесть здесь на сухой траве и отдохнуть, но ею снова овладевал страх при мысли, что она может уже не застать Павлицкого.

Только сейчас она начала ощущать на лице, шее, на руках и ногах неприятный зуд. Тысячи комаров оставили микроскопические капельки своего яда, который сейчас, разъедавая ткани, вызвал бесчисленное количество волдырей. На болоте она только сначала оберегалась от этих прожорливых насекомых, а позднее страх и смертельная усталость сделали ее бесчувственной к болезненным укусам.

Возле крыльца дома стояла пара лошадей, запряженных в бричку. На козлах дремал молодой парень. Люция вздохнула с облегчением: она догадалась, что он ждет Павлицкого. Значит, он еще здесь.

Дверь не была закрытой. Она вошла в просторные сени. Здесь ее встретил залихватский лай маленькой неуклюжей собачонки. Этот лай вызвал из дальних комнат старую женщину, которая окинула Люцию изумленным взглядом.

– Я доктор Люция Каньская. Извините меня за мой вид, но я пришла сюда из Муховки через болото. Здесь ли еще доктор Павлицкий?

Старушка сложила руки.

– Боже правый! Ночью через болото?!

– У меня был проводник, – пояснила Люция. – Могу ли я видеть доктора Павлицкого?

– Ну конечно, садитесь.

Она окинула озабоченным взглядом грязное платье Люции и белоснежные чехлы на мебели.

– Я не знаю, но, может быть, вы бы переоделись во что-нибудь сухое?

Она повернулась и быстро засемила к приоткрытым дверям.

– Вицку, Вицку! – позвала она.

В сени вошел высокий широкоплечий мужчина со светлыми короткими волосами и здоровым румянцем на щеках.

– Это доктор Каньская, – пояснила старушка, – представь себе, она пришла сюда из Муховки через болото, сейчас, в эту пору. Позвольте представить вам моего сына... Мужчина приблизился к Люции, поклонился и протянул руку.

– Юрковский. Я поздравляю вас с этой переправой. Я знаю эти околицы с детства, но, тысяча чертей, я не считаю себя трусом, однако ночью я не решился бы на такое геройство. Люция усмехнулась.

– Это вовсе не геройство, а только необходимость, ведь речь идет о жизни человека. Я должна была как можно скорее добраться до доктора Павлицкого, а в Радолишках не было никакой возможности найти лошадей.

– Да-да, понятно. Доктор Павлицкий здесь. Сейчас я его приглашу, но, мама, нужно заняться пани. Ну и покусали же вас комары! Прекрасный пол не имеет никакого спасения от этой мерзости.

Он улыбнулся и потянулся рукой к усам. Но, верно, сообразил, что Люции в ее состоянии не до комплиментов, и сказал:

– Вы должны сейчас выпить водки, большую рюмку водки, настоящую на можжевельнике, иначе начнется какая-нибудь лихорадка. Мама, нужно найти какую-нибудь одежду. Ядя, правда, выше, но что-нибудь там найдется.

Старушка потопталась на месте.

– Ну, конечно, конечно.

– Я вам очень благодарна, – ответила Люция, – но прежде всего я хотела бы видеть доктора Павлицкого.

– Сию же минуту я иду за ним, – сказал пан Юрковский. – У бедняжки приступ: камни в желчном пузыре. Вот, видите, мама, как хорошо, что пани тоже доктор. Сейчас мы ее попросим и устроим целый консилиум. Так принесите же ей водки, а я уже иду за доктором.

Он исчез за дверью, а тем временем его мать принесла пузатый графинчик и рюмку. Люция с нескрываемым удовольствием выпила ее содержимое. Приятное ощущение тепла разлилось по всему телу. Ей мучительно хотелось сесть. Она едва держалась на ногах.

– Еще одна рюмка вам не повредит, – авторитетно заявила старушка. – Никакой закуски я вам не дам, потому что скоро садимся ужинать. За это время вы умоетесь и переоденетесь. Через болото! Боже правый! А кто это вас провожал?

– Подросток из Муховки, Антоний Сушкевич.

– А, тот бродяга? А где же он?

– Пошел обратно. Я не разрешала ему, но он уперся. Боюсь, чтобы не случилось какое-нибудь несчастье.

Старушка махнула рукой.

– Дурное черт не берет, – заключила она доверительно.

Дверь открылась, и вошел доктор Павлицкий. До настоящего времени они были знакомы только внешне. Люция знала, что Павлицкий недоброжелательно относится к профессору Вильчуру, а значит, и к ней, и к их присутствию в окрестностях Радолишек. Они не составляли ему угрожающей конкуренции, так как лечили только бедноту, да и то бесплатно или почти бесплатно, в то время как его пациентами были преимущественно землевладельцы, которые не обращались за помощью к Вильчуру по той простой причине, что профессор принимал только в больнице и по усадьбам ездить не хотел. До сих пор было лишь два случая, когда он согласился принять богатых пациентов, но тогда речь шла о серьезных хирургических операциях, и этих пациентов, хотя и неохотно, направил сам доктор Павлицкий, потому что хирургия не была его специальностью. Между Павлицким и Вильчуром был давний конфликт, правда зарубцевавшийся, но живой в памяти Павлицкого. Конфликт этот закончился для него почти компрометацией, поэтому Люция и не надеялась на радушный прием.

И действительно, Павлицкий вошел с холодным, неприступным видом. Это был высокий, слегка располневший мужчина лет сорока, одетый в очень светлый и хорошо отутюженный костюм. Он едва поклонился и обратился к Люции:

– Вы хотели видеть меня?

– Да, пан доктор. Я Люция Каньская, работаю с профессором Вильчуrom.

Он протянул ей руку.

– Рад вас видеть и слышать. Чем могу служить?

– Вся моя надежда на вас. В аптеке в Радолишках нет противостолбнячной сыворотки, а я боюсь медлить.

– Кого же это покусала бешеная собака? – поинтересовался доктор.

– Профессора Вильчура. Павлицкий не мог справиться с собой.

– А... Профессора Вильчура...

– Да. В аптеке мне сказали, что пан доктор недавно покупал сыворотку.

– Во сколько это случилось?

– Около пяти часов вечера.

Павлицкий насупился.

– Ну, если так, то никакой серьезной опасности нет. Профессор Вильчур успеет вовремя доехать до города.

– Однако бывают случаи, – заметила Люция, – что даже незначительное промедление невозможно исправить. Если у вас, пан доктор, есть сыворотка, я была бы вам бесконечно благодарна.

Павлицкий нахмурил брови. Люция понимала, что он колеблется, что борется с самим собой, что не может принять решение.

Наконец он сказал:

– Я не помню точно, кажется, осталось, но в любом случае у меня ее нет с собой, только в Радолишках.

– Я была у вас дома, и жена сказала, что без вашего распоряжения она ничего не даст. Если бы вы были настолько любезны и написали записку...

Павлицкий отрицательно покачал головой.

– Это ничего не даст. Все лекарства закрыты, а ключи из принципа я никому не даю. Люция пришла в отчаяние.

– Что же мне делать?!

Пан Юрковский громко крикнул:

– Ну, ничего не поделаешь, доктор должен ехать сам. Гостеприимство гостеприимством, ужин уже на столе, но я понимаю, что задерживать я не имею права.

– Конечно, нет. Очень жаль, но что тут поделаешь, – согласилась его мать.

Павлицкий пожал плечами.

– Доктор Каньская, мне кажется, ваше беспокойство излишне. Час промедления или даже больше не сыграют роли.

– Ну, хорошо, – рассудил пан Юрковский. Съедем ужин в темпе мазурки и поехали!

Пани Юрковская проводила Люцию в свою комнату и там просто заставила переодеться в платье дочери, предварительно натерев ее каким-то домашним средством, якобы помогающим при укусах комаров. Когда они вошли в столовую, Павлицкий, хозяин и еще какой-то гость уже сидели за столом. Доктор ни разу не обратился к Люции, вообще не разговаривал и сидел насупившись. Поскольку хозяин торопил, ужин закончили в течение получаса, а пятью минутами позднее они уже сидели в бричке. Неожиданно для всех пан Юрковский оказался на крыльце в шапке и крикнул кучеру:

– Освобождай козлы, ворона! Сам повезу. Вскакивая на козлы, он повернулся к Люции и Павлицкому.

– Тащился бы черт знает сколько, а я люблю кавалерийскую езду. Он засмеялся и стрельнул кнутом над лошадиными спинами. Бричка дернулась так, что пассажиры откинулись назад. Лошади с места пошли рысью.

Это была действительно кавалерийская езда. Поскольку середина дороги, а местами дорога по всей ширине была настолько песчаной, что колеса погружались до самых осей, пан Юрковский ехал по краю, а там, где ров был мельче, то и рвом или съезжал прямо на поле. Лошади по-прежнему шли рысью. Люция изо всех сил держалась за металлические поручни. Павлицкий, подпрыгивая на ухабах, проклинал себе под нос эту дорогу. Они вздохнули с облегчением лишь тогда, когда дорога, наконец, пошла между двумя холмами. Здесь нужно было ехать очень медленно, даже темперамент кучера ничем не мог помочь. Такого пути было километра два. Пан Юрковский завязал с Люцией разговор, расспрашивая ее о больнице, о том, что заставило ее покинуть Варшаву, не собирается ли она туда возвращаться и, наконец, замужем ли она.

– Вы меня извините, что я так бесцеремонно обо всем спрашиваю, но я неотесанный простой мужик: что на уме, то и на языке. Не судите меня за это строго.

– Вовсе нет. Я не сужу вас строго, – вынуждена была улыбнуться Люция. Этот молодой человек показался ей очень симпатичным. Она чувствовала к нему искреннюю благодарность за его живое и сердечное участие в ее беде.

Люция старалась завязать разговор с Павлицким. Она дрожала при мысли, что Павлицкий, даже имея сыворотку, не преодолет своей неприязни к профессору и скажет, что ее у него нет. Нужно было добиться его расположения, а это оказалось сложной задачей: отвечал он односложно и неохотно.

Поскольку дипломатический подход не дал результатов, Люция решила поговорить с ним откровенно и прямо, не избегая щекотливой темы.

– Вы знаете, – обратилась она в какой-то момент, – мне кажется, что вы затаили обиду на профессора Вильчура. Это странно и непонятно для меня.

– Никакой обиды, – пожал плечами Павлицкий.

– Однако я не могу понять: за что? Поверьте мне, что профессор Вильчур всегда хорошо отзывался о вас. Вы даже не представляете, какой ангельской доброты этот человек.

– Я незнаком с ним близко, – буркнул Павлицкий.

– А почему? Или вы считаете, что это принесло бы вам какой-нибудь вред?

– Нет, наоборот, почет, – иронически склонил голову он. – Почет, которого я не заслужил. Люция сделала вид, что не уловила иронии в его голосе.

– В больнице у нас часто бывают пациенты, которые лечились у вас. И почти всегда профессор рекомендует им пользоваться теми средствами, которые были прописаны вами. Профессор считает вас очень хорошим врачом. Когда строили больницу, он сам говорил, что надеется, что и вы когда-нибудь заинтересуетесь ею.

– Считаю это излишним, – ответил Пав-лицкий. – Пан профессор и вы... мне кажется, этого достаточно. Впрочем, меня об этом никто не просил, а сам я не хочу быть навязчивым. Я не люблю, чтобы меня называли незванным гостем.

– Вы ошибаетесь! – живо запротестовала Люция. – Не только я, но и профессор с благодарностью бы встретил и принял ваше сотрудничество.

– Я позволю себе усомниться в этом, – заметил он холодно.

– Но почему?

Он повернулся к ней и посмотрел прямо в глаза.

– Вы хотите, чтобы я был откровенным?

– Очень прошу вас.

– Я действительно обижен как на профессора, так и на вас, обижен на вас обоих. Вы приехали сюда, где единственным врачом был я. Разумеется, я не хочу сравниваться с профессором: он – большой ученый, я – скромный сельский врач. Я даже с вами не хочу сравниваться, потому что, практикуя в столичных клиниках, вы имели возможность познакомиться с новейшими методами и средствами лечения. Но я был глубоко оскорблен вашим пренебрежительным отношением ко мне. Можно было пренебречь мной. Но ведь могли же вы быть настолько вежливы, чтобы не показывать этого!

– Побойтесь Бога! Это какое-то недоразумение! Каким образом мы оказывали вам свое пренебрежение, которого у нас нет по отношению к вам?

– Очень просто. Я не говорю о том, что вы могли бы мне нанести визит; для меня было бы достаточно и того, чтобы профессор прислал мне открытку с пожеланием его навестить. Нет, это было откровенное желание не иметь никаких контактов со мной. Ох, пани, у меня ведь есть свидетели того, как я ждал вашего приглашения. И это не кто иной, как пан Юрковский, с которым я говорил не раз; он может подтвердить.

– Истинная правда, – согласился пан Юрковский.

– Я ждал, терпеливо ждал, – продолжал Павлицкий. – Я думал, пока профессор живет на мельнице, он считает свое пребывание здесь неофициальным. А когда разошлась весть о строительстве больницы, я сказал жене: "Ну, сейчас, наверное, пригласят меня сотрудничать..." И это в вашем присутствии, пан Винценты, я говорил.

– В моем, в моем.

– Ну, и ждал, ждал целыми неделями. Наконец, слышу, что больница готова, должно состояться открытие. И вдруг получаю приглашение. Я искренне обрадовался, но смотрю на дату и вижу, что открытие назначено... что пан профессор сообразовал назначить его как раз на тот день, когда у меня начинался съезд в городе.

Люция взяла его за руку.

– Я даю вам слово, что профессор об этом ничего не знал...

– Мне хочется верить, – сказал он с горечью.

– Вы должны мне верить.

– Однако вся околица знала, что я уезжаю. И весть об этом должна была дойти до вас хотя бы потому, что я перед отъездом уведомил всех своих пациентов, что меня в Радолишках не будет целую неделю и что в это время за медицинской помощью они должны обращаться к профессору Вильчуру или к вам. Чтобы не быть голословным, я позволю себе привести вам аж шесть случаев, когда мои пациенты во время моего отсутствия в Радолишках обращались к вам за помощью: Ямелковский, винокур из Вицкун, жена...

– Действительно, было такое, – прервала его Люция. – Но мы думали, что вы умышленно уехали, демонстрируя свое нерасположение к нам.

Пан Юрковский повернулся на козлах и громко рассмеялся.

– Вот так история! Я всегда говорил, что все эти раздоры, штучки-дрючки основаны на недоразумении.

Он так хлопнул Павлицкого по плечу, что тот чуть было не упал на Люцию.

– Я вам сто раз советовал, доктор, наплевать на все, поехать к профессору и сказать: что было, то быльем поросло, согласие между нами – и конец. Я так делаю и, черт возьми, никогда еще ничего не потерял. Ну, а сейчас держитесь покрепче, потому что, наконец, можем снова прилично ехать.

Закончился песок, и лошади побежали рысью по ухабистой, но твердой дороге. Миновав поворот, они увидели светящиеся огоньки Радолишек.

В доме Павлицкого еще никто не спал. Доктор обменялся с женой лишь несколькими словами. Он взял в свой несесер все необходимое

и вернулся в бричку. Поскольку к мельнице вела хорошая дорога, через несколько минут они уже были на месте. Люция стала благодарить пана Юрковского, но тот рассмеялся.

– Я даже не собираюсь прощаться. Так легко вы от меня не отделаетесь. Во-первых, после всех ваших операций я должен отвезти доктора домой, а во-вторых, хочу воспользоваться случаем и нанести визит вам, а заодно познакомиться с профессором.

– С радостью, прошу вас.

Вопреки предположениям Люции, Вильчур уже знал, что укусившая его собака была бешеной. Полицейским удалось убить несчастное животное почти у самого пруда, куда собака побежала после кладбища. Профессор сам осмотрел ее и убедился в том, что это явное бешенство. Догадался он и о том, что Люция не возвращается так долго потому, что отправилась на поиски противостолбнячной сыворотки.

Павлицкого профессор принял приветливо, а узнав, что у него лишь случайно оказалась дома сыворотка, сердечно поблагодарил его за то, что тот лично согласился приехать.

После введения сыворотки, чем занялся Павлицкий вместе с Люцией, нужно было сменить повязку. Рана оказалась глубокой. Левая рука отекала до локтя, ладонь сильно вспухла, а два пальца не двигались. Не оставалось сомнения, что был поврежден нерв и несколько кровеносных сосудов.

– Так или иначе, – заключил Павлицкий, – вам придется ехать в город. Вы сами видите, что, кроме введения сыворотки, здесь может появиться необходимость хирургического вмешательства. Коллега Каньская – терапевт, а что касается моих хирургических способностей – он вынужденно усмехнулся, – вы уже давно составили мнение.

– Не держите на меня за это зла. У каждого из нас своя специальность. Я читал ваши рецепты и должен сказать вам, что высоко ценю ваши знания в области дозирования самых радикальных средств. Вы, несомненно, опытный терапевт.

Павлицкий слегка покраснел.

– Это для меня большая честь слышать из ваших уст слова признания, пан профессор.

Вильчур засмеялся.

– Перестаньте, дорогой коллега. А что касается признания, то у меня будет повод доказать вам это: я воспользуюсь вашим советом и завтра же поеду в город.

Люция пошла приготовить чай. Самовар был еще теплый. Нужно было только подсыпать углей и с помощью небольшого мешка раздуть их. Занимаясь этим, она почувствовала легкое головокружение. Удивленная, пощупала свой пульс: девяносто шесть ударов.

– У меня температура, – подумала она. Однако измерить ее у нее не было времени.

Вскоре после чая Павлицкий и Юрковский начали прощаться.

– Если вы позволите, – сказал Павлицкий, – то во время вашего отсутствия, пан профессор, я буду заглядывать сюда, чтобы помогать коллеге Каньской.

– Я буду вам весьма признателен. И не только во время моего отсутствия, но и всегда вам здесь будут рады.

– Может, таким образом я реабилитирую себя, – смеялся Павлицкий. – У меня ведь репутация завистника и скряги. Хочу доказать, что это не так. Поверьте мне, пан профессор, что у меня тоже достаточно бедных пациентов. Иначе и быть не может там, где столько бедноты.

Когда, наконец, они уехали, а Вильчур пошел отдыхать, Люция измерила температуру, которая поднялась уже за тридцать восемь. Переправа через болото не могла пройти бесследно. Но это не особо ее огорчило. Перед сном она приняла большую дозу аспирина и тотчас же уснула.

Наутро проснулась с температурой, но, несмотря на это, встала. В этот день ее ждали не только обычные пациенты; ей еще нужно было заняться самым важным – отправить Вильчура на станцию.

В семь часов утра крутобокий мерин Ванька был уже запряжен в бричку. Отвезти должна была Зоня, потому что ни один из мужчин не мог оторваться от работы на мельнице. Люция уложила чемодан Вильчура, который с перевязанной рукой все-таки принимал больных. Около восьми часов, после завтрака, он сел в бричку.

– Мне так жаль отправлять вас одного, – сказала Люция, – но я ведь не могу оставить всех этих больных без опеки.

Вильчур внимательно посмотрел на нее.

– Нет ли у вас температуры?

Она уверенно запротестовала.

– Нет-нет. Я просто взволнована после всего этого.

– Не расхворайтесь тут без меня по крайней мере, – говорил он, целуя ей руку.

– Я буду скучать, – произнесла она шепотом, чтобы этого не услышала Зоня. – Я умоляю вас, пишите, пожалуйста, мне.

– Хорошо, хорошо.

– Если не будет каждый день письма, то я не выдержу и приеду в город. Я думаю, что эта угроза достаточно убедительна, чтобы заставить вас писать.

Зоня, которая, сидя рядом с Вильчуrom, нетерпеливо крутилась, прервала их беседу.

– Ну, если еще останавливаться у доктора Павлицкого в Радолишках, то уже пора в дорогу.

– До свидания, – попрощался Вильчур. Бричка должна была еще остановиться возле мельницы, так как вся семья Прокопа Мельника во главе с ним самим вышла, чтобы попрощаться с профессором.

– С Богом, и прошу возвращаться здоровым. Вильчуру, естественно, хотелось зайти к Павлицкому, во-первых, затем, чтобы поблагодарить за вчерашнее внимание и нанести как бы ответный визит, а во-вторых, чтобы напомнить ему об обещании помочь Люции, которая это время будет завалена работой.

Павлицких он застал за завтраком. И только здесь в разговоре он узнал, что Люция добиралась в Ковалево через болото.

– От жителей Ковалева я знаю, что пройти через это болото почти невозможно, – сказал Павлицкий. – Вот и сегодня я получил доказательство этому, очень печальное доказательство.

Он сделал паузу и добавил:

– Панну Каньскую провожал молодой парень из Муховки, какой-то Сушкевич, который считался самым лучшим знатоком тех мест. Он провел ее благополучно, а сам возвращался домой той же дорогой. Возвращался, но до сих пор не вернулся. И уже никогда не вернется.

Глава 14

Люция не узнала о смерти Антония Сушкевича ни в тот день, ни на следующий. Во время перевязки в амбулатории у нее закружилась голова, но уже значительно сильнее. Она едва успела наложить пациенту на рану бинт и объяснить Донке, как сделать перевязку. Почти без сознания, опираясь о стены, она добралась до своей комнаты. Перепуганная, Донка побежала за Емелом, который, измерив потерявшей сознание Люции температуру, сам испугался, увидев, что ртуть на градуснике поднялась выше сорока. Он принялся за спасение, как умел.

Прежде всего он напоил Люцию отваром из тех трав, которые профессор давал больным для снижения температуры, потом велел Донке раздеть Люцию и уложить в постель. На этом его врачебные знания исчерпывались, поэтому он сел на кровать и стал отгонять мух. К счастью, пополудни приехал доктор Павлицкий. Емел вышел его встречать.

– Свалилось тут на нас, уважаемый эскулап, семь египетских казней: моего старого приятеля покусала собака, в аптечке исчерпался спирт, ну и панна Люция лежит в

бессознательном состоянии. Я назначил ей декокт из каких-то трав для снижения температуры, но все равно по-прежнему сорок. Посмотрите, пан доктор, что с ней. Я надеюсь, что ничего серьезного, кроме высокой температуры.

Доктор Павлицкий осмотрел больную и пришел к выводу, что температура поднялась в результате переохлаждения и нервного истощения.

– У панны Каньской здоровое сердце, – объяснил он Емелу, – поэтому, я надеюсь, не будет никаких серьезных осложнений. Через несколько дней она поправится, но я буду каждый день заглядывать к вам.

И он действительно сдержал свое обещание. Каждый день после обычного своего приема в Радолишках он приезжал в больницу, где не только интересовался состоянием здоровья Люции, но занимался также здешними пациентами.

Спустя пять дней Люция пришла в себя. Она хотела встать, но настолько ослабела, что не могла даже одеться. Удалось ей это сделать только на следующий день. Наступило воскресенье, и навестить ее приехал пан Юрковский.

Он уже знал от Павлицкого о болезни Люции и приехал с огромной охапкой цветов.

– Вы доставили себе много хлопот с этими цветами, – благодарила Люция. – Это очень мило с вашей стороны.

– Какое там мило! Это же, черт возьми, ваша болезнь – частично моя вина, а если не моя, то моих дедов и прадедов, что в Ковалево осели. Вы, вероятно, не знаете, что это проклятое болото принадлежит Ковалеву. Я уже не раз ломал себе голову над тем, как его осушить, привозил даже разных инженеров. Они ходили, крутили головами, мерили, а в результате фига с маком.

Он громко рассмеялся, с размаху хлопнул себя по коленям и добавил:

– По пятьсот злотых взяли и уехали к черту, а болото как было, так и осталось.

Он разговаривал очень громко, широко, раскатисто смеялся. Весь дом наполнился его баритоном. Когда он двигался по комнате, казалось, что все попереворачивает. В больнице от него стало тесно и шумно.

Поскольку приехал он прямо из Радолишек после обедни, а было обеденное время, Емел похлопотал, чтобы за столом хватило водки. Пан Юрковский оказался отличным компаньоном. Обед уже давно был съеден, а они оба еще сидели, попивая и разговаривая. Люция, чувствуя усталость, попрощалась с ними, чтобы пойти лечь. Едва она успела выйти, как пан Юрковский, наклонившись к Емелу, сказал шепотом, который хорошо можно было расслышать в радиусе двухсот метров вокруг дома:

– Вот это женщина! Что за необыкновенная женщина! На камнях такие должны рождаться. Емел серьезно кивнул головой.

– Я ничего не имею против такого способа рождения, драгоценный аграрий, хотя, по моему мнению, им бы хотелось рождаться на чем-нибудь более мягком.

Пан Юрковский заинтересовался:

– На более мягком?

– Си, синьоре. Ну, будем здоровы!

Они выпили, и пан Юрковский спросил по-деловому:

– А вы холостяк?

– Да, но не мальтийский.

– Вы знаете, а мне уже осточертела холостяцкая жизнь. Приближаюсь к сорока, время уже, самое время.

– А чего до сих пор не женились?

– Не было времени. Смех сказать, но это – чистая правда. Потому что так, дражайший: вначале война, а тогда не до таких вещей. Потом возвращаюсь в мое Ковалево, а тут как вымели: все сгорело до фундаментов, да и те тоже мужики разворовали; как говорится, не было за что рукой зацепиться. Ну, так как же жениться? Невозможно взять жену, посадить ее, мой дорогой, под грушей и сказать: садись, любимая, здесь и жди, пока я хату построю и кусок хлеба для тебя из земли добуду. Когда уже начал отстраивать хозяйство, так от зари дотемна был на ногах. И только все так-сяк устроил, а тут кризис. Я думаю про себя, что за черт? Люди все равно есть не перестанут. Земля свое дать должна. Но несколько лет не давала. Метр ржи или фунт пакли – одна цена. Сами знаете.

Емел поддакнул.

– Знаю, знаю. Правда, ржи не сеял, а вот плантация пакли была.

– Как это? – удивился пан Юрковский.

– Совершенно обычно. Пакля на черепе. Как видите, цинцинати, плантация не благоухает: слишком плохая кресценция.

– Ха-ха-ха! – сообразил пан Юрковский. – Значит, вы лысете? Ха-ха-ха! Ну и комик же вы! Что это я там говорил? Ага, так до женитьбы не доходило. По правде сказать, наша околица неурожайная на невест, а какие были, те уже давно повыходили замуж. Придешь к одному соседу, к другому – все женатые. У каждого в доме жена, дети...

– На камне рожденные, – прокомментировал Емел.

– На камне рожденные, – повторил по инерции пан Юрковский и, сообразив, что попался на невинную шутку приятеля, снова взорвался смехом. – Ну, вы настоящий варшавянин, языкастый. А вы никогда не были женаты?

– Никогда, – покачал головой Емел.

– И вам никогда не хотелось жениться?

– Ну, как же, двое парней тянули меня, чтобы я женился на их сестре.

Пан Юрковский понимающе прижмурил левый глаз.

Так они болтали почти до вечера, пока гость не начал собираться к отъезду. Поскольку он как-то нерешительно оглядывался, медлил с отъездом, покашливал, Емел предложил:

– А может, вы бы хотели попрощаться с панной Люцией?

– О, конечно, конечно, если она хорошо себя чувствует и не спит еще.

Люция не спала, но попрощалась с паном Юрковским через дверь, а после его отъезда сказала Емелу:

– Какой милый человек! В нем столько непосредственности и привлекательной простоты, которую дает искреннее и доброе сердце.

– Правда, – коварно согласился Емел, – а при этом красота, плечи Геркулеса, бицепсы титана, шея зубра, фантазия Кмитица! О-го-го! Бедный мой приятель, бедный мой приятель!

Люция удивленно смотрела на него.

– О ком вы говорите?

– О моем приятеле, о профессоре Вильчуре. Несчастный лечится там в городе и не догадывается, что Пенелопа забыла по ночам распускать сотканную днем материю, а, наоборот, по ночам она мечтает, но не о нем, несчастном Одиссее!..

Люция слегка покраснела и улыбнулась.

– Ну что за глупости вы говорите!

– О, горе, горе тебе, Одиссей! – плачущим голосом выводил Емел. – Воистину сообщаю тебе, что был ты в большей безопасности тогда, когда целая толпа поклонников покушалась на сердце твоей Пенелопы, чем сейчас, когда есть только один! Один, но какой! Фигура Завиши Черного, усики, черт возьми, Лешака Белого, ну и вообще. Он едет сейчас в свое Ковалево, коней кнутом погоняет, посвистывает от удовольствия, а вслед за ним бегут мысли и воздыхания прекрасной Дульсины Тобосской. Мчись, рыцарь!

Развеселившаяся Люция непринужденно смеялась.

– Плохой из вас пророк.

– Плохой?.. Хочу, чтобы мои предсказания были ошибочны!

– Уверю вас, что они не могут оправдаться, – убедительно сказала Люция.

– А мне казалось, что этот эгрикола покорило ваше сердце с первого взгляда.

– Он, действительно, покорило мое сердце, но не в том смысле, в котором вы думаете.

– А вы знаете, что он откровеннее всех на свете метит к вам в ухажеры? Это ухаживание в соответствии со всеми правилами сельских традиций.

Люция махнула рукой.

– Я совершенно убеждена в том, что и здесь вы ошибаетесь.

– Ручаюсь всем своим состоянием, – настаивал Емел. – И кто знает, не добьется ли своего? Кто знает? Терпением и трудом... Вот увидите, что он будет навещать нас все чаще! Емел не ошибался. Действительно, не проходило и дня без визита пана Юрковского. Он приезжал под разными предлогами: или потому, что ему было по дороге к кому-то из знакомых, или по той причине, что у него были дела в городке, или для того, чтобы привезти продукты, передаваемые его матерью в больницу. Эти предлоги не отличались

особой хитростью. Однако они не позволяли Люции поговорить, наконец, с ним начистоту. Даже тогда, когда у пана Юрковского не было уже искусственных поводов, он говорил открыто:

– У меня сейчас немного работы в хозяйстве, а человек за целый год так наработается, что заслуживает себе хоть маленький отдых. Когда бываешь у соседей, то говоришь все об одном и том же: о ежедневных делах, о хлебе, о коровах, о слугах. Так что вы меня извините, что я к вам заезжаю, но мне так приятно провести здесь часок-другой.

Часок-другой растягивался, правда, до нескольких часов. И снова у Люции не было возможности сказать ему, что хотя его визиты и доставляют ей удовольствие, тем не менее, не могут привести к тому, на что он надеется. Пан Юрковский в своих с ней разговорах ни разу не затронул этой щекотливой темы. Несмотря на свой темперамент и открытость, он не принадлежал, видимо, к людям беспардонным и предпочитал раньше разведать почву, чем подвергнуться досадному отказу.

Так обстояли дела, когда однажды под вечер без всякого предупреждения вернулся профессор Вильчур. Они как раз сидели за чаем, когда услышали шум подъезжающей телеги. Пока Емел успел выйти на крыльцо, в сени уже вошел Вильчур. Люция и пан Юрковский встретили его радостными возгласами.

При свете лампы он выглядел здоровым. Возможно, только немного похудел и побледнел, но это объяснялось исчезновением сельского загара. Лишь когда он сел к столу, Люция заметила, что левая рука профессора дрожала, причем постоянно, и эта дрожь усиливалась, когда он пытался удержать в ней вилку или ложку.

Слезы застилали глаза Люции. Чтобы их скрыть, она встала и вышла в свою комнату. Здесь ей не надо было сдерживаться, и она разрыдалась. Несомненно, и Емел, и пан Юрковский тоже заметили эту дрожащую руку, но только она понимала весь трагизм ситуации.

Вильчур как хирург больше не существовал. Те самые точные и верные руки, которым сотни и

тысячи пациентов доверяли свою жизнь, превратились в испорченный инструмент, в инструмент, которым нельзя пользоваться. С этого момента Вильчур уже не сможет самостоятельно провести ни одной серьезной операции. Правда, многие из них не требуют участия обеих рук и с помощью ассистента могут быть проведены, однако частичная потеря власти над своими руками будет для Вильчура страшным ударом.

Люция долго не могла прийти в себя. Как врач, она понимала, что эта дрожь может быть и временным явлением. Подобные явления удается вылечить с помощью облучения и электризации или процедур, которые здесь не проводились из-за отсутствия необходимой аппаратуры. Но, наверное, врачи не отпустили бы Вильчура, если бы считали, что они еще могут ему помочь, что это поддастся лечению. И сам бы он, несомненно, остался, чтобы только не потерять своих возможностей хирурга. Значит, состояние было безнадежным. Можно было догадываться, что зубы бешеной собаки повредили один из важных нервов и что этому уже нельзя помочь.

Когда она вернулась к столу, пан Юрковский уже начал прощаться. Вскоре и Емел пошел спать. Они остались одни. Вильчур с грустью улыбнулся.

– Вот видите?..

И он протянул ей дрожащую руку. В порыве нежности и сострадания она схватила ее и начала покрывать поцелуями. Как видно, и сам он был слишком взволнован, чтобы защититься от них.

– И представьте себе, панна Люция, – говорил он тихим голосом, – представьте себе, что нам не удалось найти повреждения какого-нибудь нерва, не нарушена ни одна мышца...

Пробовали мы там все. Были очень хорошие специалисты. Приговор сделан, да и я согласен с их диагнозом: этому уже нельзя помочь. Я заметил, что это в значительной степени зависит от душевного состояния. Чем больше я возбужден, взволнован, тем значительнее дрожь, а, например, ночью во время сна дрожь прекращается совсем.

Обеими руками Люция сжимала его ладонь, как бы пытаясь своей сердечностью успокоить эту дрожь.

– Я прошу вас, не печальтесь и помните, что я всегда буду рядом, ведь и раньше вы не все операции проводили сами. Во многих случаях достаточно было вашего диагноза и распоряжений.

Вильчур погладил ее по голове.

– Я знаю, знаю, милая панна Люция, что есть еще более тяжелые увечья, чем это. В конце концов, кто же больше меня должен быть привыкшим к разного рода увечьям... Будем как-нибудь справляться.

На следующий день утром приехал доктор Павлицкий, до которого уже дошла весть о возвращении Вильчура. Он был потрясен состоянием руки профессора и, как бы между прочим, сказал:

– Я не имел счастья слушать ваши лекции и пользоваться вашей клиникой, но сейчас я хочу воспользоваться вашим присутствием здесь для восполнения своих скудных знаний в области хирургии. Зная вашу доброту, я думаю, что вы не откажете мне в возможности практиковать под вашим наблюдением.

Вильчур серьезно посмотрел на него.

– Конечно, нет, коллега, я даже буду вам благодарен за это. Чаще всего наиболее серьезные операции мы проводим здесь утром. Заглядывайте к нам в это время.

– Я постараюсь не пропустить ни одной операции, – кивнул головой Павлицкий.

И действительно, почти ежедневно он приезжал в больницу и под руководством Вильчура или при его участии проводил операции... А поскольку в окрестности у него не было большой практики, он мог позволить себе работать здесь бесплатно. Благодаря женьбе он был хорошо обеспечен материально и не гонялся за доходами.

Кроме него, частым гостем больницы по-прежнему был пан Юрковский. Вильчур не мог не заметить, кто является главной целью его визитов. И хотя видел также, что Люция относится к молодому землевладельцу только с обычной симпатией, однажды спросил ее:

– Как вам нравится пан Юрковский?

Она удивленно посмотрела на него.

– А разве это может иметь какое-нибудь значение?

Вильчур несколько смутился.

– Да нет. Мне казалось, что он приезжает сюда исключительно ради вас.

Она пожала плечами.

– Возможно. Если вам это не нравится, нет ничего легче, как дать ему понять, что он бывает здесь слишком часто.

– Ну вот, вы опять! – возмутился профессор. – Это очень приятный человек. А кроме того, почему вы должны скучать? В вашем возрасте это слишком большая жертва – находиться в такой глуши вдали от всякого рода удовольствий и развлечений. Вам же нужно какое-нибудь общество.

Она нежно посмотрела на него.

– Вы же хорошо знаете, что я не тоскую по развлечениям и что вашего общества мне вполне достаточно.

Произнося эти слова, она не была вполне искренней, потому что в ее жизни бывали такие минуты, когда ей было немного грустно, хотя она, может быть, сама этого не осознавала. Тогда, если не приезжал пан Павлицкий или Юрковский, она садилась писать письма, и эти письма становились длиннее, чем обычно. Впрочем, у нее были поводы заниматься более обширной корреспонденцией: Кольский писал почти ежедневно, а тон его писем становился все печальнее. Нетрудно было догадаться, что он находится в состоянии депрессии, и Люция считала своим долгом утешить его и ободрить.

Несмотря на симпатию, которую питала Люция к пану Юрковскому, после разговора с Вильчуром она решила объясниться с молодым помещиком и откровенно дать ему понять, что его визиты в больницу не могут иметь тех последствий, на которые он надеется.

Случай, однако, распорядился иначе.

Однажды в полдень Юрковский приехал вместе со своей сестрой, уже немолодой панной приятной внешности, но болезненного вида. Она приехала с приглашением в Ковалево по случаю ее именин. Они устраивали бал, и старая пани Юрковская настоятельно приглашала Вильчура и Люцию. Профессор, услышав об этом, искренне рассмеялся:

– Но, дорогие! Бал и я! С незапамятных времен я не был на балу, а последний раз танцевал в студенческие годы. В каком же качестве я пригожусь вам?!

– Не отказывайте нам, – робко начала панна Юрковская. – Ведь на балу будет много гостей вашего возраста и нетанцующих. А мама очень просила... Ей бы очень хотелось познакомиться с вами. Она столько о вас слышала и от брата, и от других людей.

– Да у меня же и фрака нет, – защищался он.

Оказалось, что и это не препятствие, так как в округе редко кто пользуется таким парадным костюмом на приемах у соседей.

Вильчур смотрел на Люцию, как бы ожидая от нее защиты, поддержки, но совершенно неожиданно Люция присоединилась к атакующим.

– Если на самом деле одежда для бала необязательна, то мы могли бы воспользоваться приглашением.

Она улыбнулась, глядя на панну Юрковскую, и добавила:

– Я тоже очень давно не танцевала, но очень люблю.

– Тогда не о чем говорить, – пан Юрковский с размаху хлопнул себя по коленям. – Значит, в субботу в шесть часов присылаю за вами лошадей, и дело сделано!

Вильчур недолго сопротивлялся. В сущности, он не имел права отказать Люции в удовольствии потанцевать, он ведь понимал, что без него она бы не поехала. О том, что этот выезд был для нее не просто удовольствием, он убедился уже на следующий день, когда застал ее за распарыванием какого-то платья. Оказалось, что с помощью Донки она собралась переделать свое выходное платье на что-нибудь напоминающее туалет для бала. Она была настолько поглощена этим занятием, что не сразу заметила входящего Вильчура.

– Мне кажется, что если вырезать здесь сантиметра три, – увлеченно говорила она Донке, – а здесь присборить, то складки хорошо уложатся... Она задрапировала на себе платье, приложив его к бедрам и плечам.

– Замечательно укладываются, – с улыбкой заметил Вильчур.

– Действительно так будет хорошо? – спросила она серьезно.

– Дорогая моя, если бы я хоть чуточку в этом разбирался.

Донка опустила перед Люцией на колени и, оттягивая вниз платье, сказала:

– Если выпустить здесь сантиметра два, то и длина будет подходящей.

Вильчур кашлянул.

– Хм, когда вы здесь закончите, то сообщите мне, пожалуйста.

– Хорошо, хорошо, – рассеянно ответила Люция, – уже заканчиваем.

Вильчур вышел и сел на крыльцо рядом с Емелом, который занимался закруткой папирос. Раньше Емел никогда этого не делал. Вильчур привык заготавливать папиросы себе сам, а Емел забирал из его коробки столько, сколько ему было нужно. Но после возвращения из больницы оказалось, что даже с этой простой операцией дрожащая рука профессора справиться не может. Однажды Емел заметил это и с того момента, не сказав ни слова, принял на себя эти функции.

Раньше, видя профессора приготавливающим папиросы, он как-то сказал:

– Вот маленькая деталь, характеризующая человека: мысль о будущем, забота хоть о ближайшем, но все-таки о будущем.

– Ты находишь в этом что-то плохое? – спросил Вильчур.

– Натурально, сир. Может ли быть голова постоянно забита будущим? Разве ты не видишь катастрофических результатов такого состояния?

– Признаться, не вижу, приятель.

– Потому что не умеешь смотреть на вещи философски, далинг. Ну, задумайся: люди постоянно беспокоятся о будущем, каждый день о завтрашнем дне и только о завтрашнем. Поэтому они не замечают такой мелочи, как день настоящий. Не замечают настоящего и снова живут завтрашним, а когда этот завтрашний день становится действительностью, когда часы отмерят соответствующее количество часов и перенесут их в то завтра, уже не обращают на него никакого внимания, потому что, как безумные, всматриваются в следующее завтра. Рядом свершаются события, меняются времена, что-то происходит, а они этого не видят, не могут сконцентрировать на этом свое внимание, потому что все их внимание сконцентрировано на будущем. Если бы я писал монографию о нашем времени, то озаглавил бы ее так: "Люди без настоящего". И только находясь на ложе смерти, когда из уст врача человек слышит, что для него уже нет никакого завтра, только тогда он постигает свое сегодня, но, к сожалению, это сегодня не очень привлекательно. И вот таким хэппи

эндом заканчивается длинная картина жизни двуногого существа, лишённого оперенья, но обременённого причудой гнаться за завтрашним днем. Не считаешь ли ты, маэстро, что в этом заключена парадоксальная расточительность?.. Не кажется ли тебе, что в этой системе существования на непоколебимом фундаменте почивает кретинизм? Если заявишь, что эта система является совершенным наркотическим средством против сознания протухшей скуки сегодняшнего дня, я скажу тебе, что отмечаю в этом глубокую мораль. Не напрасно врачи на протяжении долгих лет отрицательно относятся к использованию наркотических средств при родах. Какой-то смысл должен быть в этом. Почему тогда человек, рождая свое настоящее, должен быть одурманен лихорадочной мыслью о будущем? Нельзя быть мудрецом, не зная настоящего, не видя его и себя в нем. Теперь ты уже знаешь, почему я мудрец.

Застав сейчас Емела за приготовлением папирос, Вильчур заметил с улыбкой:

– Хо-хо, приятель, куда же девалась твоя мудрость, твое пренебрежение к "системе завтра"? Не прерывая своего занятия, Емел ответил:

– Мою мудрость обнаружишь в ясном взгляде моих прекрасных глаз, а пренебрежение – в искривлении моих златоустых губ. Но если ты думаешь, что у меня поменялось мнение, то глубоко ошибаешься. Просто я заметил, что в последнее время ты как-то небрежно пригатавливаешь папиросы, а поскольку я люблю курить плотные, я пошел на незначительный компромисс с превратностями жизни и сделал им маленькую уступку.

Вильчур посмотрел на свою дрожащую руку.

– Да... Небрежно... Ты прав, приятель. Постепенно человек становится совсем никудышным.

Емел чуть-чуть пожал плечами.

– И какой же отсюда вывод?

– Грустный.

– Я не разделяю такого мнения и могу смело заявить, что возражаю полностью и с самым глубоким убеждением.

– Каким же софизмом ты опять угостишь меня? – Вильчур вяло усмехнулся. – Ты же не станешь доказывать мне, что потеря руки или ноги, слуха или зрения становится радостным событием?

Емел аккуратно укладывал готовые папиросы в коробку.

– Радостное – это неточное выражение. Точнее будет сказать – полезное.

– В чем же его польза?

– В постепенности. Разумная природа придумала неплохое правило отучивания живущих существ от жизни. Как же проще можно было организовать это, чем ограничивая постепенно контакты человека с окружающим миром? Чаще всего смерть приходит, когда уже жизнь стоит немногого. Ревматизм сделал руки неловкими, подагра исключила ноги, скажем так, из оборота, желудок не принимает никаких вкусных вещей и не усваивает ничего, кроме омерзительной каши, почки не хотят пропустить даже самой маленькой рюмки "выборовой", сердце не позволяет принять участие в конкурсных забегах, уши не слышат пенья соловья и журчания ручья, нос не отличает запаха старой трубки от запаха ландыша, глаза не замечают очарования прелестной женщины, а если бы и заметили, то все равно организм бы уже ничего не получил, потому что все остальное уже давно на пенсии... Все это прекрасно и логично скомпоновано. Человек постепенно становится изолированным от этого мира. У него работает только мозг, который, разумеется, должен чем-то утешиться. И тогда он утешается тем, что есть иной мир, где можно вполне существовать, не пользуясь такими инструментами, как конечности, желудок, орган обоняния и тому подобное. Я бы даже сказал, что очень любезно со стороны природы создать такой плавный переход от жизни к смерти. Старость со всеми ее недомоганиями является благом человека.

Вильчур нахмурил брови.

– С определенной точки зрения я могу согласиться с тобой. Но эти увечья и недомогания, о которых ты говорил, не всегда являются уделом стариков. Они часто обрушиваются на людей, которые находятся, по всеобщему признанию, в возрасте, называемом молодостью или юностью.

Емел закурил и, смакуя запах дыма, отрицательно покачал головой.

– Я не принимаю во внимание возрастной фактор. Он для меня не существует. Вильчур засмеялся.

– Мне ничего иного не остается, приятель, как признать, что и здесь ты оригинален, потому что ты единственное исключение на свете, кто не принимает во внимание возраст.

– Я могу быть единственным, но разве это как-то опровергает правильность моих утверждений или логику? Возраст – это фактор времени и только времени.

– Ты глубоко ошибаешься. Во-первых, это не только дело времени, но и индивидуального развития в этом времени, вопрос внутренних и внешних достижений, вопрос духовной и умственной зрелости, вопрос общественного положения. Переходя от абстракции к реальности, возьмем близкий и очевидный пример – меня. По крайней мере, я не чувствую себя дряхлым и считаю, что мог бы быть гораздо более пригодным, если бы не повреждение руки, не это увечье. А во-вторых, ты ошибаешься, считая, что человека следует отучать от жизни, прерывая постепенно контакты с ней. Здесь психическое состояние, душевное играет большее значение, чем физические недомогания. Какие-нибудь незначительные осложнения вызывают порой полную апатию к жизни и равнодушие к смерти. Трехдневные мучительные боли у молодого и здорового человека могут вызвать такую реакцию, что он возненавидит жизнь и будет близок к самоубийству. А были у меня и

такие пациенты, которые после ампутации обеих рук и ног не переставали самым активным образом интересоваться всем, что их окружает.

Емел поднялся.

– Извини, император. Я лишаю себя права продолжать этот диспут, но сделаю это в другой раз. Сейчас, к сожалению, не могу уделить тебе внимание, так как приближается время моего ежедневного похода в Радолишки. А ты тем временем застрахуй свою аргументацию в каком-нибудь страховом обществе. Заработаешь на этом, так как тебе выплатят весьма солидную компенсацию. Ее разгромят так, что камня на камне не останется.

Он поднял над головой шляпу и затянул охрипшим голосом:

– Камень на камне, на камне камень, а на том камне еще один камень.

Он удалялся, напевая, а Вильчур с улыбкой наблюдал за ним. Он совершенно точно знал, что Емел ускорил свою прогулку в пивную только потому, что не мог найти контраргументов, а вообще не любил в дискуссии соглашаться с чьим-нибудь мнением. Когда Вильчур заглянул к Люции, он застал ее за шитьем. Степень заинтересованности Люции ожидаемым балом оказалась для него неожиданностью. Как ему помнилось, в Варшаве Люция довольно редко бывала на балах или танцах, не увлекалась даже такими развлечениями, как театр и кино. Вильчур казалась это вполне естественным, так как соответствовало его собственным интересам. Он считал Люцию очень серьезной девушкой, которая не напрасно посвятила себя такой ответственной и достойной работе, как работа врача.

Сейчас он был поражен переменной в ней, потому что усматривал неожиданное желание потанцевать. Еще несколько дней назад он бы смеялся, если бы ему сказали, что Люция может уделить столько внимания таким смешным мелочам, как переделка платья.

Его ждал еще один сюрприз. Как раз в субботу, несмотря на то, что в амбулатории еще шесть человек ждали перевязки, Люция, проинструктировав Донку, сама отправилась в Радолишки. Когда часа через два она вернулась и он поинтересовался, что случилось, она ответила так, точно это было обычным делом:

– Сегодня ведь этот бал в Ковалеве, и я должна была пойти к парикмахеру, чтобы сделать прическу.

Только сейчас он заметил на ее голове какие-то удивительные локоны и кудряшки. Ей это было к лицу. Но он не нашелся, что сказать, кроме как:

– Ну, конечно, конечно.

Во время обеда он заметил, что ее ногти покрыты розовым лаком. Все это было для него необычно.

– Это не должно меня удивлять, – убеждал он себя. – Она молода, а мы ведем такой серый, бесцветный образ жизни. Этот бал для нее настоящее событие.

Люция, однако, думала не только о себе и о том, как она будет выглядеть. Он убедился в этом, когда, разыскивая в шкафу свой черный костюм, не нашел его, а, оглядевшись, обнаружил его висевшим на стуле, вычищенным и выглаженным.

В шесть часов за ними приехали.

Садясь рядом с Люцией в бричке, Вильчур почувствовал запах духов. Это совсем обескуражило его, и, чтобы скрыть свое смущение, он начал подробно рассказывать ей о какой-то сложной операции двенадцатиперстной кишки, о которой прочел в свежем номере медицинского ежемесячника. Эта тема обсуждалась ими всю дорогу.

Балы в Ковалеве, как и во всех других усадьбах в этих краях, значительно отличаются от подобных вечеров в Варшаве. Отличаются они прежде всего тем, что приглашенные гости не считают для себя почетным приехать как можно позднее, а приезжают в назначенное время или даже раньше. Поэтому, когда Люция с Вильчуром высаживались у крыльца в Ковалеве, в доме уже было многолюдно и шумно. Встречать их выбежал молодой хозяин, а за ним семенила его мать. На крыльце появилось еще несколько человек. Всем хотелось увидеть, кто приехал.

Приглашенных было много, но Вильчур и Люция знали среди них только нескольких человек. Кроме Павлицкого и ксендза, здесь были преимущественно помещики из ближних и дальних околиц, их жены, сестры, дочери и матери. Сюда не дошел еще модный обычай омолаживания, и матери, естественно, выглядели как матери, жены как жены, а дочери как дочери. Матери обосновались на диванах, жены собрались в боковом зале, рьяно обсуждая хозяйственные дела, панны стояли группками, перешептываясь, смеясь и посматривая в столовую, где для мужчин подали спиртное и закуски.

Мужчины стояли у стола. Разговор был общим. Наступил охотничий сезон, и это занимало внимание всех: как старых, так и молодых, как опытных охотников, так и начинающих.

Тем временем в гостиной послышались первые звуки настраиваемых инструментов.

Привезенный из Радолишек оркестр был немногочисленным – состоял всего из трех человек: пианиста, скрипача и гармониста, – но зато проверенным и пользовался в округе популярностью.

Постепенно молодые люди выходили из столовой, и пан Юрковский представлял их Люции и Вильчур. О профессоре и Люции все уже давно слышали, и поэтому, а главным образом благодаря обаянию Люции вскоре вокруг них собралось много молодежи. Сразу же со звуками первого вальса Люцию пригласили на танец. Павлицкий пригласил панну Юрковскую, и вскоре гостиная заполнилась танцующими парами. Закуска, а точнее, выпитые наливки благоприятно подействовали на настроение мужчин и возбудили желание кружиться под звуки музыки. Для женщин и этого стимула не нужно было, потому что сам танец был уже для них стимулом.

Люция выглядела привлекательно. Об этом ей говорило не только зеркало, в которое она посматривала после каждого круга в гостиной, но также и взгляды всех мужчин. Здесь были женщины и моложе ее, и лучше одетые, но она пользовалась наибольшим успехом. Оркестр играл без усталости, почти не делая перерывов, а поскольку кавалеров было больше, чем дам, Люция только на короткое время присаживалась, чтобы отдохнуть, и снова кто-нибудь уводил ее танцевать.

В соседних комнатах старшее поколение засело за игру в бридж. Вильчур, который не любил да и не умел играть в карты, стоял на пороге гостиной, разговаривая с хозяйкой дома. Насколько это было возможно, он наблюдал за Люцией и не мог избавиться от странного чувства, что она вдруг стала для него чужой и далекой. Ему казалось, что этот блеск в ее глазах, живой румянец, эта кокетливая улыбка – все это что-то искусственное и как бы неприличное. Это бессмысленное кружение в замкнутом пространстве, в толпе танцующих, виляние бедрами, почти кокетливые поклоны никак не сочетались с ее серьезностью, с ее внутренним достоинством, которое он так высоко ценил. Нет, это была не Люция.

Никакие доводы не помогали. Напрасно он убеждал себя, что все в порядке, что все именно так и должно быть, что Люция – молодая девушка, а танцы испокон веков были привилегией молодых девушек, что это скорее характеризует ее с хорошей стороны: умеет активно и серьезно работать, глубоко и ответственно относиться к делам и своим обязанностям и в то же время умеет быть веселой и непринужденной, отдыхать так, как

отдыхают другие женщины в ее возрасте. Все это было правильно и убедительно. Однако насколько умом он соглашался с этим, настолько в самых дальних уголках души сильнее противился этому.

Вот Люция в объятиях своего партнера прошла в ритме танго рядом с Вильчуром и тепло и сердечно улыбнулась ему. Он тоже ответил ей улыбкой, но тотчас же отвернулся. Она заметила это и, как только оркестр умолк, подошла к нему.

– Как здесь приятно, правда? – спросила она.

– О да, – ответил он неубедительно.

– Оркестр, может быть, не лучший с профессиональной точки зрения, но для танца одного ритма достаточно. И некоторые из этих мужчин действительно хорошо танцуют.

Вильчур ничего не ответил, и она удивленно посмотрела на него.

– Вы, кажется, чем-то недовольны? Что-то не так?

– Я? Ну, что вы.

– Вы скучаете?

– Опять вы...

– Мне очень жаль. Я уговорила вас, дорогой профессор, поехать на этот бал. Какая же я эгоистка!..

Сразу погрузневшая, она быстро добавила:

– До ужина неудобно уезжать, но сразу же после него мы вернемся домой.

Вильчур был тронут ее готовностью.

– Ни за что на свете, панна Люция.

– Но ведь вам здесь совсем неинтересно!

Он с улыбкой развел руками.

– Ну, это уже моя собственная вина. Если я не танцую, то следовало хотя бы научиться играть в бридж или заинтересоваться охотой. Но пусть вас это не смущает. Должны же вы, наконец, развлечься за все время, потому что, если...

Он не успел закончить фразу, как заиграл оркестр и перед Люцией склонился новый кавалер.

– Позвольте пригласить вас на фокстрот!

– С удовольствием, – ответила Люция и только сейчас поняла, что Вильчур не закончил свою мысль, но было уже поздно. Она кивнула ему головой и сразу же оказалась в объятиях высокого bruneta с мечтательными глазами. Они были знакомы только внешне. Она знала, что он помещик где-то в северной части района, фамилия его Никорович. Она встречала его несколько раз в Радолишках.

Никорович тоже помнил ее. Он сказал:

– Я вижу вас уже в третий раз. Возможно, вы не обратили на меня внимания. Не у всех же такое счастье, как у Вицека Юрковского...

– В чем же это счастье выражается? – спросила она, развеселившись.

– О, если бы я мог вам это точно сказать, но Вицек – это такая скрытная бестия, что только побрякивает и ворчит себе что-то под нос. Однако я знаю, что он видит вас очень часто. А разве это не является счастьем?

– Вы, пожалуйста, не смейтесь надо мной, – рассмеялась она. – Действительно, пан Винценты довольно часто заглядывает к нам в больницу, но такое "счастье" доступно каждому, у кого несварение или поврежден палец.

Кавалер вздохнул.

– Ну, в таком случае я постараюсь за ужином заполучить несварение, а если не повезет, то завтра отрежу себе палец.

– Я вижу, что вы способны на жертвы, – засмеялась она.

– О да, на любые. Но я повторяю, что у Вицека особое счастье, потому что отсутствием аппетита он никогда не страдал, не заметил я у него и отсутствия пальцев, однако он бывает у вас часто. Вы не могли бы мне подсказать, каким образом я мог бы добиться такой привилегии?

– Это никакая не привилегия. Мне будет приятно, если вы когда-нибудь навестите нас в больнице.

– Спасибо вам. Я определенно воспользуюсь вашим приглашением в самое ближайшее время.

С минуту они танцевали молча, а потом Никорович спросил внешне безразличным тоном:

– Как вам нравится Ковалева?

– Здесь очень красиво и приятно.

– А все, чего здесь не хватает, будет вскоре восполнено.

– О чем вы говорите? – она с интересом посмотрела на него.

Поколебавшись, он ответил:

– Я как раз говорю об одном недостатке, только об одном: у Вицека нет жены, а в Ковалева – хозяйки.

Она догадалась, к чему клонит Никорович, и сказала:

– В Ковалева даже две хозяйки. Не слышала я и о том, что пан Юрковский собирается жениться. Мне он об этом не говорил.

– Ах, так? – удивился Никорович. – Значит, еще не объяснялся с вами?

Поскольку Люция нахмурила брови, он поспешил добавить:

– Я прошу меня извинить, что вмешиваюсь в чужие дела. Будьте так любезны, извините меня, но я считал, что это уже не тайна. Во всем районе говорят о том, что Вицек добивается вашей руки.

– Это ошибка, – резко произнесла она. – Я уверяю вас, что в этом нет и доли правды.

– Однако... – начал Никорович.

Она прервала его:

– Пан Юрковский – знакомый профессора и мой, и мне очень жаль, что его визиты в больницу могут так неправильно комментироваться.

Этот разговор возмутил Люцию. Она даже не предполагала, что визиты Юрковского в больницу вызывали такой интерес у людей. Только сейчас по чужим взглядам, отдельным высказываниям и отношению к себе она могла сделать вывод, что здесь ее считают уже почти невестой хозяина. Она долго колебалась перед выбором способа опровержения этих нелепых предположений. Наконец решила поговорить с Юрковским откровенно.

Вскоре такая возможность представилась: он пригласил ее танцевать. Люция понимала, что их могли услышать танцующие рядом и из обрывков услышанных фраз догадаться, о чем идет речь, поэтому, только когда танец уже закончился, предложила:

– Мне бы хотелось поговорить с вами.

– Конечно, с большим удовольствием, тем более, панна Люция, что я тоже хотел попросить вас об этом.

Он проводил ее через сени и комнату, где играли в бридж, в свою канцелярию. Там никого не было.

– Я узнала сегодня, пан Юрковский, – начала она по-деловому, садясь в предложенное ей кресло, – что в округе ходят нелепые слухи о том, якобы мы с вами собираемся пожениться.

Он посмотрел на нее с беспокойством и спросил:

– Почему эти слухи вы считаете нелепыми?

– Попросту потому, что они основаны на чьем-то вымысле, на абсурдном вымысле.

– Если даже на вымысле, то я, по крайней мере, не вижу его абсурдности.

– Абсурд заключается в том, что как вы, так и я прекрасно понимаем, что не подходим друг другу.

– Я вовсе так не считаю, – ответил он, нахмурившись.

– Вы так не считаете... – повторила она. – Во-первых, вы занимаетесь землей, и вам нужна жена, которая бы вела хозяйство, дом, а я врач. Как вам известно, я приехала, чтобы работать по специальности. Я совершенно не разбираюсь в хозяйстве и считала бы, что растрчиваю свои способности, свою специальную подготовку, если бы бросила врачебную практику. Эта работа – мое призвание, и я никогда не откажусь от нее.

Какое-то время он молчал, а потом обратился почти возмущенно:

– А кто это вам сказал, что я бы требовал от вас каких-то жертв? Кто вам сказал, что я бы осмелился навязывать вам хозяйство в Ковалева?.. Я ничего больше не хочу, кроме того, чтобы вы стали моей женой, и не собираюсь вам ни в чем отказывать. Вы сможете делать то, что вам захочется. Если пожелаете, то я выстрою в Ковалева для вас больницу, еще большую, чем та. Вы говорите, что мы не подходим друг другу. Это неправда, потому что как только я увидел вас, то сразу понял, что мне никто не нужен, кроме вас. Конечно, может, я не стою такой жены, как вы, я понимаю это, но я также знаю, что смогу быть

хорошим мужем, что вы не ошибетесь во мне. Потому что если я говорю, что люблю вас, так значит в этом нет ни капельки обмана. Я умышленно не спешил объясняться, потому что хотел, чтобы вы могли меня узнать и составить обо мне мнение. Что же касается хозяйства, так еще, слава Богу, жива мама, и она занимается им. Сестра уже, наверное, не выйдет замуж, потому что и желания у нее нет. Словом, о хозяйстве нечего беспокоиться. Так, панна Люция, я спрашиваю вас, где тут абсурд? В чем тут нелепость? Вы не бойтесь, я уже не мальчишка, и, прежде чем обратиться к вам, я все передумал и все взвесил.

Люция отрицательно покачала головой.

– Не все. Мне очень жаль, что я должна вам это сказать, но вы не приняли во внимание моих чувств и моих намерений. Я не согласна с тем, что вы говорили о себе. Я не верю в то, что я могла бы быть для вас подходящей женой. А во-вторых, я не могла бы стать ею еще и потому, что я несвободна, у меня определенные обязательства...

– И вы не можете от них отказаться?

– Я не хочу отказываться от этих обязательств.

Он понурил голову.

– Это значит, что вы кого-то любите?

– Да, – кратко ответила она.

Какое-то время он молчал, а потом сказал, пытаясь улыбнуться:

– Вот уж, действительно, попался... Но кто же мог знать?.. Как я мог предположить?.. Я не слышал, чтобы здесь, в наших краях, кто-нибудь сватался к вам, а Варшаву вы бы не покинули, если бы там... Извините меня. Я никогда бы не осмелился предлагать вам... если бы не уверенность, что вы свободны. Я очень прошу вас извинить меня.

В выражении его лица была искренняя озабоченность и печаль. После долгого молчания он вдруг посмотрел на нее с недоверием.

– А может, – начал он, – вы таким образом хотите подсластить мою горькую пилюлю? Мне было бы действительно очень обидно, если бы вы за мою искренность и мои чувства отплатили такой отговоркой. Я действительно не слышал, чтобы кто-нибудь в наших краях добивался вашей руки. А у нас здесь долго сохранить тайну невозможно. Так скажите мне откровенно и просто: "Ты мне не нравишься, буду искать более подходящего".

Люция покачала головой.

– Ваши предположения необоснованны. Я сказала вам правду. Я действительно люблю другого человека и стану его женой.

Он снова замолчал и стоял перед ней, не поднимая головы.

– А вы... вы могли бы сказать, кто он?

– Я не думаю, что в этом есть необходимость, – холодно ответила она.

– Ну, если это тайна... – с иронией заметил он.

– Вовсе нет, но я не собираюсь докладывать, потому что это мое личное дело.

– Вы считаете меня сплетником? Это интересует меня и только меня.

– Хорошо, я могу вам сказать: я говорила о профессоре Вильчуре.

Его глаза широко раскрылись.

– Как это?..

Люция встала.

– Еще секунду, – задержал он ее. – Вы хотите сказать, что любите профессора и что станете его женой?

– Да. И я прошу вас на этом закончить нашу беседу.

Когда они вернулись в гостиную, как раз приглашали к столу. В столовой и соседней комнате стало шумно. Ужин, как правило, в этих краях был очень обильным. Однако сидящий рядом с Люцией хозяин почти ни к чему не притронулся, зато много пил и продолжал оставаться хмурым. Это было, конечно, замечено, так как женщины все время с интересом посматривали в его сторону, переводя взгляды с него на Люцию и догадываясь, что между ними что-то произошло. Люция, стараясь спасти положение, оставалась веселой и оживленной, разговаривая с другим своим соседом.

После ужина она снова спросила Вильчура, не лучше ли им поехать домой. Сейчас уже она сама этого искренне хотела, но Вильчур, усматривая по-прежнему в ее готовности пожертвование, самым категорическим образом отказался.

– Я познакомился здесь с двумя очень интересными людьми и с ними мне приятно беседовать, – уверял он, – а завтра воскресенье, так что мы можем позволить себе развлечься еще пару часов.

Снова зазвучала музыка, и снова Люция танцевала без устали. Вильчур в поисках своих новых интересных собеседников заглянул в столовую, где слуги убирали столы. В конце одного из столов одиноко сидел пан Юрковский и пил водку. Вильчуру показалось, что Юрковский его не узнал, потому что измерил его почти ненавидящим взглядом. Должно быть, он уже был изрядно пьян, ведь всегда он относился к Вильчуру вполне доброжелательно.

Вскоре после этого они снова встретились в малой гостиной. В это время в гостиной известный танцор пан Скирвены демонстрировал свою несравненную мазурку, так что в малой гостиной было пусто.

– А, пан профессор, как хорошо, что я вас вижу, – обратился к нему Юрковский. – Я хотел вам рассказать одну забавную историю.

Выглядел он трезвым, но язык его слегка заплетался, что свидетельствовало о сверх меры выпитом алкоголе.

Вильчур понимающе улыбнулся.

– Я выслушаю ее с удовольствием, хотя, надо признаться, я не отношу себя к знатокам юмора.

Юрковский поднял палец вверх.

– О, этот юмор, уважаемый профессор, вы поймете без труда, просто можно от смеха надорваться. Ну, я вам говорю, дорогой профессор, можно со смеху покатиться.

Вильчур проявил заинтересованность.

– Слушаю, слушаю.

– Так вот представьте себе, есть тут у меня приказчик, приличный мужик. Давно у меня служит и у отца моего еще служил. Лет сорок он уже у нас. Детей вырастил, внуков дождался. А года три назад овдовел. Понимаете? Овдовел.

– Понимаю, – спокойно подтвердил Вильчур.

– И вы знаете, пан профессор, все было в порядке, но в прошлом году дьявол его попутал. Приходит он ко мне, целует мне руку и говорит, что хочет жениться. Вы представляете, хочет жениться! Одурел ты что ли, зачем тебе жениться?.. Ты же с дочерью живешь, женщина тебе не нужна, хрыч ты старый. На ком же ты хочешь жениться?.. А он отвечает, что на Малгосе Лявоньчук. А Лявоньчук, надо вам сказать, профессор, бедняк из бедняков. Десятины две или три земли и полная хата детей, с голоду умирают. А эта Малгоська была ничего себе девушка; иногда мать брала ее на работу в огород, так я заметил, что она симпатичная, только заморенная, худая... Ну, поженились. Я дал им корову и думаю себе: что же из этого будет?.. И недолго пришлось мне ждать. Вижу в усадьбе хлопцы и девчата все смеются и смеются, пальцами на приказчика показывают. Наконец он сам ко мне приходит, просит, чтобы я его ночным сторожем сделал. Начал я его о причинах спрашивать, а он мне в ноги, мол, нету больше сил, говорит, если милостивый пан меня не спасет, то и не знаю, что будет. Начал допытываться. А оказывается, что его жена, как только отъелась, пошла гулять направо и налево с хлопцами. Он в поле, а она к хлопцам. А вы знаете, профессор, что я ему на это ответил?

– Откуда же я могу знать? – Вильчур пожал плечами.

– А я ему ответил: "Так и все в порядке, дурень ты эдакий! А ты что думал, что молодой женщине жить не хочется? Что она на тебя, старый гриб, будет смотреть и из-за тебя белого света не видеть? Хотел жениться, нужно было на старой бабе, такой, как ты, жениться, а не на молодой девице. Закон есть такой на свете: молодой к молодому тянется. Ну, так вот, был дурнем, так и терпи..." Я ему так сказал. Ха...ха...ха...

Он схватил профессора за пуговицу и, приблизившись к его лицу, настойчиво спрашивал:

– Прав я был или нет?.. Ну, что, профессор? Прав я был или нет?..

Вильчур побледнел. Уже в середине рассказа пана Юрковского он понял намек. В первую минуту он почувствовал боль, потом ему стало стыдно за человека, который в собственном доме позволяет себе подобные оскорбления гостя. Сейчас он сориентировался, что и излишне выпитое количество алкоголя, и эта зацепка должны были иметь какую-то серьезную причину. Вероятнее всего, Юрковский объяснился с Люцией и, получив отказ,

пришел в состояние, которое толкнуло его на этот поступок, не соответствующий не только гостеприимству, но даже простой порядочности.

– Ну, профессор, я могу биться об заклад на двух лошадях с бричкой за то, что у вас такое же мнение. Не так ли? Вы же все-таки врач и понимаете, чего организм требует, когда он молодой, а чего не может дать, когда уже старый.

Он все еще крепко держал Вильчура за пуговицу, а профессор в упор посмотрел на него и спокойно сказал:

– Вы слишком упрощаете, считая, что брак является только и исключительно требованием организма.

– Но и организма, – настаивал Юрковский. – Скажите тогда, профессор: что эта Малгоська должна была делать? Вы скажете, что она безнравственна. Я согласен и с этим. Но если бы была более нравственной, то что бы сделала?.. Что?.. Вот то-то, сбежала бы от него. Бросила бы его к дьяволу и пошла бы с другим. А если бы была, как та лилия, безгрешна, то осталась бы с ним и мучилась бы до смерти. Такой закон на свете, профессор, и никто его не изменит. Вот что.

Вильчур с трудом сдерживал себя. Намек оказался намного болезненнее, чем мог предположить его автор. Воспоминание о Беате и ее бегстве ожило в нем со всей отчетливостью. Он вдруг почувствовал себя невыносимо старым, измученным и безразличным к жизни. Он не обижался на Юрковского, потому что понимал, что этот человек переживает сам. Он мечтал сейчас только об одном: как можно скорее выбраться отсюда. Воспользовавшись наплывом гостей в малую гостиную, он освободился от хозяина и отправился на поиски Люции. Она танцевала в гостиной. Прошло более часа, пока ему удалось обменяться с Люцией несколькими словами.

– Как вам отдыхается? – спросил профессор.

Она посмотрела на него с беспокойством.

– Что с вами?

– Да ничего. Чувствую себя несколько уставшим. Отвык я уже от больших приемов, толпы и шума.

– Так, может быть, уже поедим домой? – предложила Люция.

– Если это вас не огорчит...

– О, несколько. Сейчас я попрошу лошадей.

Пани Юрковская пыталась задержать их, но в конце концов сдалась. Им не пришлось долго ждать.

На улице шел дождь. Сидя в открытой бричке, укрывшись капюшонами бурок, они почти всю дорогу молчали. Каждый был погружен в собственные мысли. Люция вспоминала признание Юрковского. Она знала, что поступила правильно. Он был милым и порядочным человеком. Но даже если бы она не любила Вильчура, то все равно не стала бы женой этого молодого человека. Она была уверена в правильности своих аргументов: люди должны жениться в своей сфере, так, чтобы у них были общие интересы. У него не было понятия о ее работе, а у нее о его. Они попросту не нашли бы общего языка. Были бы как два чужих, обреченных на сосуществование человека. Например, с Кольским, хотя она его не любила, хотя их точки зрения были часто диаметрально противоположны, ей всегда было о чем поговорить. И не только потому, что он был врачом, но и потому, что он воспитывался и работал в городе, что свои понятия, впечатления, обычаи они черпали из одной среды и культуры. Они не виделись уже несколько месяцев. Их разделяло большое расстояние и даже разный образ жизни, но переписывались они довольно часто, и всегда у них было о чем рассказать друг другу.

Ну, а с профессором, например, могла ли она с ним скучать? Она была убеждена в том, что понимает каждое его движение, каждый его взгляд. И ей казалось, что и он тоже чувствует ее близость, что у них нет никаких тайн друг от друга. Так давно они рядом, и каждый разговор с ним доставляет ей огромную радость.

Всматриваясь в будущее, в свое будущее рядом с этим человеком, она видела его светлым, без единой тучки на горизонте. Она не сомневалась, что будет счастлива. Может быть, лишь на минуту где-то в глубине души в ней отозвалась грусть: она понимала, что ее будущее не будет изобиловать развлечениями такого рода, как, например, сегодня. Но

тотчас же появилась разумная мысль о том, что она может принести такую незначительную жертву, как отказаться от танцев.

Уже было совсем темно, когда они подъехали к крыльцу больницы. Вильчур зажег в сенях лампу и первый заметил какой-то бумажный пакет, прислоненный к чернильнице на столе. – Что это такое? Телеграмма? – сказал он, беря пакет в руки.

Это действительно была телеграмма, адресованная Люции. Подойдя к лампе, она открыла ее и посмотрела на подпись. Телеграмму прислал

Кольский. Вильчур пошел заглянуть в больничную палату, а Люция начала читать:

"Обращаюсь к вам от имени пани Добранецкой с отчаянной просьбой. У ее мужа подтвердилось опасное новообразование в мозгу. Состояние почти безнадежно. Минимальные шансы на спасение в операции. Она будет трудной и сложной. Добранецкий отказывается, потому что не верит в успех. Он сказал, что решится на операцию только в том случае, если ее согласится провести профессор Вильчур..."

Люция вытерла рукой лоб. Она не верила своим глазам.

"Пани Добранецкая умоляет вас, и я присоединяюсь к ее просьбе, чтобы вы согласились поговорить с профессором Вильчуром и он не отказался помочь умирающему. Она знает, что у нее нет права просить об этом, что они не заслужили благосклонности профессора и что он считает их своими врагами. Поэтому она обращается к вам через меня. Мы надеемся, что вы не откажетесь помочь. Ждем ответа по телеграфу. Кольский".

Люция скомкала телеграмму. Какая-то радость и в то же время раздумья наполнили ее. Вот сама судьба самым жестоким образом отыгралась на этих злых людях. Это рок заставил их обратиться за помощью и спасением к человеку, которому нанесли столько страшных обид. – Ах, подлые, трижды подлые людишки! – думала она. – Презрительно называли его знахарем, возводили клевету, твердили, что он должен бросить хирургию. А сейчас, перед угрозой смерти, скулят, как псы, о помощи!

В сени вошел профессор. Она возбужденно схватила его за руку. На его лице отразилось удивление. В глазах Люции можно было прочесть триумф, щеки ее разругались, дыхание участилось.

– Что-нибудь случилось? – спросил профессор. – Вы так возбуждены.

– О да! Да! Случилось что-то, что должно убедить в Божьей справедливости! Вот, послушайте.

Она расправила измятый листок и прерывающимся голосом стала читать телеграмму. Он слушал с возрастающим изумлением. А когда она закончила, они оба долго молчали. Вильчур стоял, опустив голову. На его лице отразилась глубокая печаль. Наконец, он поднял голову и тихо сказал:

– Бог свидетель. Не могу... Как же... Опухоль в мозгу... И такая рука...

Он вытянул перед собой левую руку, которая, видимо под влиянием неожиданного сообщения, дрожала больше, чем обычно.

– Как же я с такой рукой... Это невыносимо.

– Но какая наглость! – взорвалась Люция. – Какое бесстыдство этих жалких пресмыкающихся! После всего, что они сделали, осмеливаются!.. Бессовестные люди!..

Вильчур ничего не ответил. Заложив руки за спину, он тяжело ходил из угла в угол.

– Я напишу Кольскому, что удивлена тем, как он смог отважиться на посредничество и, более того, просить о посредничестве меня.

Вильчур остановился рядом с ней.

– Вам не следует упрекать его за это, панна Люция, – сказал он спокойно. – Вы не должны забывать о том, что он прежде всего врач и как врач не может упустить никакой, абсолютно никакой возможности спасения пациента.

– Даже тогда, когда этот пациент – преступник? – спросила она возбужденно.

Вильчур серьезно посмотрел ей в глаза.

– Даже тогда. Даже тогда, панна Люция.

Снова нависла тишина.

– Пошлите ему телеграмму, – сказал, наконец, Вильчур. – Напишите ему, что я не могу, что у меня не действует рука... Телеграмму нужно послать с самого утра, ведь они там ждут...

А сейчас спокойной ночи, Люция. Пусть вам хорошо спится.

Она обеими руками сильно сжала его руку.

Когда за ним закрылась дверь, она долго стояла как вкопанная. Как она восхищалась этим человеком! Она была уверена, что он должен был чувствовать по отношению к Добранецким если не желание отомстить, если не ненависть, то во всяком случае презрение, глубочайшее отвращение. Его оклеветали, воспользовавшись самыми омерзительными средствами борьбы, оплевали его доброе имя, лишили имения, вынудили отказаться от клиники и покинуть Варшаву. Нет, она не нашла бы в себе и тени жалости к ним, не смогла бы даже на минуту забыть о причиненных обидах и считала, что и Вильчур должен их помнить. А он даже Бога призвал в свидетели, чтобы объяснить искренность своего отказа.

И Люция в эту минуту вынуждена была приглушить что-то похожее на чувство радости оттого, что злое провидение, от которого она так страдала, пригодились, чтобы профессор не пришел на помощь этому подлецу без стыда и совести.

Профессор сказал, что спасать надо даже преступника. Да, да. Но есть преступления, есть такие преступления, которые исключают милосердие.

Долго не могла она уснуть, возбужденная всем случившимся. Она продумала текст телеграммы, которую вышлет завтра утром. Хотела написать ее жесткими и оскорбительными словами, но, подумав, поняла, что это будет нелояльно по отношению к Вильчуру.

На следующее утро она решила сама отнести телеграмму в Радолишки. Выходя из больницы, встретила посланца на лошади из Ковалева. Он вез письмо от молодого хозяина. Она с удивлением прочла на конверте фамилию профессора, а не свою. Это ее заинтриговало. О чем мог писать пан Юрковский Вильчуру?.. Она отдала ему письмо, не спрашивая о содержании. Вильчур молча вскрыл конверт, прочел письмо и, видя стоявшую в ожидании Люцию, счел необходимым объяснить:

– Да ничего такого, просто мелочь. Вчера мы обсуждали одну проблему, которую пан Юрковский посчитал настолько серьезной, что прислал мне дополнительную информацию. На самом деле письмо выглядело так:

"Уважаемый пан профессор! Вчера чрезмерное количество выпитого алкоголя привело меня в ужасное состояние. Мне кажется, что я позволил себе рассказывать вам какие-то неприличные истории. Я понимаю, что мне нет оправдания. Но я очень прошу вас извинить меня. Я искренне сожалею о случившемся и прошу вас не таить на меня обиду. С глубочайшим уважением. Винценты Юрковский".

Глава 15

С момента, когда профессора Добранецкого привезли в клинику, все отделение "В" на первом этаже освободили от пациентов, чтобы тяжелобольному обеспечить абсолютную тишину. Весь обслуживающий персонал, все, кто входил сюда, должны были надевать войлочные тапочки, а разговаривать только шепотом.

В крайней палате, куда поместили Добранецкого, окна были зашторены, там царил полумрак. Больного раздражал свет и громкая речь. Они вызывали у него мучительные головные боли, которые не снимались даже самыми большими дозами пантопона или морфия. Днем и ночью у его кровати дежурили врачи. Кроме них, здесь часами просиживала жена профессора.

Стоило ей уйти, и больной сразу же начинал требовать ее присутствия. Состояние его резко ухудшалось, пульс слабел, боли усиливались, а по щекам обильно текли слезы. И вдруг на его лице появлялось выражение облегчения. Это его невероятно обостренный слух улавливал не слышимые никем другим ее шаги по коридору. Она садилась у кровати, а он брал ее руку, закрывал глаза и часами молчал или шепотом говорил нежные слова о том, как любит ее, какая она красивая, о том, что жил для нее и что ему не страшно расстаться с жизнью, он только не может и не хочет расстаться с ней.

Иногда, а случалось это чаще всего ночью, он терял сознание. Тогда у него начинались судороги, затем тошнота, страшные головные боли и снова бредовое состояние.

Пани Нина была в отчаянии. Никто из ее старых знакомых не мог ее сейчас узнать. Ненакрашенная, кое-как причесанная, с синяками под глазами, она ходила как помешанная. Прежде она выглядела удивительно молодо. Сейчас мгновенно состарилась.

– Видите, как она страдает, – говорили все. – Вот это любовь.

Они ошибались. Пани Нина страдала по другой причине. Она знала, какие неотвратимые последствия повлечет за собой смерть мужа. С тех пор как после отъезда Вильчура муж принял руководство клиникой, их материальное положение значительно улучшилось, и все-таки они не успели оплатить и малой части долгов. Смерть мужа означала для пани Нины крайнюю бедность, бедность, которая влекла за собой потерю положения в обществе, удобств, нарядов, значимости, красоты и успеха. Не многие знали, что ее возраст уже приближается к сорока. Путем неограниченных затрат и многих жертв она поддерживала свою привлекательность, которой славилась с молодости. Сейчас, когда она останавливалась у зеркала, ее охватывал ужас. Она хорошо понимала, что уже не сможет начать новую жизнь, что смерть мужа означает и конец ее карьеры. Она понимала и то, что не сможет рассчитывать на успех у мужчин. До сих пор она, выхолонная и элегантная, околдовывала их своими чарами. На бедную, плохо одетую и измученную женщину не посмотрит ни один мужчина.

И когда она страстным повелительным тоном говорила мужу: "Ты должен жить!.. Ты будешь жить!.." – это одновременно означало: "Я хочу жить, а твоя смерть – это моя смерть".

За счет клиники были приглашены самые известные отечественные и зарубежные специалисты. У постели больного периодически собирались консилиумы. И никто не вселял надежду, не мог ее вселять. Опухоль медленно, но неустанно разрасталась, сдавливая извилины мозга. Летальный исход был уже вопросом времени. Последний консилиум сделал заключение, что, учитывая разветвление новообразования, операция представляется почти невозможной. Известный американский врач, профессор Колеман, который прервал свой отдых на Ривьере, чтобы поспешить к постели больного коллеги, признался Добранецкому, когда тот требовал от него сказать ему правду:

– Я бы не согласился на операцию, потому что не считаю ее целесообразной.

Добранецкий прошептал:

– У меня уже давно такое же мнение... Один шанс из ста.

– Один из ста тысяч, – поправил его Колеман.

В тот же день после обеда пани Добранецкая, выслушав приговор, приняла решение: если есть хоть один шанс из ста тысяч, то следует воспользоваться операцией. Она до тех пор умоляла Колемана, пока тот не согласился.

– Я совершенно убежден, что операция ничего не даст, она лишь ускорит смерть больного. Но, если вы так настаиваете, я могу ее провести. Я только сомневаюсь, согласится ли на это профессор Добранецкий. Я ориентируюсь в данной ситуации и считаю достаточно хорошим хирургом, чтобы понять, что ланцет здесь не поможет. Американец не ошибался.

Все уже было готово к операции, когда пани Нина стала просить мужа, чтобы он согласился.

Он сразу же и категорически отказался.

Не помогли настойчивые уговоры и просьбы. Наоборот, он обиделся и в конце концов с горечью спросил:

– Ты хочешь отнять у меня эти несколько последних дней жизни?..

– Но, Ежи... – решила она.

– Тебе тяжело сидеть возле меня, и ты хочешь избавиться поскорее...

После этих слов она не могла говорить. Она сидела возле его постели убитая и отчаявшаяся.

Больной провел ночь спокойно. А когда утром она пришла снова, он спросил:

– Профессор Колеман уже уехал?

Нина оживилась.

– Да, но он собирался задержаться в Вене. Его можно еще вернуть телеграммой.

– О нет, нет.

И после паузы добавил:

– Есть только один человек на свете, который смог бы, может быть, меня спасти... Но он скорее согласился бы меня убить...

– О ком ты говоришь, Ежи? – она широко раскрыла глаза.

– О Вильчуре, – прошептал Добранецкий.

У нее сжалось сердце. Он говорил правду:

они не могли ждать помощи от Вильчура. Однако как бы хорошо она это ни понимала, как бы ни была она убеждена в том, что ни за какие сокровища они не смогут добиться расположения Вильчура, она ухватилась за эту надежду обеими руками.

– Ежи, ты согласился бы оперироваться, если бы операцию делал Вильчур?

– Да, – ответил он после минутного колебания, – но об этом незачем говорить.

Она была взволнована его ответом.

– А может быть, попробовать? Может быть, он согласится?

– Не согласится.

Нина, однако, уцепилась за эту мысль. Она не могла отказаться от нее и, как только вышла из палаты, обратилась к первому попавшемуся ей на пути санитару:

– Можно ли видеть доктора Кольского?

– Он в операционной.

– Как только закончится операция, попросите его сразу же спуститься вниз. Я буду ждать его в кабинете.

Кольский выслушал внимательно проект Нины. Он тоже не верил, что Вильчур согласится оперировать Добранецкого. Не верил он и в то, что Вильчур вообще согласится приехать в Варшаву.

– Но вы все-таки сообщите ему, – настаивала она. – Пошлите ему телеграмму. Я не могу, вы же понимаете. Здесь речь идет не о моей амбиции, но я знаю, что мою телеграмму он выбросит не читая, а вас он ведь любил.

Кольский покачал головой.

– Моя попытка тоже ничего не даст.

– Тогда напишите доктору Каньской. Он любит ее. Может быть, он ее послушает. Ведь вы говорили, что у нее такое доброе сердце, а здесь речь идет о милосердии, о милосердии к умирающему. Вы не можете мне в этом отказать!

После долгих колебаний, хотя Кольский знал, что в результате он потеряет расположение Люции к себе, вместе с пани Добранецкой он составил длинную телеграмму.

И сейчас они ждали ответ. Пани Нина время от времени выходила из палаты мужа, чтобы узнать у Кольского, нет ли известий. Телеграмма пришла около полудня. Кольский развернул ее и громко прочел: "Профессор Вильчур частично не владеет левой рукой, поэтому не может провести операцию. Люция".

Пани Нина бессильно опустила в кресло.

– Боже, Боже!..

Она вдруг вскочила.

– Это неправда! Это не может быть правдой! Это только увертка! Я не верю этому!

Она схватила телеграмму и, потрясая ею, лихорадочно говорила:

– Это же ясно, что увертка. У него нет сердца. Боже правый! Что делать? Посоветуйте мне, как его уговорить... Он, наверное, совершенно здоров и радуется, что его враг умирает. Эта недееспособная рука просто вымысел.

Кольский покачал головой.

– Не думаю. Панна Люция не прибегла бы к таким уловкам, да и у профессора нет для этого поводов. Они могли бы просто написать, что у него нет времени.

– Так что это значит? Скажите же мне: как это понимать?

Он пожал плечами.

– Я полагаю, что это правда.

Пани Нина разрыдалась. Кольский смотрел на ее растрепавшиеся волосы, покрасневшее лицо, на вспухшие от слез глаза. Она выглядела отталкивающе. Долгие годы она изменяла мужу и обманывала его, а сейчас пришла в такое отчаяние, точно была самой верной женой, точно безгранично его любила. Может, как раз поэтому у Кольского родилось сострадание. Правда, лично он был убежден, что Добранецкого уже нельзя спасти. Он разделял мнение Колемана о том, что здесь идет речь об одном шансе из ста тысяч.

Однако... Однако он видел уже не одного пациента, который был в подобной ситуации. Волшебный ланцет профессора Вильчура умел из ста тысяч шансов отыскать один счастливый.

Он еще раз прочел телеграмму.

– Частично не владеет, – размышлял он. – Частичное, а значит, неполное поражение... А, собственно, необходимо ли участие обеих рук при этой операции?.. Трепанацию все равно проводит ассистент. Это деталь. Речь идет об удалении новообразования. Здесь, пожалуй, достаточно одной руки. Достаточно будет даже указаний.

Кольский знал из опыта, что Вильчур обладает какой-то удивительной, безошибочной интуицией, ориентируясь в оперируемой плоскости. Разветвленная и самая сложная опухоль была для него как бы чем-то давно знакомым...

– Пани Нина, – обратился он, и она тотчас же перестала плакать, – я думаю, что если даже профессор Вильчур не владеет одной рукой, он все-таки мог бы провести операцию.

– Мог бы?.. О Боже! Действительно мог бы?

– Действительно, разумеется, с затруднениями, но это возможно.

– А возможно ли его в этом убедить?

Кольский пожал плечами.

– Он как хирург хорошо понимает, что с помощью ассистентов, особенно ассистентов, которые знают его давно и проводили с ним уже не одну операцию, он сможет ее провести.

– Но как его заставить?

– О том, чтобы его заставить, не может быть и речи. Остается только просить.

– Так давайте поскорее пошлем вторую телеграмму!

Кольский покачал головой.

– Я сомневаюсь, что это даст положительный результат.

– Но что же делать? Что делать?.. – Она лихорадочно сжимала пальцы.

Подумав, Кольский сказал:

– Насколько я знаю профессора Вильчура и как я могу судить, то, мне кажется, было бы лучше... если бы вы поехали к нему. Если вам

удастся его расчувствовать, если вы сможете выпросить у него прощение... возможно, он согласится. Разумеется, уверенности здесь быть не может...

Пани Нина вскочила с места:

– Достаточно ли для этого времени? Успею ли я доехать туда и вернуться с ним? Не будет ли слишком поздно?

Он развел руками.

– Здесь никто поручиться не может.

– Да, да, – лихорадочно засуетилась она. – Нельзя ждать ни минуты. Я не буду ничего брать с собой, поеду как стою. Мне все равно. Только узнайте, пожалуйста, когда ближайший поезд.

– Я думаю, что вам лучше воспользоваться самолетом. Вы долетите до Вильно, а в Вильно можно по телефону из Варшавы заказать машину и прямо с аэродрома поехать в Радолишки. Это будет значительно быстрее, чем поездом. Дорога в обе стороны займет немногим более полутора суток, а точнее, тридцать восемь часов, включая два часа пребывания на месте.

– Вы так добры, – удивилась она, – вы все проверили и сосчитали!

Кольский ничего не ответил. Он подсчитывал это уже для себя много раз, столько, сколько раз он ждал, что Люция позволит ему приехать хотя бы на несколько дней.

Пани Нину уже не удивляло, что он знал время вылета и прибытия в Вильно и то, как можно заказать в Вильно машину.

– Как хорошо, что вы все знаете! Сама бы я с этим всем не справилась. Я совершенно без сил.

И вдруг она схватила его за руку.

– Пан Янек! Пан Янек! Поедем со мной!

Кольский слегка побледнел.

– Это невозможно, – ответил он, – я не могу сейчас уехать.

– Почему?

– Клиника перегружена, коллеги не справляются. Нет, не могу.

– А какое мне дело до клиники! – возмутилась пани Нина. – Я сейчас же договорюсь с Ранцевичем, и вы будете свободны.

Лицо Кольского скривилось.

– Не в докторе Ранцевиче тут дело и не в освобождении, мне просто неудобно заставлять коллег выполнять мою работу только по той причине, что мне хочется прогуляться на границу.

Она посмотрела на него с упрёком.

– Вы называете прогулкой поездку по спасению своего умирающего шефа?

Кольский молча опустил голову. На самом же деле он не хотел сопровождать пани Нину совершенно из других соображений. Он знал, как не терпела ее Люция, и допускал, что Люция по его письмам могла подозревать о его близкой связи с Добранецкой. Если бы он появился там вместе с ней, то тем самым подтвердил бы правильность предположений. И более того, по отношению к Люции и Вильчуру он бы выступил союзником Добранецких, а этого ему не хотелось. Уже и то, что он подписался под телеграммой к Люции, было с его стороны достаточной жертвой. Он сразу понял это по сухой, деловой и безличной телеграмме Люции. Для него она не добавила ни единого слова.

Вас может сопровождать секретарь профессора, – сказал он.

Она отрицательно покачала головой.

– Нет, нет! Должны ехать вы. Здесь не в сопровождении дело.

– А в чем же?

– Вы в хороших отношениях с ними. Ваши уговоры будут результативнее моих.

– Я не убежден в этом.

– Но ведь нельзя пренебречь ничем, что могло бы склонить Вильчура на проведение операции. Вы должны ехать. Вы ничем не обязаны мне, и я не поэтому вас прошу, ведь не обо мне идет речь, а о моем муже.

Он понял, что больше не может сопротивляться.

– В таком случае через полчаса мы должны быть в аэропорту. Оттуда пошлем телеграмму.

– Спасибо вам! – она протянула руку, а в глазах ее снова появились слезы.

Не прошло и часа после разговора, как они уже сидели в самолете, который, легко оторвавшись от земли, взял курс на Вильно. День был осенний. Над аэропортом низко висели черные тучи. Сыпал мелкий, но густой дождь. Самолет, убрав шасси и поднимаясь все выше, исчез за тучами. В салоне воцарился полумрак. Однако спустя несколько минут все озарилось ярким светом. В необыкновенно чистой голубизне они увидели над собой солнце, а внизу – застывшее море белоснежных волнистых пригорков и курганов, безбрежное море, на котором единственным темным пятном была их собственная тень, тень самолета.

В этот день в больнице на мельнице гостей не ждали. Пациентов тоже было мало, так как с утра лил такой густой дождь, что даже Емел не решился на свою обычную вылазку в городок.

Ходил он хмурый и что-то бормотал себе под нос, проклиная все на свете. Никто не пытался его отвлечь. Донка должна была обслуживать больных, Люция была занята своими мыслями, а Вильчуру вовсе не хотелось разговаривать: он сидел в своей комнате и читал. Сразу же после ужина, сославшись на усталость, Вильчур ушел отдыхать. Его примеру последовал и Емел. Люция еще заглянула к больным, привела все в порядок в амбулатории и взялась за переписывание счетов, предварительно закрыв входную дверь. В это время, как правило, никто не обращался в больницу.

Скоро она отложила перо и задумалась. Подавленность Вильчура не могла ускользнуть от ее внимания. Правда, сегодня никто здесь не отличался веселым настроением, но в таком состоянии профессор бывал редко. Она видела его таким только в Варшаве. Опять его мучили какие-то тяжкие воспоминания. Вряд ли они вызваны вчерашней телеграммой. Интуиция подсказывала Люции, что скорее всего это результат бала в Ковалеве.

Для нее, несмотря на неприятный разговор с паном Юрковским, этот бал всегда будет милым воспоминанием.

Но она понимала, что Вильчур думает о нем совсем иначе. Когда она танцевала, то явно чувствовала его неодобрение. Нет, не порицание, но все же недовольство. Может быть, она

поступила плохо, что танцевала? Может быть, ей вообще не нужно было уговаривать его поехать на этот бал?..

И все-таки она не могла себя упрекать в этом. У нее так мало удовольствий, она настолько отказалась от всех развлечений, что имеет право рассчитывать на его понимание, если раз, один только раз за многие месяцы захотела развлечься.

Эти размышления наполнили ее какой-то невыразимой грустью. Она встала, решив отложить счета до завтра, и начала складывать бумаги в стол.

Как раз в эту минуту в окно ударил яркий сноп электрического света. Со стороны мельницы приближалась машина.

– Что это может быть? – удивилась Люция.

Сквозь шум дождя явно прослушивался звук мотора. Машина остановилась возле крыльца, и скоро послышался стук в дверь. В сенях было темно. Люция взяла из амбулатории лампу и, держа ее в руке, открыла дверь.

Вначале она не узнала Добранецкую и спросила:

– Вы привезли больного?

– Я, наверное, очень изменилась, – ответила прибывшая. – Я Добранецкая.

Люция отступила назад. Кровь бросилась ей в лицо. Но в ту же секунду она увидела за спиной Добранецкой Кольского. Люция взяла себя в руки.

– Прошу вас, входите.

Она поставила лампу на стол и застыла рядом, сжав губы. Появление здесь этой женщины было просто цинизмом и подняло в Люции с прежней силой волну ненависти.

Пани Нина приблизилась к ней и протянула руку.

– Вы не здороваетесь со мной? – с покорностью спросила она.

После минутного колебания Люция подала ей кончики пальцев, выразив этим движением все свое презрение. Почти так же безразлично она подала руку Кольскому. Боясь разбудить профессора, она провела их в амбулаторию и, закрыв дверь, спросила:

– Разве вы не получили телеграмму?

– Мы получили, но... – начала Добранецкая.

– Жаль вашего времени, которое вы потратили на дорогу. Я могу вам повторить только то, что было в телеграмме.

– На месте ли профессор Вильчур? Самое позднее, через два часа мы должны выехать, чтобы успеть на самолет.

Люция пожала плечами.

– Не задерживаю, тем более, что вы не сможете увидеть профессора Вильчура. Уже поздняя ночь. Профессор спит после трудового дня, и я не стану его будить.

Добранецкая вся дрожала.

– Я умоляю вас, умоляю. На карту поставлена жизнь моего мужа.

Глаза Люции сузились.

– А тогда, когда вам не нужен был Вильчур, вы и ваш муж смогли найти для него хоть искру человеческого участия? По какому праву, с каким лицом вы приходите сюда к человеку, которого обидели, у которого вырвали все и едва не убили морально! Да, это вы и ваш муж были источником всей клеветы, которой опутали профессора. И сейчас вы молитесь о помощи?! О! Я знаю, хорошо знаю, чего вы стоите, и профессор Вильчур тоже знает. И если я удивляюсь чему-нибудь, так только тому, что слишком поздно вас настигла заслуженная кара. Нужно полностью потерять чувство стыда, чтобы после всего, что произошло, появиться здесь, в доме профессора! Нужно быть не человеком, а зверем, чтобы после всего просить его о помощи!

– Пани Добранецкая сжимала ладонями виски и тихо повторяла:

– Боже... Боже... Боже...

Кольский стоял побледневший, опираясь о спинку стула, и молча смотрел в сверкающие ненавистью глаза Люции. Он не слышал, что она говорила, он вбирал в себя ее присутствие, упивался тем, что видит ее.

– Вы недостойны переступить порог этого дома. Каждое ваше прикосновение – это грязь и оскорбление. Напрасно вы сюда приехали, потому что мне неприятно видеть вас даже униженной. Вы не встретитесь с профессором!..

– Как жестоко вы мстите! – прошептала Добранецкая.

– Это судьба мстит вам. Судьба, а не я.

– Так почему вы не хотите позволить мне встретиться с профессором? Разве не месть диктует вам эту неуступчивость?

Люция смерила ее презрительным взглядом.

– Это не месть. Знаете ли вы, что вчера сказал профессор? Что он не отказал бы в помощи даже самому страшному преступнику.

– Так почему же он нам в ней отказывает?

– Потому что дать ее не может. Я не разбужу профессора и даже не расскажу ему о том, что вы были здесь. Не хочу нарушать его покой. Вам с вашей жадностью и завистью не понять того благородства, той безграничной доброты, той жертвенности, которыми полна душа оскорбленного вами человека. Ваш приезд сюда полностью характеризует вас. Вы, разумеется, не смогли поверить моей телеграмме. Вы считали, что это выдумка. Что, правда? Вы думали, что это вранье, что профессор Вильчур хотел таким образом дать понять, что не отказал бы в помощи, несмотря на причиненные вами обиды, если бы только мог? Как вы ошибаетесь! Я не обязана давать вам какие бы то ни было пояснения, но я скажу вам. Недавно левую руку профессора укусила бешеная собака, и с того времени, хотя проведено необходимое лечение, рука постоянно дрожит. Понимаете ли вы сейчас, что профессор действительно не может провести операцию?

Пани Добранецкая хотела что-то сказать, но Люция остановила ее движением руки.

– Нет, ничего не говорите! Ничего не говорите! Я боюсь, что услышу какое-нибудь жалкое подозрение, потому что в ваших устах уже родилась самая омерзительная клевета, и ничего другого от вас я не жду. Вам незачем здесь больше оставаться, уезжайте! Уезжайте сейчас же и позвольте нам забыть о вас и вашем муже!..

И вдруг Добранецкая бросилась перед ней на колени.

– Сжальтесь!.. О, сжальтесь... – умоляла она, рыдая.

Люция оставалась невозмутимой.

– Встаньте же, это отвратительно!

И, обращаясь к Кольскому, она сказала почти тоном приказа:

– Поднимите же ее, наконец!

Кольский помог пани Нине встать и усадил ее на стул. Она не переставала всхлипывать.

Сквозь рыдания она произнесла:

– Вы жестоко судите меня... Очень жестоко... Может быть, я заслужила это... Но я перенесу все унижения... Все... Только не отказывайте мне в моей просьбе... Я должна встретиться с профессором...

– Зачем? – резко спросила Люция.

– Потому что пан Кольский сказал, что состояние руки профессора не является непреодолимой преградой, что с помощью ассистентов профессор мог бы провести операцию одной рукой...

Люция пожала плечами.

– Это говорит лишь о том, что пан Кольский – плохой хирург.

– Извините, панна Люция, – впервые за все время отозвался Кольский. – Но я действительно это сказал, и, как вы уже знаете, я слов на ветер не бросаю. Я считаю, что это возможно.

Люция отрицательно покачала головой.

– Я не могу согласиться с вами: вчера профессор сам сказал, что не взялся бы за эту операцию.

– И я бы за нее не взялся, – спокойно ответил Кольский. – Но если бы я был единственным человеком, который может ее провести, я бы рискнул. Я уверен, что профессор Вильчур, если его отказ не связан с чем-то другим, согласится со мной.

Люция гневно посмотрела на него. Она была возмущена до глубины души его появлением. Она считала, что он воспользовался приездом Добранецкой, чтобы появиться здесь, хотя у него не было на это разрешения.

– Неужели и вам я должна объяснять, что профессор не руководствовался никакими иными причинами? – сказала она, подчеркивая слово "иными".

В сенях скрипнула дверь, и послышался шум шагов. Все умолкли. Кто-то направлялся в амбулаторию. Полоса света под дверью указывала на то, что именно отсюда раздавались голоса.

Дверь открылась, и на пороге появился профессор Вильчур в халате. Он осмотрелся и, видимо, ослепленный светом, спросил:

– Панна Люция, что здесь происходит?

Не успев получить ответ, он увидел Кольского, а минуту спустя узнал Добранецкую и инстинктивно сделал шаг назад.

Добранецкая протянула к нему руки.

– Пан профессор! Спасите! Я приехала просить вас о спасении!

Вильчур долго не мог произнести ни слова. Вид этой женщины потряс его до глубины души. В эти минуты в его памяти ожили воспоминания тех месяцев, когда она вела против него разнuzданную кампанию по созданию общественного мнения, не гнушаясь самой отвратительной клеветой.

– Умоляю вас, профессор, только вы единственный можете его спасти! Сжальтесь... сжальтесь...

Вильчур обратился к Люции:

– Разве вы не послали телеграмму?

– Разумеется, послала.

– Мы получили ее... – начала Добранецкая.

– Если вы получили, то знаете, что я ничем не могу вам помочь.

– Вы можете, пан профессор, вы можете!

Вильчур нетерпеливо перебил ее.

– Я понимаю, что вы взволнованы, но успокойтесь, прошу вас, и поймите, что вы обращаетесь к врачу, к добросовестному врачу. Если я отказал вам в помощи, то наверняка знал, что не в состоянии вам помочь. Вы понимаете? Для меня не имеет значения, кто обращается за помощью. Если бы даже кто-то, желая меня убить, сам поранился, я спасал бы и его так же, как любого другого. Я понимаю, что вам нелегко поверить в это, так как у нас диаметрально противоположные взгляды на этику. Но уж если вы не верите моим словам, то поверьте своим глазам.

Он вытянул левую руку, дрожавшую в эти минуты особенно сильно.

– Вот видите, я калека. Если такую сложную операцию не согласились делать самые известные специалисты, как же вы можете ждать этого от меня в таком состоянии? Я никогда не был чудотворцем. Как хирург я действительно мог гордиться своими знаниями и твердостью руки, хотя и в этом мне некоторые отказывали. Я был бы сумасшедшим, если бы сейчас, понимая свое положение, согласился на ваши просьбы.

Еще минуту держал он перед ее глазами свою дрожащую руку, потом медленно повернулся, направляясь к двери.

Добранецкая впиалась пальцами в плечо Кольского, умоляя:

– Не позволяйте ему уйти, говорите!

– Пан профессор, – отозвался Кольский

Вильчур остановился, уже держась за ручку двери, и оглянулся.

– Что вы хотели мне сказать? Ведь вы же сами, как хирург, все хорошо понимаете.

– Да, пан профессор, я согласен, что вы не смогли бы взяться за проведение этой операции самостоятельно. И не только этой, но даже и более легкой. Но... здесь речь идет не об операции, проводимой лично вами. Здесь нужно только ваше присутствие, точный диагноз, инструкции, указания во время самой операции. На губах Вильчура появилась усмешка.

– И вы верите, что такая операция по доверенности может удалась?

Кольский не уступал.

– Я слышал о случае, когда корабельный механик в открытом море проводил ампутацию ноги матросу, не имея понятия об анатомии, но пользуясь указаниями хирурга, передаваемыми из какого-то порта по радио. Операция удалась...

Пани Нина, всхлипывая, продолжала повторять шепотом:

– Умоляю, профессор... Умоляю...

Вильчур стоял какое-то время нахмурившись.

– Подобные операции иногда могут удаваться, если они несложные. Я еще раз вас спрашиваю, пан Кольский, верите ли вы в то, что здесь можно воспользоваться такой системой?

– Нет, пан профессор. Я вообще не верю, что эта операция может быть успешной. Состояние больного, по моему мнению, безнадежно. Но...

Его прервали рыдания пани Добранецкой.

– Но, – продолжал он, – моя вера или неверие не могут повлиять на факт существования возможности спасти пациента. Профессор Колеман определил ее как один шанс из ста тысяч. Если пациент говорит, что убежден, что в случае проведения вами операции он может надеяться на этот единственный шанс, я думаю, вы не откажете. Я думаю, что вы не должны отказать.

Вильчур, несколько озадаченный, посмотрел ему прямо в глаза.

– Почему же вы думаете, что я не должен?

Кольский убежденно ответил:

– Потому что я был вашим учеником, пан профессор.

В комнате воцарилось молчание.

Не вызвало сомнения, что слова Кольского произвели на Вильчура большое впечатление. Он подошел к окну и всматривался в капли дождя, стекающие по темному стеклу. Красные задние огоньки автомобиля высвечивали забрызганный номер.

Не оборачиваясь, Вильчур сказал:

– Не будете ли вы так добры, панна Люция, собрать мой чемодан?

– Сейчас я приготовлю, – тихо ответила Люция.

Едва она успела закрыть за собой дверь, как услышала рыдания. Это пани Нина упала на колени перед Вильчуrom.

– Спасибо, спасибо вам! – причитала она, пытаясь схватить его руку.

– Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста, – сказал дрогнувшим голосом Вильчур.

Он грустно улыбнулся и махнул рукой.

– Я прошу вас, встаньте.

Обращаясь к Кольскому, он указал полку на стене:

– Коллега, вы найдете там валериановые капли.

Кольский положил шляпу, которую все время держал в руках. Среди многих флаконов он нашел нужный, отсчитал тридцать капель, не спеша добавил в стакан воды из стоявшего на столе графина и подал пани Нине. Все это время Вильчур внимательно и пытливо присматривался к нему. Наконец положил ему руку на плечо и сказал:

– Вы действительно были моим учеником, и мне не стыдно за вас.

Кольский покраснел.

– Поверьте, пан профессор, я не заслужил такого высокого мнения о себе.

Вильчур, казалось, не слышал его слов, занятый своими мыслями. Это, должно быть, были очень тяжелые мысли: лоб профессора покрылся глубокими вертикальными складками. Он взглянул Кольскому прямо в глаза. В его пристальном взгляде читалось решение.

– Вы убедили меня, я поеду, но при одном условии.

Кольский несколько забеспокоился.

– Я полагаю, что пани Добранецкая согласится на любые условия.

– Да, да, – подтвердила Нина. Я сразу принимаю любые условия.

– Это условие только для пана и ни для кого другого.

– Для меня? – удивился Кольский.

– Да. И я еще раз подчеркиваю, что это условие исключительно для вас.

– Я слушаю вас, пан профессор.

– Так вот, на время моего пребывания в Варшаве вы, коллега, останетесь здесь. Я не могу бросить, и вы это сами должны понимать, моих пациентов. Доктор Каньская не хирург, а здесь много случаев, где необходима срочная помощь хирурга, поэтому вы останетесь здесь до моего возвращения.

Кольский стоял бледный как полотно. Неожиданное предложение Вильчура свалилось на него как безграничное счастье, которое он не осмеливался нарисовать в своём воображении. Остаться здесь, быть вместе с Люцией, видеть ее каждый день, работать вместе, как прежде в Варшаве... Даже в самых смелых своих желаниях он не заходил так

далеко. Он уже хотел было ответить, что соглашается на условие профессора, но его вдруг остановила мысль: как воспримет это Люция? Не увидит ли она в этом какую-то хитрость, не примет ли его как незваного гостя... Особенно после того, что он услышал из ее уст в ответ на просьбу Добранецкой? Из ее слов он мог сделать вывод, что она относит его к числу врагов профессора, которых считала и своими врагами. Таким образом, радость пребывания рядом может обернуться невыносимой пыткой для обоих.

– Не знаю, – начал он неуверенно, – не знаю, пан профессор, могу ли я позволить себе остаться.

– Почему?

– В Варшаве у меня много работы. Больница переполнена... Кроме того, частные пациенты.

– Но вы ведь должны были оставить их на попечение кого-нибудь из врачей.

– Да... Но в клинике... Доктор Ранцевич освободил меня только на двое суток.

Вильчур смотрел на него изучающе.

– Коллега, я думаю, что в сложившейся ситуации это не может быть аргументом, с которым следовало бы считаться.

– Конечно, – невнятно проговорил Кольский. – Однако, с другой стороны...

– Я не хочу оказывать на вас давление. Я не думаю, что ваше пребывание здесь было бы для вас так неприятно. Мне известно со слов доктора Каньской, что в своих письмах вы неоднократно выражали желание навестить нас. Во всяком случае я не могу отменить свое решение, поэтому вы должны подумать.

– Но ведь здесь не о чем говорить! – пани Добранецкая вскочила со стула. – Конечно, доктор Кольский останется. С Ранцевичем я все улажу сама. Было бы чем-то неправдоподобным, если бы Ранцевич высказал какие-нибудь претензии по этому поводу. Я не понимаю, почему вы возражаете. Не понимаю еще и потому, что я знаю, как вам нравится...

– Я согласен, – быстро прервал ее Кольский, – останусь до вашего возвращения.

– Вот и все в порядке, – усмехнулся Вильчур. – Неудобства здесь не слишком страшные. Вы будете жить в моей комнате. И прошу вас, пользуйтесь всем, что вам понадобится, ведь вы не взяли с собой всего необходимого.

Кольский кивнул головой.

– Я вовсе ничего не взял.

– Значит, дайте мне свой варшавский телефон, и сразу по приезде я позвоню, чтобы вам выслали все необходимое.

– Я все это организую сама, – вмешалась Добранецкая.

– Вам не повредит также, коллега, познакомиться с местными условиями и людьми. Просто короткий отпуск, хотя погода неподходящая.

Подумав, Кольский сказал:

– Я хотел бы попросить пана профессора только об одном...

– Я слушаю.

– Я хотел бы, чтобы вы... чтобы вы объяснили панне Люции, что инициатива исходила от вас и что это было вашим условием при отъезде в Варшаву.

Вильчур ответил несколько озадаченный:

– Разумеется, я могу это сказать.

Пани Добранецкая нетерпеливо поглядывала на часы.

– Я очень боюсь, как бы нам не опоздать на самолет. Вместо дорог какое-то месиво, поэтому я бы хотела выехать как можно быстрее, если вы, пан профессор, смогли бы.

Вильчур кивнул головой.

– Сейчас оденусь. Через десять минут я буду готов.

Он вошел в свою комнату, где Люция уже заканчивала складывать его вещи, и помог ей закрыть чемодан.

– Вы очень недовольны мной, панна Люция? А как бы вы поступили в подобном случае?

– Не знаю, – пожала она плечами. – Не знаю, как бы поступила на вашем месте. Но если бы мне пришлось спасти этого человека, я бы не пошевелила даже пальцем. Такое чудовище не заслуживает того, чтобы жить. Чем раньше мир освободится от него, тем лучше.

Он усмехнулся.

– Вы отважная.

– Отважная? – удивилась она.

– Вы узурпируете Божье право осуждать. Но уж если вы это делаете, то нужно одновременно распорядиться и другой чертой: милосердием. Но не будем дискутировать, потому что на это у нас нет времени. Я должен быстро одеться.

– Вы не задержитесь, я думаю, в Варшаве очень долго? – спросила она уже будучи у двери.

– О нет. Ни часа больше, чем будет нужно. Ах, да! Чтобы вы здесь не скучали и чтобы у вас была помощь, здесь останется доктор Кольский. Я просил его об этом. Мне очень хотелось, чтобы он остался здесь до моего приезда. Он долго сопротивлялся, но вынужден был согласиться, так как это было моим условием.

Люция смотрела на него широко открытыми глазами.

– Сопротивлялся?.. Но если он так сопротивлялся, то я не понимаю, зачем вы его заставляли. Я могу вполне справиться сама, тем более что доктор Павлицкий заглядывает сюда почти каждый день.

– Но не всегда, не всегда, – мягко поправил Вильчур.

– А кроме того, не понимаю...

Он прервал ее:

– Согласуем это в другой раз, а сейчас я должен одеваться.

После ее ухода он быстро оделся и спустя пять минут появился в пальто с чемоданом в руке. Уже в сенях проинформировал Люцию в нескольких словах по делам больницы, затем сердечно поцеловал ей руку и вышел на крыльцо, где его уже ждала пани Добранецкая.

Через густую стену дождя они подошли к большой машине старого образца, но очень удобной и на высоких рессорах. Несмотря на дорожные ухабы и грязь, машина шла ровно. Опытный водитель ловко объезжал опасные выбоины.

Пани Добранецкая пыталась завязать с Вильчуром разговор. И хотя он отвечал односложно, она продолжала искать новые темы. Наконец, он сказал:

– Я очень устал, попытаюсь вздремнуть.

Она поняла и тотчас умолкла.

Правда, пока о сне не могло быть и речи. Однако, когда спустя час машина выбралась с тракта на шоссе, профессор Вильчур, откинувшись на подушки сиденья, закрыл глаза и уснул. В аэропорт они прибыли за час до вылета самолета. Свободное время Вильчур посвятил написанию письма Люции, вспомнив некоторые вопросы, о которых при выезде забыл.

Спустя два часа они были уже на варшавском аэродроме и прямо из Окенья поехали в клинику. Когда машина остановилась у входа, Вильчур не сразу сумел выйти: его внезапно покинули силы. При виде здания, в котором он провел столько лет, клиники, которую он сам создал, у него сжалось сердце. Опустив голову, он вошел и сразу из холла направился в свой прежний кабинет. Пани Добранецкая, которая опередила его, успела уже кому-то сообщить о его приезде. В течение минуты на всех этажах уже знали об этом. Знали все, но никто не хотел этому верить. Встретить Вильчура выбежал и Ранцевич, доктор Михаловский, Котковский и другие врачи. Его окружили, ему пожимали руку и не могли поверить собственным глазам.

Было что-то трагически неправдоподобное в том, что этот человек решился на столь великодушный шаг, на сверхчеловеческое самопожертвование.

Когда узнали, что пани Добранецкая вместе с Кольским отправилась в Радолишки, чтобы умолить Вильчура приехать, все пожимали плечами: никто ни на мгновение не допускал, что Вильчур согласится. И только Ранцевич, который давно и лучше всех знал профессора, сказал:

– Люди меняются. Может, и он изменился, а если не изменился, то не стоит терять надежды.

Спустя минуту добавил:

– Другое дело, нужен ли будет его приезд. Добранецкий может не дожить до утра, да и операция... Я сравнил бы эту операцию с лотереей, в которой нет ни одного выигрышного билета.

И действительно, за последние сутки состояние Добранецкого резко ухудшилось. Больной почти все время был без сознания, а в минуты, когда оно возвращалось к нему, хрипел от боли, так как уже ничего не мог произнести. Появились и новые симптомы болезни: он

терял слух и зрение. Хотя освещение усилили, он не различал лица стоявших рядом. Теряя слух, требовал, чтобы говорили громче.

Прежде чем пойти к больному, профессор Вильчур провел длительную беседу с Ранцевичем и с теми врачами, которые наблюдали Добранецкого. Вильчуру представили обширное и старательно подготовленное описание болезни, а также выписку проведенных исследований и анализов. Он должен был признать, что они учили все. Были отмечены все симптомы, не исключая даже таких, которые в данном случае не имели никакого значения, таких, которые лечащий врач не мог объяснить. Располагая таким обширным материалом, Вильчур смог сделать заключение о заболевании и состоянии больного. Содержащиеся диагнозы и выводы участников консилиумов, казалось, выражали единое мнение о том, что в области мозжечка (по мнению Колемана, между мозжечком и мозговой корой) появилось новообразование, возникшее в результате вырождения тончайшей ткани или мягкой мозговой оболочки.

Такого же мнения придерживался и Ранцевич. При этом он добавил, что, по предположению самого Добранецкого, корни опухоли находятся где-то в области эпифиза, а это говорило о том, что первые симптомы болезни связаны с нарушением обмена веществ. Первоначально Добранецкий, как и другие врачи, которые его осматривали, относили это за счет плохого функционирования печени.

– Да, – сказал Вильчур. – Мне кажется, что Добранецкий прав: плохая работа печени очень часто бывает вторичной на фоне недостаточной секреции шишковидной железы. И если новообразование гнездится там, то удаление его будет очень трудным. Поражены слух и зрение, а также мозжечок. Значит, новообразование идет в разных направлениях.

Он задумался, а Ранцевич спросил:

– Имеет ли смысл операция в сложившейся ситуации?

– Не знаю, посмотрю, – ответил Вильчур. – Я хочу осмотреть его сейчас.

Добранецкий был в сознании, однако Вильчура не узнал, а профессор сразу же отметил у больного важный симптом, который не был записан в истории болезни: расширенные зрачки. Это давало основания предположить, что ухудшилась работа гипофиза, так как расширение зрачков могло быть лишь результатом чрезмерной работы надпочечников, регулируемой гормонами гипофиза. Значит, новообразование должно быть большим, если его давление воздействует на гипофиз. А это, в свою очередь, означало, что Сильвиев водопровод прижат, и соединение между третьим и четвертым желудочком прервано. Дальнейшее обследование ничего нового к диагнозу Вильчура не добавило. Поскольку сердце работало достаточно ритмично и давление не опускалось ниже 100, профессор заключил, что можно делать операцию.

Весть об этом тотчас же разнеслась по всей клинике. Так как левая рука Вильчура была неподвластна ему и он не мог сам проводить операцию, то оперировать должен был доктор Ранцевич, а ассистировать специалисты по хирургии мозга из клиники доктора Хеннеберга в Познани. Сам доктор Хеннеберг уже неделю находился в Варшаве.

Операция была назначена на десять часов вечера. Вильчур с Ранцевичем и Хеннебергом закрылись в анатомическом кабинете, где Вильчур на модели мозга начал детально разъяснять свое мнение по поводу положения и размещения новообразования. Разумеется, до вскрытия черепа все это опиралось только на его гипотезы, но оба слушателя старались не упустить ни одного слова из его пояснений, потому что оба верили в то, что гипотезы Вильчура вытекают из его удивительной интуиции, интуиции, граничащей с гениальностью.

– Так, мне кажется, выглядит ситуация, – закончил он. – Я согласен, что операция очень сложная и остается мало надежды на ее благополучный исход, тем более что несколько разрезов, а точнее, восемь или десять нужно будет выполнить вслепую, доверяя лишь своему чувству прикосновения.

– Ну, и утешили вы нас, пан профессор, – скривился Ранцевич.

Хеннеберг встал и отодвинул стул.

– Я против проведения операции.

– У меня другое мнение, – Вильчур покачал головой.

– Но это выше человеческих возможностей! э

– Значит, – спокойно сказал Вильчур, – следует найти в себе нечеловеческие возможности. По моему мнению, если операция не будет сделана, пациент не доживет до завтрашнего вечера, поэтому риска никакого. Я бы не ратовал за операцию, если бы не был уверен, что благополучное удаление новообразования спасет ему жизнь, более того – позволит вернуть здоровье. Уважаемые коллеги, речь идет о механическом удалении опухоли, а это задача исключительно хирургии. Я согласен, что в данном случае это весьма сложная задача, возможно, самая трудная из всех, с которыми я встречался в жизни. Тем не менее, считаю своей обязанностью сказать вам, что не одобрил бы ни одного хирурга, если бы он отказался от операции, особенно тогда, когда этот отказ означал бы неминуемую смерть больного.

– Вы правы, профессор, – согласился Ранцевич, вставая и глядя на часы. – Приступаем к операции. Не скрою, я уверен в неблагоприятном исходе, но все-таки приступить следует. Он похлопал по плечу Хеннеберга.

– Ну, коллега, смелее. Не забывайте о том, что мы, к счастью, находимся в ситуации, когда у нас будет при операции резерв в лице профессора Вильчура. Если в ходе операции возникнут какие-нибудь непредвиденные осложнения, мы сразу же получим совет. Ровно в десять часов Добранецкого привезли в операционную и сделали наркоз. Вскрытие черепа должен был осуществить доцент Бернацкий, ассистировать – доктор Жук. Когда трепанация подошла к концу, в операционную вошли профессор Вильчур, Хеннеберг и Ранцевич. Вокруг собрались почти все врачи, присутствовавшие в клинике. Профессор Вильчур подошел к столу и наклонился над вскрытым черепом.

Казалось, все подтверждало правильность диагноза. На месте затылочных костей виднелся открытый мозг: две белые доли мозговой коры, густо покрытые розовой и синей сеткой кровеносных сосудов, а из-под нее выступающий серый губчатый мозжечок с полосками, направленными к середине спинного мозга. Вздутие оболочки свидетельствовало о том, что какое-то не предусмотренное природой тело внутри мозговой системы выталкивает спинномозговую жидкость. Профессор выпрямился, поправил маску и кивнул головой в сторону Ранцевича и Хеннеберга, после чего отступил и стал возле доктора Жука, который проверял пульс оперируемого. Отсюда Вильчур мог хорошо видеть операционное поле и следить за движениями рук Ранцевича и Хеннеберга.

Раздался первый звук никелевых инструментов. Операция началась.

В воцарившейся тишине длинные тонкие пальцы Ранцевича двигались в открытой полости, поблескивая в ярком свете никелем инструментов. На этих пальцах были сконцентрированы взгляды всех присутствующих. Проходили минуты.

Наконец, в открывшейся полости трех долей показалось фиолетовое, а местами желтое окончание опухоли.

Ладони Хеннеберга поддерживали полость, постепенно увеличивая ее, по мере того как двигался ланцет Ранцевича. Пока предположения профессора Вильчура полностью подтверждались. Действительно, новообразование прижимало поверхность мозжечка, вдавливая своим разветвлением, которое утолщалось по мере продвижения вглубь. Можно было быть уверенным в том, что основной очаг новообразования находится в области между большой спайкой, мозжечком, эпифизом и четверохолмием, но неизвестно было еще, не проникли ли боковые разветвления под правое и левое полушария.

Время от времени глаза оперирующего хирурга поднимались и встречали взгляд Вильчура. Тогда раздавался приглушенный голос профессора:

– Хорошо.

Операция продолжалась. Здесь нельзя было допустить никакой поспешности, а каждое движение требовало напряженного внимания. На тридцать второй минуте неподвижное тело оперируемого внезапно задвигалось. Какое-то неосторожное движение Ранцевича вызвало непонятную реакцию мышц. В то же мгновение в глазах всех присутствующих появилось беспокойство, а Ранцевич, встревоженный, прервал операцию. Мозг не был поврежден, и этот случай не имел значения. Однако это фатально повлияло на психологическое состояние оперирующего.

Это отметили все сразу. Движения ланцета, отделяющего новообразование, становились все медленнее и неувереннее. Лоб Ранцевича покрылся мелкими каплями пота. Ранцевич все чаще колебался, прежде чем сделать следующее движение, все чаще останавливался.

Приближалась самая трудная фаза операции. Видимость оперируемого поля становилась все хуже. Все поняли, что операция закончится катастрофой.

Доктор Хеннеберг бросил на Вильчура тревожный взгляд. На серой поверхности мозжечка безжизненно лежал отросток новообразования, напоминающий язык какого-то животного, спрятавшегося где-то в глубине. Почти вслепую нужно было добраться до его горла.

Внезапно Ранцевич выпрямился и, разведя руки, громко сказал:

– Не могу. Не сумею...

– Но ведь все идет хорошо, – спокойным голосом откликнулся Вильчур. – Сейчас отделите сверху от правого полушария и откроется доступ к спайке.

Спокойный тон профессора, вероятно, вернул уверенность Ранцевичу, и он снова взял ланцет в руку. Спустя две минуты оперируемый задвигался снова в результате незначительного касания хирурга. Это окончательно вывело Ранцевича из равновесия. Он отступил от стола и молча покачал головой. Стало ясно, что он не сможет закончить операцию.

– Это безнадежно, – произнес кто-то из врачей.

– Да, – кивнул головой Хеннеберг. – Нужно закрыть череп.

– Позвольте! – раздался резкий, повелительный голос Вильчура.

Пока присутствующие успели сориентироваться в его намерениях, Вильчур занял место Ранцевича, взял ланцет и наклонился над открытой полостью черепа. Все были поражены.

Еще недавно они видели беспрерывно дрожащую руку профессора. Сейчас эта рука уверенно подхватила конец новообразования, в то время как вторая, держа ланцет в больших и с виду неуклюжих пальцах, выполняла быстрые и ловкие движения.

Вероятно, под влиянием сильного напряжения воли дрожь руки прекратилась.

Среди ассистирующих при операции почти все знали Вильчура давно и видели его за работой. Сейчас они снова увидели его таким, каким он был прежде. Огромные руки, казалось, закрывали все операционное поле. Они копались в этой белой и серой массе, сминая ее. Трудно было представить, как они с такой легкостью и осторожностью прикасаются к мозгу.

Минута шла за минутой, длинные, как столетия. Присутствующие переводили взгляды с рук Вильчура на его прищуренные глаза и сосредоточенно сведенные брови.

Где-то внизу пробило одиннадцать раз. Маленькая ложечка погрузилась глубоко и едва уловимыми движениями исследовала полость. Поиск продолжался достаточно долго.

Наконец, ложечка со звоном упала на стеклянную плиту, а ее заменил маленький узкий нож с коротким острием.

Присутствующие замерли. Неожиданно среди белых извилин показалось несколько капель прозрачно-мутноватой жидкости. Заметив это, Хеннеберг решил, что Вильчур прервет операцию, потому что было ясно, что где-то разрезана мозговая оболочка.

Профессор, однако, операцию не прервал.

– Неужели не видел? Неужели не заметил? – подумали одновременно Хеннеберг и стоящий за ним Ранцевич.

Невыносимый жар юпитеров, казалось, был угрожающим.

Вдруг Вильчур погрузил два пальца между раздвинутыми полушариями и медленно достал изнутри что-то напоминавшее морскую звезду лилового цвета с желтыми краями.

Доцент Бернацкий тотчас же подал ему увеличительное стекло, и Вильчур внимательно миллиметр за миллиметром осмотрел удаленную опухоль. В нескольких местах были повреждения и царапины, но можно было сказать, что она была удалена полностью, что внутри ничего не осталось.

– Можно закрывать, – охрипшим голосом сказал Вильчур.

Медсестра приблизилась к нему, держа банку с формалином. Профессор протянул руку, чтобы бросить туда новообразование, но не попал, и кусок синюшного мяса упал на пол. Рука опять дрожала.

Бернацкий и Жук приступили к работе. Вильчур молча направился в гардероб и тяжело опустился на стул. Он чувствовал себя нечеловечески измученным и нервно истощенным.

Операция длилась один час и пятьдесят восемь минут. В гардероб вошел Хеннеберг, а за ним Ранцевич и другие хирурги. Никто не обмолвился ни единым словом. Молча снимали халаты, перчатки, и маски. Хеннеберг помог переодеться Вильчуру,

Лишь после длительного отдыха Вильчур спустился вниз в свой прежний кабинет. Вскоре здесь собрались все. Только сейчас Бернацкий спросил:

– Пан профессор, вы считаете, что он будет жить?

– Не знаю, – ответил Вильчур.

– Но ведь операция удалась.

– Теоретически да. Однако я не могу быть уверен в том, не поврежден ли мозг с внутренней стороны. Это во-первых. А во-вторых, не опоздали ли мы с операцией? Об этом мы узнаем лишь после того, как он проснется после действия наркоза.

Он обратился к Ранцевичу:

– Вы распорядились, чтобы больному ввели общеукрепляющие средства?

– Разумеется, профессор.

Вильчур встал.

– Ну, в таком случае я пока здесь больше не нужен, – сказал он. – Я голоден, до свидания.

Бернацкий и Ранцевич начали просить его остаться, но он категорически отказался:

– Спасибо вам большое, коллеги, но у меня другие планы.

У него не было никаких планов, просто он хотел остаться один.

Вильчур зашел в небольшой ресторанчик, съел там ужин и пошел в самый близкий и дешевый отель, куда ранее отправил свой чемодан. Прежде чем пойти отдыхать, он узнал у портье, что поезд на Вильно отправляется завтра в десять часов утра и что это самый удобный поезд, потому что скорый. Однако Вильчур никуда не спешил и поэтому решил ехать пассажирским в двенадцать часов.

Он не собирался оставаться в Варшаве дольше, не было у него ни планов, ни желания.

Правда, на следующий день он должен был все-таки навестить Добранецкого и проверить его состояние. Он хорошо знал, что если Добранецкий переживет сегодняшнюю ночь, то угроза смерти уже миновала.

По сельскому обычаю он встал очень рано, съел завтрак, который подала ему заспанная горничная, и пошел в клинику. Дежурный врач встретил его приятной вестью.

– Добранецкий жив, пан профессор. Я просто не знаю, как поздравлять вас. За время моей пятнадцатилетней практики я еще не присутствовал на такой операции. Вы волшебник, пан профессор.

Вильчур махнул рукой.

– Бросьте, коллега. Просто многолетний опыт и немного врожденных способностей. Ни то, ни другое не является моей заслугой. Вы мне лучше скажите, как состояние больного.

Врач сделал подробный отчет, закончив тем, что в настоящее время Добранецкий спит. Во время этого разговора приехал Ранцевич, и они с Вильчуром отправились на второй этаж. Добранецкий действительно спал. У изголовья сидела медсестра. Он дышал спокойно и ровно. Исхудавшее за время болезни лицо свидетельствовало о сильном истощении организма. Когда Вильчур нащупал пульс, веки больного задрожали. Он пришел в сознание и сразу узнал Вильчура. На его мертвенно-бледном лице появился жалкий румянец.

– Так вы все-таки приехали, – еле слышно произнес больной. – Какое это великодушие с вашей стороны... Я так болен, что не могу собраться с мыслями. Я думаю, что для меня нет спасения... Я верю только вам... Решите сами, можно ли и нужно ли делать операцию.

Ранцевич усмехнулся.

– Операция уже проведена. Веки Добранецкого задрожали.

– Как это?.. Проведена?...

– Да. Профессор Вильчур оперировал пана вчера вечером, и, слава Богу, операция удалась. Больной закрыл глаза, а Ранцевич добавил:

– Вы будете жить.

Из-под плотно сжатых век Добранецкого текли слезы. Прошло несколько минут, прежде чем он открыл глаза и посмотрел на Вильчура так, точно ждал от него подтверждения.

– Вы будете жить, – кивнул головой Вильчур. – Ваш собственный диагноз был правильным. Новообразование действительно появилось в области эпифиза, но его разветвления протянулись к мозжечку и под оба полушария. Нам удалось удалить все. По всей вероятности, через недели три вы будете здоровы.

Спустя минуту Добранецкий сказал:

– Не знал... Не представлял, что человек может быть способен на подобное всепрощение.

Веки Вильчур задрожали. Глаза заблестели, но тотчас же погасли. Вильчур ничего не ответил.

– Не умею выразить благодарности, которую чувствую, – произнес после паузы Добранецкий. – Даже... даже от вас не ожидал такого.

Вильчур кашлянул.

– Ну, мне пора. Желаю благополучного выздоровления и до свидания.

Он кивнул головой, повернулся и вышел из палаты. В коридоре его ждала пани Нина. Она бросилась к нему с благодарным лепетом, схватила за руку, плакала и смеялась попеременно, хаотично рассказывая ему о ходе операции, точно не понимая, что он лучше и больше может об этом рассказать. Наконец, она немного успокоилась и спросила:

– Пан профессор, а правда, что Ежи будет жить?

– Правда. Ему уже ничто не угрожает.

– Ах, пан профессор... Когда ночью мне сообщили об этом, я думала, что сойду с ума от счастья. И только тогда я поняла, какая удивительная у вас душа. Вы ангел!

Вильчур покачал головой.

– Нет. Я – человек.

Он умышленно спустился по боковой лестнице, чтобы избежать прощаний, и незамеченным вышел из клиники. Вернувшись в отель, оплатил счет и пешком пошел на вокзал. В зале ожидания он опустился на скамейку рядом с газетным киоском. Невольно глаза остановились на большом заголовке:

"Сенсационная операция мозга. Профессор Вильчур в Варшаве. Приехал из своей пустыни, чтобы спасти жизнь друга и коллеги".

Вильчур отвернулся и подумал:

– Это город, город с его шумом, с его правдой, с его пустотой...

Глава 16

Как только в шуме дождя растворился звук удаляющейся машины, а на березах, которыми был обсажен тракт, погасли последние отблески фар, Люция сказала:

– Сейчас я приготовлю вам комнату профессора.

– Я могу чем-нибудь помочь? – несмело спросил Кольский.

– Нет, спасибо, – решительно и холодно ответила Люция. – Я справлюсь сама.

– А мое присутствие не мешает вам?

– О, это мне совершенно безразлично.

Когда Люция закрывала дверь, он заметил:

– Я не предполагал, что вы здесь так хорошо устроились, ведь это же настоящая клиника. А что в той комнате?

– Там палата для больных, – лаконично ответила Люция.

Смена темы не помогла растопить лед, и Кольский сказал:

– Вы, мне кажется, очень злитесь на меня.

Вы обиделись на меня за то, что я уговорил профессора поехать в Варшаву?

– Вы ошибаетесь.

– Значит, вы не можете простить мне того, что я остался здесь. Но, прошу вас, поверьте мне, что этого хотел профессор.

– Я знаю, он говорил мне. Он сказал мне также, что перспектива остаться здесь так вас поразила, что вы отбивались руками и ногами.

– Вы хорошо знаете почему: я боялся, что вам это не понравится, а мне не хотелось навязываться. Остаться здесь, чтобы вы считали меня незванным гостем?

– А кто это вам сказал, что я считаю вас незванным гостем?

– Если бы было иначе, – сказал он тихо, – вы давно позволили бы мне приехать.

– Дело не в этом, – ответила она минуту спустя. – Но уж если вы здесь... У меня появилась возможность оказать вам старопольское гостеприимство.

Ее тронула смущенность Кольского, и она уже с лучшим настроением начала стелить ему постель. Достав из ящика пижаму Вильчура, она улыбнулась.

– Вы будете выглядеть в этом, как в скафандре. Я бы предложила вам свою, но моя вам будет мала. Боже правый, сколько у меня с вами хлопот! Ну, а сейчас спокойной ночи. Мои пациенты приезжают очень рано и не всегда ведут себя тихо. У вас осталось немного времени, чтобы отдохнуть.

Она подала ему руку, которую Кольский поцеловал, и вышла. Еще какое-то время он слышал ее шаги в соседней комнате, а потом в доме воцарилась тишина. Он разделся и лег. И хотя вместо мягкого матраца под ним был обычный сенник, он заснул почти тотчас же. Действительно, уже в семь часов утра его разбудили голоса под окнами. Он вскочил и сел на кровати. Люди на улице разговаривали необычно громко, вероятно, сказывалась привычка перекликаться в лесу. Он выглянул в окно. Дождь прекратился, но небо по-прежнему было затянуто густой пеленой туч. Он лег и попытался снова уснуть. Однако за стеной начал плакать какой-то маленький ребенок, а издалека, вероятно из амбулатории, доносился пронзительный крик женщины. Видимо, Люция делала кому-то перевязку. Вчера он сказал Люции, что больница ему понравилась, но это была неправда. Пустые, полутемные сени, неокрашенный пол, маленькие деревенские окна с кривыми стеклами – все это произвело на него гнетущее впечатление. Его сердце сжималось при мысли, что она добровольно обрекла себя на эту примитивную жизнь, отказалась от всех удобств, которые предоставляет цивилизация, и всех удовольствий, которые она бы имела в культурном окружении. Ведь в этой глухой провинции не могло быть ни театра, ни кино, ни библиотек, ни людей, которые бы соответствовали ее уровню и кругу интересов.

Сейчас он осмотрелся вокруг. Простая мебель, сколоченная из сосновых досок, голые стены, кое-где закрытые дешевыми килимами. (Килим – коврик без ворса.)

За окнами хмурый, пасмурный день и шлепанье ног по грязи, а за стеной назойливый, монотонный плач ребенка.

Все это так угнетало, парализовало волю. От всего этого становилось грустно, прежде всего грустно.

Он медленно начал одеваться. На жестяном умывальнике нашел прибор для бритья, рядом два деревянных ушата с водой. Вода была зеленоватой, и Кольскому казалось, что она пахнет рыбой или водорослями.

– Бедная Люция,- повторял он про себя.- Бедная Люция...

Одевшись и застлав, как умел, постель, он вышел в сени. Здесь ему в нос ударил запах затхлости и промокшей одежды. На лавках у стен сидело человек двадцать баб и мужиков. Чумазые малыши играли на полу. Он вышел на крыльцо. И здесь на лавках сидели мужики. Возле крыльца стояло несколько жалких телег, запряженных маленькими пузатыми лошаденками. Чуть ниже в долине виднелись мельничные постройки, а дальше открывалась печальная однообразная картина обнаженного тракта, по которому ветер гнал остатки осенних листьев.

Осторожно ступая по камням, разбросанным по лужам, он обогнул дом. Здесь, по крайней мере, было суше. Нашел утопанную тропинку, которая вела к пруду. Добравшись до него, он долго стоял и смотрел на спокойную гладь воды, по которой лениво проплывали какие-то стебельки травы, пожелтевшие листья и ветви деревьев.

– Бедная Люция,- думал он.- Заточить себя здесь... В этой безнадежности, в этой рутине...

Тяжелым шагом он повернул к дому, вспомнив, что должен помочь ей принять пациентов. Постучав в дверь амбулатории, вошел. На стуле сидела какая-то старушка с откинутой головой. Кольскому было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что у нее трахома. Люция, склонившись над ней, прижигала ей ляписом глаза. Не прекращая работы, она взглянула в сторону Кольского и сказала:

– Вы уже встали? Вас разбудили, правда? Идите в мою комнату, там для вас приготовлен завтрак.

– Спасибо, но я не голоден и хотел бы вам помочь, а позавтракать у меня еще будет время позднее.

– Нет-нет,- запротестовала она,- прежде всего подкрепитесь.

В кабинет вошла Донка в белом халате, и Люция обратилась к ней:

– Донка, проводи доктора в мою комнату. Это моя ассистентка,- улыбнулась она,- панна Донка.

Кольский подал ей руку и назвал свою фамилию.

Комната Люции выглядела уютнее, чем спальня профессора. Она была меньше, и по всему чувствовалось, что здесь живет женщина. На небольшом столике, на шкафчике и на подоконнике стояли горшочки с веточками сосны; на стенах были развешаны вышитые рушники,- вероятно, рукоделие пациентки Люции. Висели здесь также и фотографии в скромных черных рамках. Среди них он нашел и свою, с грустью отметив, что она была размещена где-то в стороне. В самом центре располагалась большая фотография профессора Вильчура.

– А может быть, вы бы хотели горячего молока, пан доктор?- спросила Донка.

– Нет, спасибо. Я предпочитаю холодное.

– Тогда приятного аппетита.- Она кивнула головой и вышла.

На белой скатерти из грубого полотна стоял приготовленный завтрак. Здесь находилось несколько предметов: большой глиняный кувшин с молоком, эмалированная кружка, буханка черного хлеба, нож и масленка, полная масла. Ему действительно не хотелось есть, и он выпил только две кружки молока, после чего вернулся в амбулаторию. Увидев его, Люция сказала:

– У двери висит халат профессора. Быстренько наденьте его. Этот молодой человек как раз нуждается в вашей помощи.

И закончила по-латыни:

– Я уверена, что это аппендицит, только не знаю, необходима ли операция.

На длинном узком столе лежал парень лет пятнадцати-шестнадцати и тихонько стонал.

– Сейчас посмотрим,- уже своим "распорядительным" тоном сказал Кольский.

Диагноз Люции был правильным. Это было действительно гнойное воспаление.

Температура 38,5. Сильные боли вдоль паха и вглубь брюшной полости указывали на то, что операцию не следовало откладывать. Больного перевели в операционную.

– Вам достаточно будет помощи Донки? – спросила Люция.- Донка уже не раз ассистировала при операциях.

Кольский нерешительно взглянул на девушку.

– Поскольку я еще незнаком с местными условиями, мне бы хотелось на этот раз...

– Хорошо. Донка все подготовит, а я приду позже. За это время я только вырву зуб одному праведнику, который корчится от боли.

Кольский удивился.

– Как это? И зубами вы должны здесь заниматься?

– Ах! – рассмеялась она.- Всем. Самый ближайший зубной врач живет в тридцати километрах отсюда.

Минут через двадцать она появилась снова, и Кольский приступил к операции, проклиная в душе какую-то оставшуюся назойливую осеннюю муху, которая беспрерывно надоедала ему.

– Это ужасно,- думал он,- проводить операцию в таких условиях. Здесь же каждую минуту может сесть муха на открытую рану.

Люция, точно угадав его мысли, произнесла:

– Мухи – наше самое большое бедствие. Вы не представляете себе, чего стоит нам выгнать их из этой комнаты летом. Кажется, что они проникают через стены.

– Это очень опасно с точки зрения антисептики,- заметил Кольский.

– Я согласна, но с ними никак не справиться.

У Кольского на кончике языка уже был совет, что можно уехать отсюда, но он вовремя сдержался.

– Несмотря на это, слава Богу, у нас не было случая заражения, и все операции заканчивались благополучно,- сказала Люция.

Удалась и эта. Благодаря помощи Кольского все пациенты были приняты до шестнадцати часов. Поэтому доктор Павлицкий, приехавший несколькими минутами позже, не нашел для себя работы и, шутя, предъявил Кольскому претензии, что тот отнимает у него хлеб.

Они долго разговаривали за чаем, при этом Павлицкий расспрашивал Кольского об отношениях в медицинских кругах Варшавы, о новых методах лечения некоторых

заболеваний и наконец о Добранецком и его состоянии. Поскольку он не был проинформирован о конфликте между Добранецким и Вильчуром, то сообщение об отъезде профессора в Варшаву воспринял как само собой разумеющееся. Он даже высказал предположение:

– Кто знает, не уговорят ли профессора остаться в столице навсегда. По правде говоря, не благо для общества, что такой известный ученый ограничил свое поле деятельности глухой провинцией.

Люция покачала головой.

– Наверное. Но профессор уже столько сделал для общества, что имеет право подумать о себе, а здесь он чувствует себя лучше всего.

После отъезда Павлицкого Кольский заметил:

– Я, по крайней мере, не уверен в том, что с такой убежденностью вы утверждали.

– Что профессор чувствует здесь себя лучше всего?

– Да,- подтвердил Кольский.- Он покинул Варшаву от отчаяния. И я не удивился бы нисколько, если бы его сейчас там задержали.

Люция улыбнулась.

– Вы его очень плохо знаете, если так говорите. Я ручаюсь, что он покинет Варшаву сразу же после операции. Он не останется там ни одного дня дольше, чем это необходимо.

Кольский задумался и после паузы сказал:

– Возможно, вы правы... Возможно... Собственно, это объяснялось бы возрастом профессора. Но... сейчас, когда я вижу все это вокруг, эти условия работы и эту ежедневную серость, я не могу понять, как вы можете выдержать здесь, панна Люция.

– Здесь вовсе не так плохо,- пожалла она плечами.

– Мне напоминает это,- продолжал он в задумчивости,- преддверие nirваны, как бы вход на кладбище. Здесь все замирает в ленивой монотонной тишине... Нет, вы не думайте, что я хочу внушить вам чувство отвращения ко всему этому. Вовсе нет. Мне только кажется непонятной расточительностью терять здесь свои молодые годы, самые лучшие годы жизни.

– Вы забываете об одном, пан Янек: бывают чувства, которые серое однообразие могут превратить в самую прекрасную сказку, которые то, что вы называете тоской и безнадежностью, способны превратить в безоблачное счастье.

Кольский пожал плечами.

– Разумеется. Я понимаю это.

– Нет, вы не понимаете. Понять это может лишь тот, кто сам способен на такое, кто способен почувствовать и пережить эти радости, кого они могут наполнить и удовлетворить. Вот вам тест на испытание: вы были бы способны для любимого человека отказаться от Варшавы, карьеры, денег, удовольствий, развлечений и поселиться в глухой провинции, например, здесь? Кольский почувствовал, как сердце его затрепетало, и ответил:

– Я бы смог.

Люция покачала головой.

– Не верю.

Он посмотрел ей прямо в глаза и отчетливо произнес:

– А вы проверьте. Скажите одно слово, только одно слово. Достаточно только одного вашего слова.

Люция растерялась: она не ожидала такого ответа. Она скорее ждала длинного вывода, основанного на рассудительной аргументации, объяснений в стиле, характерном для него во времена, когда она была еще в Варшаве. Теперь она знала, что он говорит правду, что действительно способен ради нее остаться здесь и не откажется от своих слов. У нее, конечно, не было намерений воспользоваться этим, но она была тронута и тем, что он сказал, и той переменной, которая в нем произошла. Только сейчас она заметила сеточку морщин вокруг глаз, похудевшее лицо и седые волосы на висках. Та озабоченность, которую она находила в его письмах, оставила след и на его лице. И не только на лице, но и в душе тоже. Он наверняка встретился с глубокими и тяжкими переживаниями...

И вдруг Люция поняла, что нужно, что она должна как-то вознаградить его за эти страдания, что она была очень резка и безразлична, что платила ему за его действительно

большую любовь (потому что только настоящая любовь способна на жертвенность) черствостью, что осознанно не вникала в его внутренние переживания, зная, что сумела бы смягчить их, облегчить его страдания, даже не жертвуя ничем: достаточно было лишь теплого слова, сердечного взгляда или просто искренней заинтересованности.

Она мягко положила ему руку на плечо и сказала:

– Пан Янек, вы знаете, что я не скажу этого слова, не могу сказать. Но я прошу вас поверить мне, что я очень высоко ценю ваши чувства и, как я теперь понимаю, до сих пор не знала их настоящей ценности.

Он схватил ее руку и прижал к губам.

– Я хочу также, – продолжала она, – чтобы вы знали, что я считаю вас человеком очень мне близким, что меня очень волнуют ваши дела, ваши радости и горести и что вы всегда можете рассчитывать на мою искреннюю, глубокую и нежную дружбу.

После этого разговора в их отношениях многое изменилось. Кольский стал искренним и более непосредственным. Почти все время они были вдвоем. Емел, который раньше часто подолгу просиживал в больнице, разговаривая с Вильчуrom, сейчас, во время его отсутствия, приходил сюда только на ночь. Большую часть времени он проводил в городке, в корчме или на мельнице, поскольку в последнее время подружился с Прокопом, к огорчению всего семейства. Прокоп на старости лет полюбил время от времени заглядывать в бутылку. Правда, он не пил так, как Емел, но и это не радовало ни его жену, ни остальных женщин. Весть об этом в больницу принесла Донка, и Люция искренне смеялась, рассказывая Кольскому об опасениях женщин с мельницы. Сама она не считала опасность угрожающей. А Кольский шутил:

– Это нельзя недооценивать. Вспомним о праотце Ное, который в очень преклонном возрасте пристрастился к вину.

Прошло три дня после отъезда Вильчура, и Люция начала беспокоиться.

– Я боюсь, не случилось ли с ним чего-нибудь, – говорила она Донке.

В присутствии Кольского из деликатности она не делилась своими опасениями. Она решила, что, если завтра профессор не даст о себе знать, нужно будет послать телеграмму в Варшаву.

Но как раз на следующее утро Василь, вернувшийся из Радолишек, принес письмо. Оно было написано рукой Вильчура. Письмо было не из Варшавы, а из Вильно. Удивленная Люция вскрыла конверт. Профессор писал:

"Дорогая панна Люция!

На обратном пути из Варшавы я заехал в Вильно. Для решения разных вопросов я должен буду задержаться здесь несколько дней, а может быть, и дольше. Поскольку Ранцевич не возражает, чтобы доктор Кольский остался у нас на некоторое время, я буду благодарен ему за помощь и замещение меня. Я надеюсь, что свое пребывание в нашей больнице он будет рассматривать как отдых. Мне было приятно, когда в Варшаве я узнал, что его там очень уважают, равно как и я его уважал всегда. Он толковый парень. Я уверен, что он великолепно справляется с моей работой в больнице. В Вильно я остановился у коллеги Ранцевича, который лечил меня, когда покусала собака. Мне здесь удобно и приятно, Поэтому не удивляйтесь, что я не спешу с возвращением. Передавайте всем привет. Целую ваши руки. Рафал Вильчур".

В конце письма был постскрипtum: "Сам оперировал Добранецкого. Операция удалась. Пациент будет жить".

Для Люции письмо Вильчура было настоящим сюрпризом. Она прочитала его несколько раз и все никак не могла понять, что случилось. Прежде всего ее поразило сообщение о непредвиденной остановке в Вильно. Заставить Вильчура остаться там могла лишь болезнь. Но это никак не согласовывалось с еще более удивительной информацией: профессор написал, что оперировал Добранецкого сам. Это означало, что он как-то справился с дрожью левой руки. Все это казалось Люции каким-то таинственным. Если договаривался с Ранцевичем о том, чтобы задержать Кольского, значит, должен был уже в Варшаве знать, что не вернется сразу, а останется в Вильно на несколько дней. Если тогда был здоров, то что могло заставить его остаться в Вильно? Здесь могли быть уже только вопросы семьи. Неужели приезд дочери или зятя?.. Но в таком случае, почему он не упоминает об этом?..

Люция терялась в догадках. Наконец, она решилась спросить Емела, что он думает по этому поводу. Она предполагала, что профессор перед отъездом мог говорить с ним о каких-нибудь своих тайных планах.

Однако Емел ничего не знал. Прочел письмо и пожал плечами.

– Если его так тянет в Вильно,- сказал он,- значит, во время своего лечения там познакомился с какой-нибудь девочкой.

– Глупости говорите,- скривилась Люция.

– Потому что,- с невозмутимой уверенностью продолжал Емел,- если бы речь шла обо мне, то у вас не было бы сомнений в том, что я погряз где-то в дороге по случаю открытия какой-нибудь исключительно привлекательной корчмы. А он ведь не поклоняется Бахусу. Но вам следует знать, что, кроме Бахуса, миром правит только Венус (Венера), ну добавим к ним еще Меркурия. Таким образом, вы сами рассудите, кому из двоих – Меркурию или Венере – мы должны быть благодарны за легкомысленную прогулку нашего приятеля. Она, разумеется, не задумывалась всерьез над этими нелепыми предположениями Емела и решила поговорить с Кольским. Ей это казалось кстати и потому, что у нее таким образом появлялась возможность показать ему письмо профессора, полное лестных слов о Кольском.

– Честно говоря, пан Янек, я не должна была бы показывать вам это письмо, а то ведь вы еще, чего доброго, зазнаетесь,- шутила она.- Но вы здесь как бы в отпуску, поэтому прочтите уж.

Кольский действительно был несколько смущен похвалами в свой адрес. Не менее его удивило решение профессора остаться в Вильно. Что касалось операции, он сказал:

– Я не вижу в этом ничего удивительного. Такие вещи можно делать одной рукой при умелой помощи двух специалистов. А там ведь было достаточно хирургов, давно работающих с профессором. Я не хвастаюсь, но я сам ему не один раз ассистировал и точно знаю, что означает каждое его движение, или что я должен сделать. Что же касается Вильно, то ему просто захотелось отдохнуть. Возможно, появился какой-либо шанс получить какие-нибудь субсидии для этой больницы. Да и вообще у каждого человека есть свои личные дела, о которых не рассказывают даже самым близким.

– Как вы думаете, пан Янек, мне следует написать в Вильно?

Кольский сделал неопределенное движение рукой.

– Я думаю, что скорее нет.

– Почему?

– Потому что если бы профессор ждал ваше письмо, то, по всей вероятности, указал бы адрес врача, у которого он остановился. Вы знаете этот адрес?

– Нет,- ответила Люция.- Но его легко установить. Доктор Павлицкий, вероятно, имеет список врачей. Впрочем, я знаю, в какой больнице работает доктор Русевич.

– Однако мне кажется, что профессор не ждет вашего письма, иначе не забыл бы об адресе. Профессор всегда обо всем помнит.

– Это правда,- согласилась Люция, и вопрос, таким образом, был решен.

Пребывание Кольского могло действительно походить для него на отпуск. К тому же и погода исправилась. Прекратились дожди, и первые в этом году легкие заморозки сковали болотистые дороги и тропинки. Сейчас они могли совершать длинные прогулки в окрестностях. Люция сводила его в лес, на кладбище, где была похоронена жена Вильчура, в городок и еще в несколько наиболее живописных мест. Гуляя, они подолгу разговаривали. Подавленность Кольского исчезла без следа. К нему вернулась прежняя энергия, способность интересоваться подробностями, веселый смех и шутка.

– Действительно ли здесь так серо и нудно" как вам вначале казалось?- спросила Люция с легкой иронией.

В ответ он посмотрел ей в глаза и взглядом сказал, как изменилось его мнение.

В один из дней она, как бы между прочим заметила:

– Видите, пан Янек, обо всем можно забыть.

– Разумеется,- согласился он.- Но есть и исключения. Мое пребывание здесь навсегда останется в моей памяти.

– Это вам только кажется. Со временем и в соответствующих обстоятельствах оно забудется так, как выветрились те переживания, которые угнетали вас в Варшаве. Мне кажется, что они уже выветрились бесследно.

– Слава Богу, совершенно, и следа от них не осталось.

Люция рискнула спросить:

– А она?

– Что она?

– Ну, та женщина, она так же легко забыла о вас?

Он рассмеялся.

– Неизмеримо легче. Я убежден, что уже через час после нашего расставания она забыла обо мне.

– Значит, не любила.

Он нахмурился.

– Эта женщина вообще не понимает значения слова "любовь", хотя на устах у нее оно чаще, чем другие.

– Почему чаще?

– По той простой причине, что принадлежит ее... ремеслу. Понимаете? Это слово может произноситься одному человеку... А если, скажем, десяти...

– Ах, вот как,- прошептала Люция.

– Только сейчас я понял, что не имел права ничего требовать от нее, потому что сам я ничего не мог дать ей. Видите, панна Люция, это была глупая ошибка с моей стороны. Я думал, что принимаю лекарство, а это был даже не наркотик. Обычная отравка. Некоторое время они шли молча.

– К счастью, – повторил Кольский,- от этого не осталось и следа.

Люция спросила:

– Не понимаю только, что могло склонить вас к этому досадному приключению?

– Как раз поиск наркотика.

– Согласна. Но вы ведь могли сделать лучший выбор.

– У меня, панна Люция в этой области так мало опыта, что... Впрочем, это уже прошлое, о котором мне хотелось бы забыть.

– Однако, зная вас, я не могу поверить, что вас с этой женщиной не связывал хотя бы какой-то незначительный роман.

Кольский кивнул головой.

– Конечно, но это была лишь иллюзия, заблуждение, результат самовнушения и внушения тоже. Видите ли, утопающий и за соломинку хватается. К счастью, рана оказалась не столь угрожающей и научила меня быть более осторожным в будущем.

Люция уже давно догадывалась, что речь здесь идет о пани Добранецкой. В письмах Кольского того периода она иногда встречала такие выражения, которые определенно не могли принадлежать ему и были как раз в стиле пани Добранецкой. И сейчас она радовалась, почувствовав ту неприязнь, которую питал Кольский к своей бывшей любовнице. Люция всегда считала Добранецкую женщиной злой, коварной, способной на самые подлые поступки. Это она организовала гнусную кампанию против Вильчура. Однако в глубине души ее задел тот факт, что Кольский мог любить ее и одновременно завести роман с той женщиной. Люция не страдала манией величия, но считала себя более привлекательной, чем Добранецкая. Она, бесспорно, была моложе Добранецкой, не говоря уже о разнице в этических нормах. Поэтому Люция почувствовала себя оскорбленной самим сопоставлением с Добранецкой, кроме того, хотя она не призналась бы себе сама, все-таки ей было жаль Кольского.

– Словом, вы стали антифеминистом?- спросила она.

– О нет. Это было бы преувеличением. Во всяком случае, мне бы не хотелось возобновлять поиски наркотика.

– И он вам не понадобится. Ведь все ваши переживания исчезли.

Он покачал головой.

– Нет, панна Люция, они не исчезнут никогда.

– В словах "всегда" и "никогда" много пафоса, и только очень редко в них заключена правда.

– Что поделаешь, но этот редкий случай выпал как раз на мою долю.

– Я удивляюсь,- после паузы сказала Люция,- что вы, пан Янек, так трезво умея смотреть на жизнь, не сумели оттолкнуть что-то неудобное для себя, не сумели защититься от чего-то, что приносит вам только огорчения.

– Но, панна Люция! Я вовсе не хочу отказываться от этого огорчения.

– Ну, это уже нелогично.

– Возможно,- согласился он.

Долго шли молча.

– Расскажите мне что-нибудь о ней,- неожиданно попросила Люция.- Что вас привлекло в ней? Почему вы выбрали ее, а не кого-нибудь другого?

Кольский пожал плечами.

– Не знаю. Я сам об этом долго думал и не нашел на это ответ. Единственным правильным ответом было бы, пожалуй, то, что не я ее выбирал, а она меня.

– И вы безропотно согласились?

– Да. Мне нечего было защищать. Вы должны понять, что, потеряв все, я сам был удивлен, что могу еще для кого-нибудь представлять интерес. Для кого-нибудь, а особенно для нее.

– Особенно? Почему особенно?

– Я не то хотел сказать. Мне хотелось сказать, что эта женщина пользовалась большим успехом, была окружена роем поклонников, отличалась привлекательностью и красотой.

– Вы осознанно употребляете прошедшее время?- она внимательно посмотрела на него.

– Осознанно,- ответил он.

– Это значит, что она уже непривлекательна и без поклонников?

– Да,- кратко ответил он.

Сейчас она убедилась, что у Кольского был роман с Добранецкой, и невольно со злобой заметила:

– Не теряйте надежды. Может быть, она восстановит свою привлекательность, и вы сможете к ней вернуться.

Кольский нахмурил брови. Он почувствовал себя глубоко уязвленным словами Люции. Правда, у него не было никакого права ждать от нее особого внимания, однако насмешки он все же не заслужил.

– Зачем вы хотите меня обидеть?- сказал он с грустью в голосе.

– Вовсе нет. Только я думаю, что, поскольку вы уже знаете ее, вас больше не ждут разочарования, вы ничем не рискуете.

Она находила какое-то удивительное и непонятное для нее самой удовольствие досаждать ему.

– Я вовсе не шучу,- продолжала она с наивным выражением лица. Выбирая другую, вы бы могли встретиться с новыми сюрпризами. А в довершение новая возлюбленная случайно не была бы окружена роем поклонников и не слыла бы красавицей.

Кольский опустил голову и молчал. Он не узнавал Люцию и начинал жалеть о том, что доверился ей. Люция почувствовала его настроение, но какое-то упрямство не позволяло ей отказаться от занятой позиции. В душе она думала:

– Так ему и надо. Так ему и надо...

За всю обратную дорогу не проронили ни одного слова. Когда поднялись на крыльцо, Кольский сказал:

– Возможно, завтра вернется профессор...

– Вам нет необходимости считаться с его возвращением. Я вам сердечно благодарна за оказанную помощь, но если это для вас неудобно, то я не смею вас больше задерживать.

Кольский, стиснув зубы, сказал:

– О да, я убежден, что вы не хотите меня задерживать, и поверьте мне, что я не остался бы более часа, если бы не обещал профессору Вильчуру.

– По некоторым вопросам у вас необыкновенно чуткая совесть,- с безразличием заметила Люция.

– Да. Приятно, что вы хоть что-то чуткое нашли во мне, потому что моя кожа, как вы считаете, настолько толстая и нечувствительная, что из нее можно сделать подушку для шпилек.

Настроение Люции окончательно испортилось. Она была недовольна собой. Самых несправедливых и ужасных вещей наговорила Кольскому; возможно, даже оскорбила его. И все это в ответ на его доверчивость, искренние признания. Она не могла понять собственных мотивов.

– Что со мной случилось? – думала она. – Что со мной случилось?

Она вела себя по отношению к нему просто бестактно. Ее последние слова на крыльце означали, что его попросту выпроваживают из дома. Правда, начал он, он первый вспомнил о возвращении профессора, но все-таки вела она себя скверно. Наверное, он сидит сейчас у себя несчастный и переживает. Как могла она быть такой бесчувственной по отношению к нему! Как это нехорошо, что она воспользовалась своим преимуществом по отношению к человеку, который ее любит. Как все это бессмысленно, ведь он ей очень нравился, она радовалась его пребыванию в больнице, его общество для нее – настоящий праздник, и она действительно хотела задержать его как можно дольше.

Она долго думала над этим и решила завтра же вознаградить Кольского за сегодняшние неприятности. Нужно оказать ему как можно больше расположения. Л еще извиниться, просто извиниться, потому что виновата.

До извинений, однако, не дошло. А не дошло по следующей причине.

На следующий день ранним утром привезли из Нескупы молодого парня, который, найдя в речушке шрапнель со времен войны, начал раскручивать заржавевший заряд. Его привезли всего израненного, и Кольский, не закончив завтрака, начал с помощью Донки штопать несчастного. Когда уже операция была закончена и пострадавшего перенесли на кровать, Кольский с Донкой вернулись в операционную, чтобы навести порядок. Стенка между операционной и амбулаторией была сколочена из тонких досок, поэтому в амбулатории было хорошо слышно каждое громко произнесенное слово. Еще отчетливее был слышен смех. А Донка и Кольский все время смеялись, смеялись весело и беззаботно. В голосе Донки явно слышались нотки кокетства. Они говорили о каких-то танцах. Потом Кольский хвалил Донку за ее усердие в уборке его комнаты и вдруг сказал шутя:

– Когда буду уезжать в Варшаву, то запакую вас в сундук и заберу с собой.

– А вы думаете, что Василь на это согласится? – дружески отшучивалась Донка.

– А мы сделаем это потихоньку, он и не заметит.

Люция была возмущена. Посмеивается там с этой глупенькой девушкой. Ведет себя как школьник. И что они там так долго делают? Эта сопливая кокетничает, а ему, видимо, это доставляет удовольствие. Это просто неприлично. Новый взрыв смеха заставил Люцию вскочить.

– Ну, я ее научу уму-разуму, – сказала она себе вполголоса.

За обедом она обменялась с Кольским лишь несколькими словами, а позднее позвала Донку в аптеку и, вперив в нее суровый взгляд, сказала:

– Дорогая моя, я хочу обратить твое внимание на то, что ты ведешь себя неприлично. Я слышала сегодня твой разговор с доктором в операционной и уж со всей определенностью заявляю тебе, что больница не место для флирта, для флирта и хихиканья, а доктор для тебя не подходящий партнер. Постыдилась бы, имея жениха, заигрывать с другими мужчинами. Если бы пан профессор узнал об этом, он бы очень рассердился на тебя.

Донка, которая вначале широко раскрыла глаза и немного испугалась строгого тона Люции, сейчас подумала, что уж кто-кто, но профессор определенно не рассердился бы на нее: он ведь и сам часто шутит с ней так же, как доктор Кольский. Она не чувствовала себя виноватой.

– Но я же ничего такого... – начала она защищаться.

Люция прервала ее:

– Так вот я прошу тебя, чтобы больше ничего такого не повторялось. Если у тебя смазливое личико, то это еще ничего не значит и из этого вовсе не следует, что ты постоянно должна стрелять глазками в пана доктора. Я и раньше это заметила, да-да. А сейчас убери эти травы. У пана Емела все постоянно в беспорядке. Действительно, нужно иметь стальные нервы...

Сказав это, Люция ушла в свою комнату, накинула на плечи пальто и одна отправилась на прогулку. Она умышленно прошла мимо окон Кольского, чтобы он мог ее видеть.

И она не ошиблась: Кольский, конечно, увидел ее. И хотя в нем еще жила обида за вчерашнее, он решил все же догнать ее и извиниться за то, в чем был невиновен. Ему было тяжело перенести ее холод.

В сенях он увидел Донку. Она стояла, опершись на подоконник, и горько плакала.

– Что с вами? – спросил он, удивленный.

В ответ девушка заплакала еще громче. Прошло много времени, пока он добился от нее первых слов:

– Пани Люция... отругала меня... как, не знаю как... как последнюю...

– За что отругала?

– А за вас...

– За меня? Как это за меня?

– Потому что панна Люция... сказала... что я, что я...

– Что вы?

– Что я флиртую с вами, пан доктор, – выдавила из себя Донка и снова разрыдалась.

– Ну, успокойтесь, пожалуйста. Что за нелепость?

– У-у-у-у, – плакала Донка. – Что я стреляю в вас глазами... У-у-у. А я же ничего, я, Боже упаси...

Она постепенно успокаивалась и более или менее точно повторила всю головоломку, полученную от Люции. Это его не только озадачило, но и оскорбило. Он не ожидал, что Люция могла дойти до того, чтобы подозревать его в каких-то шашнях тут, под этой крышей. Вероятно, решила испортить его пребывание здесь окончательно, потому что не могла же она принять всерьез, что он флиртует с этой девушкой, ведь даже намек на это не было. Донка показалась ему сразу милой и симпатичной, и он шутил с ней так, как обычно в Варшаве с медсестрами, которые ему нравились. В данном случае самым неприятным было то, что пострадала невинная Донка. Он, как умел, успокаивал ее и пообещал, что выяснит все с панной Люцией. И действительно, он решил поговорить с ней сейчас же. Кольский догадывался, что Люция пошла в сторону леса, и отправился в том же направлении. Минут через пятнадцать-двадцать он догнал ее на повороте дороги. Услышав его шаги сзади, она остановилась и сказала:

– О, я вижу, что и вы любитель одиноких прогулок.

– Вовсе не одиноких, я как раз искал вас. Вы ушли, даже не спросив, буду ли я вас сопровождать.

– Я не думала, что это доставит вам удовольствие. Это, во-первых. А во-вторых, я полагала, что вы найдете более приятное общество для прогулки.

– О ком вы говорите?

– Ах, Боже мой, не все ли равно? Речь идет вообще о женщине, о какой-нибудь женщине. Я вижу, вы стали настоящим бабником.

– И из чего это видно?

– Ну, хотя бы из ваших заигрываний с Донкой.

– Как вы можете так говорить?! – воскликнул он в отчаянии.

– Но будьте осторожны, – продолжала она, как бы не услышав его реакции. – Василь – крепкий парень. Не так просто будет вам запаковать его невесту в сундук.

Она рассмеялась.

– Как это романтично! Молодой врач из Варшавы похищает возлюбленную сына мельника и увозит ее в багажном вагоне в столицу.

Сейчас он смотрел на нее с откровенным беспокойством.

– Пани Люция! Что с вами случилось?

Она покраснела и, не глядя ему в глаза, сказала довольно громко:

– Случилось то, что я считаю неприличными ваши заигрывания с этой девушкой. Вы можете направить свою обольстительность на кого-нибудь иного и заниматься ухаживаниями где-нибудь в другом месте, по крайней мере не здесь. Правда, я понимаю, что вы здесь скучаете, но мне бы хотелось, чтобы вы нашли какие-нибудь другие развлечения вместо того, чтобы морочить голову Донке.

Он был просто ошеломлен тем, что услышал.

– Что случилось, панна Люция? – повторил он, и ему пришла а голову мысль, что это явное проявление начала истерии. Конечно, сидя здесь, в этом медвежьем углу, общаясь с мужиками и смертельно скучая, она довела себя до того, что ее нервы просто на пределе. После длительного молчания он стал объяснять всю нелепость ее подозрений.

– Панна Люция! Как вы можете даже предположить, что, любя вас и имея счастье находиться с вами под одной крышей, я мог бы хотя бы в самой незначительной степени заинтересоваться какой-нибудь женщиной!

Его аргументы, а особенно последний, убедили ее. Несомненно, она сделала поспешные выводы. Она обидела не только невинную Донку, но и Кольского. Ею овладело чувство стыда. Она не знала теперь, как оправдаться перед ним за свое глупое поведение. Наконец, она пришла к убеждению, что никакие уловки не приличествуют их взаимоотношениям, и, будучи по натуре прямой и откровенной, она протянула ему обе руки.

– Я очень вас прошу извинить меня, пан Янек. Мне, конечно, это только показалось. Не обижайтесь на меня, пожалуйста.

Он схватил ее руку и начал осыпать поцелуями.

– Не обижаться?.. Но я нисколько не на вас не обижаюсь! Только мне было так грустно, очень грустно... Оттого что вы не верите мне, что вы осуждаете меня за то, что я сам назвал бы ...святотатством.

В глазах его стояли слезы. Чувство собственной вины еще более усилило неизъяснимое волнение Люции и желание компенсировать Кольскому нанесенную обиду. Она не знала, какую форму придать своему покаянию, но, во всяком случае, ей хотелось быть с ним как можно мягче и сердечнее.

– Пан Янек! – сказала она. – Возможно, я бы не позволила себе устроить такую бессмысленную сцену, если бы не считала вас кем-то очень близким. Вам следует быть со мной поостороже, а то я совсем от рук отбилась.

– Ну, не будем больше об этом. Все счастливо закончилось, а если вам нравится, то, прошу вас, кричите на меня все двенадцать часов ежедневно при условии, что вы подарите мне четверть часа, подобные этим.

С легкой грустью она покачала головой.

– Вижу, что нет мне прощения, и с сегодняшнего дня вы будете считать меня мегерой.

В дружеской атмосфере они провели остаток вечера. После ужина еще долго разговаривали, причем Люция изо всех сил старалась вознаградить его за доставленные ему огорчения. Впрочем, для этого не требовалось от нее никаких особых жертв. Она действительно была счастлива оттого, что они помирились. Кратковременная буря еще больше углубила ее симпатию и привязанность к этому милому парню и заставила осознать, что, во всяком случае, его чувства заслуживают высокой оценки. Если она не могла ответить ему тем же, то это не значило, что его чувствами следует пренебрегать, скорее наоборот. Само сознание, что существует на свете человек, способный ради нее всем пожертвовать, человек, на которого всегда можно положиться, на помощь которого можно рассчитывать, – само это сознание наполняло ее как бы чувством безопасности. Короче говоря, она заметила в себе неожиданную для самой себя перемену: насколько раньше любовь Кольского она считала определенной тяжестью, препятствием в своей жизни, настолько сейчас она была ему благодарна за нее.

Перед тем как уснуть, она вспомнила этот неприятный инцидент. Ей припомнились оскорбительные слова, которые она бросила Донке и ему. В комнате было темно, но она чувствовала, что краснеет.

– Вела себя как школьница, – вполголоса произнесла она.

И вдруг в голове промелькнула мысль:

– Как ревнивая школьница...

Открытие было столь неожиданным, что Люция даже села на кровати, поднятая внезапно охватившей ее тревогой. О ревности здесь, разумеется, не могло быть и речи. Что за абсурд! Однако, кто знает, не воспримет ли так Кольский? Ведь все здесь говорило как раз о ревности, к тому же необоснованной. Просто устроила ему сцену!

Люция долго не могла уснуть, вспоминая все подробности поведения Кольского. Она успокаивала себя: нет, в его поведении не было ничего, что подсказывало бы, что он уличил ее в ревности. Наконец, измученная, она уснула, решив, что в любом случае должна сделать

его пребывание в больнице как можно более приятным. Ведь еще несколько дней – и они расстанутся. Расстанутся, возможно, навсегда. Разве что Кольский, например, захочет приезжать в отпуск к ним в Радолишки. Это было бы совсем неплохим решением.

Глава 17

Профессор Вильчур не послал сообщения о своем возвращении по двум причинам: во-первых, не хотел, чтобы готовились к его приезду, а во-вторых, должен был считаться с деньгами. Правда, он получил в издательстве за свои научные работы довольно приличную сумму, но истратил ее на приобретение многих лекарств, необходимых в больнице. Да и трехнедельное пребывание в Вильно заставило поиздержаться. Поэтому осталось лишь на железнодорожный билет и на то, чтобы нанять лошадей в Людвикове.

Была и третья причина и, может быть, самая важная, в которой Вильчур не желал признаться даже самому себе. Он просто хотел появиться в больнице неожиданно, чтобы сразу убедить, как сложились отношения между Люцией и Кольским. В таком возвращении без предупреждения был какой-то неприятный привкус, привкус захвата врасплох, и Вильчуру хотелось объяснить это самому себе экономией на сообщении. В сущности, он никого не обманывал. Три недели он оставался в Вильно лишь для того, чтобы облегчить Люции сближение с Кольским, чтобы за время своего отсутствия предоставить ей возможность проверить свои чувства, желания и намерения.

Рассудок говорил ему, что он поступает правильно. Во время бала в Ковалеве, в тот памятный вечер, когда грубые, но такие правильные слова пана Юрковского всколыхнули совесть Вильчура и разрушили все планы, сокрушили все его надежды, у профессора созрело решение. Неожиданный приезд Кольского облегчил реализацию этого решения. Вначале Вильчур собирался под каким-нибудь предлогом отправить Люцию на длительное время в Варшаву. Он не думал специально о Кольском, но его особу все-таки принимал во внимание. Ему хотелось, чтобы Люция, оказавшись в обстановке большого города, в других условиях и среди других людей, получила возможность сопоставить свое чувство, которое она называла любовью, с действительным состоянием своей психики. Ему хотелось, чтобы она встретила какого-нибудь молодого мужчину и сблизилась с ним, потому что только таким образом она смогла бы убедиться, что чувства, которые она питает к Вильчур, ни в коем случае не выдержат испытания временем.

К счастью, приезд Кольского предоставил Вильчур возможность избежать сложностей. Ситуация складывалась наилучшим образом, и Вильчур не сомневался, что испытание, которому подвергал Люцию, оставляя ее на три недели наедине с Кольским, будет результативным. Существовали два варианта: или Люция останется прежней, и тогда у Вильчура будет доказательство постоянства ее чувств, или дружба, которой они были связаны с Кольским, приобретет иной тон и иную окраску, углубится, укрепится, словом, станет тем, что люди называют любовью.

За этот второй вариант, по мнению профессора Вильчура, выступало многое. Главным его козырем была, безусловно, молодость обоих, общность интересов и пристрастий, а также любовь Кольского. Вильчуру казалось совершенно невероятным, чтобы этот козырь не проявился в создавшейся ситуации, в условиях, когда молодые люди по воле обстоятельств проводят целые дни рядом.

Однако было бы ошибочным думать, что Вильчур возвращался домой в хорошем расположении духа. Он действительно предвидел, что должен будет расстаться с Люцией, что вынужден будет отказаться от всех надежд, и это не радовало его. Он считал, что выполняет свой долг, поступает порядочно, но знал, что этим поступком захлопывает последнюю главу своей личной жизни, что осознанно и окончательно отказывается от своего собственного счастья.

На станции в Людвикове у одного из хозяев в Радолишках он нашел свободных лошадей. Тощая лошаденка волочилась нога за ногу. Когда он подъезжал к мельнице, уже спускались сумерки. На перекрестке дорог он расплатился с хозяином и, взяв чемодан, направился

пешком в больницу. Двери были открыты, и он вошел. В сенях никого не было. Во всем доме царил тишина, и звук его шагов раздавался особенно четко. Вдруг из палаты послышался голос Донки:

– Эй, кто там?

– Как дела, Донка? Это я.

– ЕзусМарья!- ответил ему радостный возглас.- Пан профессор вернулся!

Радостная и взволнованная Донка выбежала в сени. Поздоровавшись, она помогла ему снять пальто и тут же взялась за приготовление чая, безумолку разговаривая.

– А где же панна Люция?- спросил Вильчур.

– На прогулке. Каждый день они с доктором Кольским гуляют и возвращаются только к ужину. Очень далеко ходят, иногда даже до Вицкун.

– Ну, а как тут доктор Кольский, не скучает?

Донка рассмеялась.

– Где уж ему тут скучать! Я думаю, что он бы тут и год просидел охотно.

– Он очень милый человек,- заметил Вильчур внешне безразличным тоном.- А как он тебе нравится, Донка?

Девушка пожала плечами.

– А почему он мне должен нравиться или не нравиться? Разве он для меня? У меня мой Василь, и другие мне не нужны, а если кому-то мерещится, что в доктора глазами стреляю, так это неправда.

– А кому это мерещится?- с интересом спросил Вильчур.- Василию?

– Не Василию, а панне Люции.

– Откуда же ты знаешь, что ей так мерещится?

– Потому что она меня однажды так ругала, даже грозилась пану профессору пожаловаться, будто я флиртую с паном доктором. Очень он мне нужен, пусть он ей остается. Я не для него, а он не для меня, но я первый раз слышу, чтобы нельзя было посмеяться. Вы тоже со мной иногда шутите.

Вильчур кашлянул и задумчиво сказал:

– Разумеется, можно.

– Вот именно. Я и раньше знала, что вы не будете на меня сердиться.

– Дорогая девочка, я никогда ни на кого не сержусь,- вздохнул Вильчур, усаживаясь за приготовленный чай.- Ну, а что здесь еще нового? У Прокопа все здоровы?

– А что им сделается? Дядя каждый день спрашивает меня, нет ли сообщения о вашем приезде.

– Приходит сюда каждый день?

– Сначала приходил, а последнее время чего-то на панну Люцию смотрит косо и сюда не заглядывает.

Вильчур удивился.

– А почему смотрит косо?

– Потому что он доктора Кольского не любит. Говорит, что неизвестно зачем пан профессор разрешил ему остаться здесь. Что-то он не пришелся по вкусу дядюшке. Я и сама не знаю почему, он же очень симпатичный человек. Когда на прошлой неделе пан доктор хотел нанять у него лошадей, он не дал ему.

– А зачем же ему нужны были лошади?

– Для езды верхом. Они с панной Люцией часто ездят верхом. Лошадей берут у одного старовера из Нескупы, а седла у шорника Войдылы из городка. Вот они лежат,- она показала на угол сеней.

Вильчур посмотрел и кивнул головой.

– Действительно лежат.

– А сейчас, я думаю, доктору надо будет возвращаться в Варшаву, потому что и места здесь нет для него. Разве что если бы спал в сенях или в операционной. Видно, и из именин у них ничего не получится,- не без удовольствия закончила Донка.

– Из каких именин?

– Из именин пани Павлицкой. Они собираются ехать в ее имение послезавтра. Пани Павлицкая была здесь сама и пригласила их еще в понедельник. Там будет большой бал.

Панна Люция даже шьет себе новое платье, такое голубое, украшенное кружевами. Эх, если бы я могла себе такое сделать!

Профессор выпил чай и сидел молча. Донка кружилась по комнате и, взглянув в окно, воскликнула:

– Вот, уже возвращаются! Что-то удивительно рано сегодня. Посмотрите, пан профессор, перелезают через забор.

Вильчур подошел к окну. И действительно, через забор, разделяющий тракт и поле, перелезал Кольский. Он спрыгнул и протянул руки, помогая Люции. Их разговор не был слышен, но было видно, что им хорошо и весело. Улыбающееся лицо Люции свидетельствовало о хорошем настроении. Глядя в глаза друг другу, рука об руку они шли к дому. Они приблизились, и сейчас уже отчетливо был слышен их смех.

Вильчур отпрянул от окна. У него уже не было никаких сомнений в результатах приготовленного им испытания. Охотнее всего он закрылся бы сейчас у себя, чтобы не видеть их, однако это было уже невозможно.

Дверь открылась, и первой вошла Люция, а за ней Кольский. На мгновение они замерли при виде Вильчура. Люция воскликнула:

– Профессор, вы вернулись!

Вильчур заставил себя улыбнуться.

– Как поживаете, мои дорогие?

Несмотря на сердечность, при встрече ощущалась какая-то общая неловкость. Когда сели ужинать, Вильчур очень подробно рассказывал, чем занимался в Вильно, об отношениях в медицинском мире, а когда эта тема исчерпалась, он приступил к пространному описанию операции Добранецкого.

Сразу же после ужина Вильчур обратился к Кольскому:

– Я буду вам признателен, дорогой коллега, если вы останетесь еще на несколько дней. Я не потревожу вас, а сам устроюсь в операционной.

– О, я никогда на это не соглашусь, пан профессор,- неловко ответил Кольский. Я и так не знаю, не доставляю ли хлопот своим пребыванием, но уж ни в коем случае не смогу больше занимать вашу комнату. Мне в операционной будет очень удобно.

После того как постель для Кольского была готова и вещи его перенесены, профессор, ссылаясь на усталость после дороги, попрощался и пошел отдыхать.

По полосе света, до поздней ночи падавшей из окна амбулатории, он мог догадываться, что Люция и Кольский не пошли спать, а разговаривали.

Разговаривают о чем?.. Уже договорились? Приняла ли Люция его предложение?.. Если так, то сейчас обсуждают, как ей освободиться от обязательств по отношению к старому добродушному профессору, каким образом сообщить ему о перемене своих чувств...

Все это показалось Вильчуру неправдоподобным. Хотя то, что он застал здесь, явно свидетельствовало о сближении Люции и Кольского, он не мог представить себе, что эта девушка с сильным и решительным характером отступила, отказалась от своих обязательств. Следовало скорее ожидать чего-то прямо противоположного. Вероятно, Люция, даже любя Кольского, не захочет признаться в этом, не захочет даже сама осознать это. Она будет считать своей святой обязанностью не изменить своего решения, выполнить обещание, ничем не выдать перемены, которая в ней произошла. Вильчур был почти уверен в этом.

Закрыв глаза, лежа в темноте, он анализировал поведение Люции. Несомненно, она была смущена его приездом, но встретила его с той же сердечностью, как и прежде. Позже на протяжении всего вечера держалась несколько скованно, однако не избегала его взгляда и спрашивала обо всем с такой же заинтересованностью, как всегда. И не было ничего, что бы насторожило Вильчура, разве что только то, что за все время Люция ни разу не обратилась к Кольскому. Кольский тоже обращался только к профессору. Казалось, они не замечали друг друга, что так контрастировало с их недавней веселостью, пока они еще не знали о его возвращении.

Он вспомнил о седлах, лежащих в углу сеней. Конечно, они ездят верхом. Зимой будут ездить на лыжах или кататься на коньках, летом отправятся в хоры. Они молоды, у них общие привязанности и достаточно физических сил для их реализации.

Уже пропели петухи в саду Прокопа Мельника, когда Вильчур уснул. Завтракали, как обычно, все вместе в комнате Люции. Напряжение не спало, и только Емел говорил без умолку, к удовольствию всех остальных, которые благодаря этому могли молчать.

Возвращаясь к операции Добранецкого, он рассуждал:

– Ты удалил мозговую опухоль, далинг. А подумал ли ты над тем, что, собственно говоря, весь наш мозг, кора головного мозга, содержащая высшие органы системы или просто духа, является самым опасным новообразованием, каким природа наполнила наши черепа? И если я не ошибаюсь, то именно там находится очаг мысли – самой ненужной и самой опасной вещи на свете. Представь себе, какой прекрасной была бы жизнь, хозяин, если бы мы не думали, а покорно исполняли функции возрождения и размножения. Как бы мы были счастливы, если бы не повторяли за Картезием: "Думай ради существования". Гармония природы извращена нашим мышлением, ведь в природе все целесообразно. С момента появления в ней человеческого разума мы убедились, что не знаем, зачем этот разум нам нужен. Если бы мы остались пещерным зверьем, было бы очевидно, что мы являемся только одной из форм обмена веществ, что наша задача за определенное количество лет нашего жалкого существования – вдохнуть определенное количество кислорода из воздуха, воды из ручейка, растительной и животной пищи, чтобы оставить определенное количество угольной кислоты, живописно разбросанных по земле экскрементов и наконец собственный труп. Все в порядке. В цепи обмена мы выполняем свою роль, но что с разумом? А что с "Илиадой"? Что с "Гамлетом"? Что с биномом Ньютона, с теорией относительности и с квантами Планка? На кой черт все это? К чему это ведет? Если вы скажете мне, дамы и господа, что благодаря этому растет цивилизация, а пропорционально ей увеличивается естественный прирост гомо сапиенс, то спрошу я вас, запланировано ли было природой-матерью чрезмерное удобрение земли теми же экскрементами и падалью? Это может расстроить всю систему и привести к непредвиденным катастрофам.

Ораторствование Емела прервал приезд первых пациентов, и три врача приступили к работе. Только около трех в больнице вновь воцарилась тишина. Воспользовавшись тем, что Люция в больничной палате еще делала перевязки, Вильчур пригласил Кольского в свою комнату и, угощая его папиросой, спросил:

– Ну как, коллега? Не проклинаете меня за то, что я заточил вас здесь надолго?

– Ну что вы, пан профессор! Это был для меня настоящий отдых.

– Я слышал, что у вас в Варшаве очень много работы. Ваша практика все увеличивается. Я искренне рад. После возвращения вас ждет еще больше работы. Садитесь.

– Спасибо,- сказал Кольский, усаживаясь на табурете.

– И доходы ваши тоже растут?

– Я не жалуясь.

– Я только одного не понимаю,- задумчиво продолжал Вильчур,- почему вы в холостяках ходите? Вам нужно жениться. Это нельзя откладывать. Я по собственному опыту знаю. Кольский покраснел.

– К сожалению, это невозможно.

Вильчур поднял брови.

– Так уж и невозможно?.. Извините меня, коллега, что вмешиваюсь в ваши личные дела, но я думаю, что мне позволяет это наше давнее знакомство и мой возраст. Не можете ли вы мне сказать, на чем основаны ваши выводы?

Кольский ответил не сразу:

– Я люблю кого-то...

– Ну, это, пожалуй, самое незначительное препятствие,- улыбнулся Вильчур.

– Женщина, которую я люблю, несвободна,- объяснил Кольский.

– Ах, так?.. Замужем?

– Нет, но обручена с другим.

– Это действительно грустно. И она любит того другого?

– По крайней мере, так говорит.

– Но к вам, коллега, не испытывает чувства неприязни?

– О нет,- поспешно возразил Кольский.

Вильчур присматривался к нему с улыбкой.

– Странная вещь, коллега. На мой взгляд, вы не выглядите недотепой, а ведете себя как робкая барышня. С женщинами надо круто, коллега, решительно, по-мужски. Если вы нравитесь ей, то смело вперед. Помните, не стоит пугаться каких-то препятствий, порою они кажутся слишком угрожающими. Бывает, перед нами воздвигнута скала и кажется, что нам ее не преодолеть, но достаточно лишь немного предприимчивости и усилия, чтобы покорить ее вершину.

Кольский нервно перебирал пальцы. Вначале ему казалось, что профессор смеется над ним. Потом ему пришла в голову мысль, что он хочет что-то выпытать у него. А теперь уж и сам не знал, что ему думать.

– Да-да,- говорил Вильчур.- О женитьбе, коллега, надо думать вовремя и ковать железо, пока горячо. Человек не успеет оглянуться, как состарится. Сколько вам лет?

– Тридцать, пан профессор.

– Ну вот, видите, самое время. Когда я: женился, мне уже было слишком много. У нас с женой была слишком большая разница в возрасте. И, разумеется, такой брак не мог быть счастливым.

Кольский снова покраснел и широко раскрыл глаза. Неужели профессор хотел дать понять ему, что не думает о браке с Люцией?

Вильчур продолжал:

– Конечно, сам по себе возраст не столь важен и не о сексуальных проблемах идет речь. Вы же хорошо знаете, что здесь не все зависит от возраста, здесь другое. Прежде всего любовь. Но необходима и общность интересов, привязанностей. Они должны быть в той или иной степени похожими, чтобы быть с женщиной счастливым и чтобы дать ей счастье. Самая большая ошибка – жениться на девушке моложе себя более чем на десять лет.

Кольский перевел дыхание и спросил:

– Пан профессор, вы это серьезно?

– Более чем серьезно, коллега. И не медлите, потому что кто-нибудь вас обойдет. И не бойтесь соперника, за женщину нужно бороться.

Это не запеченный голубь, который сам упадет вам в рот. А когда вы добьетесь ее, постарайтесь уделять ей времени больше, чем своей работе. Это очень важно. В этом я тоже убедился на собственном горьком опыте. Когда-нибудь, если вы захотите навестить меня здесь, я расскажу вам эту историю, потому что не сомневаюсь, что летом вы заглянете сюда хотя бы на несколько дней.

– С большим удовольствием, пан профессор,- поклонился смущенный Кольский.

В комнату вошла Люция. Она уже сняла халат. На ней было темное шерстяное платье, а в руках она держала какое-то рукоделие.

– Хо-хо, панна Люция,- обратился к ней Вильчур.- В воздухе запахло каким-то праздником. Держу пари, что изготавливается новое платье.

– Откуда вы знаете?- удивилась Люция.

– Ясновидение!- подняв палец вверх, таинственно ответил Вильчур.- Разве напрасно считают меня сельчане волшебником? Ясновидение!

Он насупил брови и прищурил глаза.

– Сейчас, сейчас... Уже вижу... Танцующие пары... Оркестр... Вот хозяйка дома... А вот и ее муж... О Боже! Это доктор Павлицкий!

Люция и Кольский обменялись удивленными взглядами. Наконец Люция воскликнула со смехом:

– Ну, конечно! Профессор, должно быть, встретил в Радолишках Павлицкого и узнал от него о приглашении на бал.

Вильчур настойчиво замахал руками.

– Не прерывайте, у меня видение: во-первых, это не Радолишки. Вижу, вижу... Это имение... Бал в деревне... Вот какие-то тосты... Да, поднимают тост за здоровье хозяйки... Ее именины... Я вижу вас... А рядом доктора Кольского... Вы как бы в прозрачном облаке... Да... Это тюль... Голубой тюль... И все платье голубое...

– Нет, это действительно невероятно! Откуда вам известно, что платье в самом деле будет голубым? Не из этого же пояса, который я делаю, ведь он же черный. Профессор, не интригуйте уж нас дольше!

Вильчур строго посмотрел на нее.

– Я вижу, что вы осмеливаетесь не верить в мои врожденные способности.

– Осмеливаюсь,- кивнула головой Люция.

– Ах, так, тогда я больше не буду вам предсказывать.

– Подскажите только еще нам, не видите ли вы на этом балу известного хирурга, профессора Рафала Вильчура?

Вильчур энергично запротестовал движением головы.

– Решительно не вижу. Его пышные формы предстают пред моими очами, удобно распростертыми вот на этой кровати и погруженными в крепкий сон.

– В таком случае мы тоже не поедим,- рассудила Люция.

– Даже не думайте! Если вы не поедете, я буду считать это личным оскорблением. Я убедился, что своим возвращением перечеркнул ваши приятные планы. Кто знает, не сбегу ли я поэтому обратно в Вильно?

После кратких пререканий Люция согласилась отправиться на бал к Павлицким. В сущности, ей этого очень хотелось. Она знала, что встретит там Юрковского, а именно перед ним хотелось показаться в обществе Кольского, чтобы доказать ему, что у нее есть и молодые и красивые поклонники. И если она выбрала Вильчура, то, очевидно, потому, что профессора она ценит значительно выше самых красивых и самых молодых.

И хотя вопрос был решен, в момент отъезда Люция почувствовала угрызение совести и чуть было не отказалась от бала. Не поступила так, возможно, лишь потому, что профессор, казалось, не переживал оттого, что предстоящий вечер ему придется провести в одиночестве. (Емел отправился в корчму и не обещал вернуться быстро.) Наоборот, казалось, что он даже доволен тем, что у него будет время для себя. Весело шутя, он проводил их до брочки.

Однако из одиночества ничего не вышло. Сразу же после отъезда Люции и Кольского пришел Прокоп. Как обычно, молча поздоровался и вошел за Вильчуrom. Когда они уже сели в его комнате, Прокоп спросил:

– И что там на белом свете слышно?

– Как всегда,- кивнул головой Вильчур.- Грызутся люди за кусок хлеба, как голодные псы за кость, загнанные, одурманенные своими делами. Ничего нового на белом свете.

– Однако же долго тебя не было,- заметил Прокоп.- А это нехорошо.

– Почему нехорошо?- Вильчур внимательно взглянул на него.

– Потому что, видишь ли, по моему мнению, это так: если у кого-то что-нибудь есть, то лучше всегда присматривать. Избу одну оставишь, дверь на замок не закроешь, так обкрадут тебя. Местные, известно, не тронут, но мало ли разных бродяг по земле волочится? Не успеешь оглянуться, как все вынесут. Вильчур покачал головой.

– Мудрено говоришь, Прокоп, так мудрено, что и понять не могу. Я вот приехал, и все у меня на месте. Скажи прямо, что у тебя в голове.

– А, что тут говорить,- буркнул мельник и внимательно занялся скручиванием папиросы.

– Я застал здесь все на месте,- продолжал Вильчур.- Все так, как должно быть. Ни с кем ничего не случилось, больные досмотрены.

– И не только больные...

– Что это значит?

Прокоп нахмурил брови и свободной рукой несколько раз провел по своей седой бороде.

– А я тебе вот что скажу: ты этого молодого докторишку гони в шею, не нужен он здесь. Посидел три недели, а то и больше и довольно. Пусть едет к черту. Покрутился тут и хватит. Я думал, что, как вернешься, сразу его прогонишь, но ты слишком мягкий человек. Еще верхом тут будет ездить и всякое такое... Пусть едет туда, откуда приехал. Не было его тут и хорошо было. Ты его по шее и вон! Вот что!

Старик даже запыхался от возбуждения, а когда закончил, то еще что-то ворчал себе под нос несколько минут.

Вильчур притворно удивился.

– Ушам своим не верю. Доктора Кольского я знаю давно. Это очень хороший доктор и милый человек. Я ни в чем не могу его упрекнуть. Неужели за время моего отсутствия что-нибудь плохое совершил?

Прокоп пожал плечами.

– Плохое не плохое. Но ты бы сделал лучше, если бы не оставлял его здесь.

– Люди, которых он лечил, совсем на него не жаловались...

Прокоп махнул рукой.

– Лечение лечением, а только он на здоровых смотрит больше, чем на больных. Я думал, что ты сам это увидишь и положишь этому конец, а ты их еще на какие-то вечеринки вместе посылаешь.

Вильчур заставил себя рассмеяться и похлопал Прокопа по плечу.

– А что же мне делать, старый друг? Они молоды, оба молодые, пусть натавнуются. Для нас с тобой беседа и теплая печь, а для них – гулянье. Вот и все в порядке.

Прокоп покрутил головой.

– Странные вещи говоришь. Я бы своей женщине, а особенно если бы она была молодой, не позволил бы этого.

– Своей?..- Вильчур махнул рукой.- Друг мой, а может ли быть своя женщина? Своей может быть изба, куртка, корова, но женщина?.. Ведь она тоже думает и чувствует так же, как и я, имеет те же права, что и я. Держать ее насильно? Так это же тюрьма. И какой же в том смысл, что она, вопреки своему сердцу, сидит с тобой, а думает только о том, как бы вырваться, и к тому же проклинает свою судьбу?

– Есть такое Божье право,- сурово сказал Прокоп.

– Эх, приятель, вот если бы этого права придерживались, то следовало бы хорошо подумать, прежде чем женщина свяжется с тобой по этому праву. Этот закон будет иметь силу лишь в том случае, когда подтвердит решение двух сердец.

Прокоп задумался и сказал:

– А я думал, что вы уже решили.

– Слава Богу, не было еще решения,- с грустью ответил Вильчур и перевел разговор на другую тему, давая тем самым понять Прокопу, что обсуждать затронутую тему больше не хочет.

Тем временем в гостеприимном доме семейства Павлицких сердечно и радушно встречали гостей. Люция не ошиблась: пан Юрковский действительно был поражен, что она приехала не с Вильчуром. Он внимательно присматривался к Кольскому, особенно в то время, когда Люция танцевала с ним. Сам пан Юрковский демонстративно не танцевал, зато часто навещал буфет, а затем вновь возвращался в гостиную и подпирал дверной косяк.

Чаще всего Люция танцевала с Кольским. Он был прекрасным партнером, а кроме того, в тот день еще более милым, чем обычно. Он совершенно избавился от своей задумчивости, был весел, доволен, более того – оставлял впечатление человека, который с трудом скрывает какую-то удивительно радостную тайну. Люция чувствовала себя превосходно. Ее не смутила даже случайно услышанная фраза какого-то пожилого человека, который, указывая своей знакомой даме на Люцию и Кольского, сказал, подумав, довольно громко:

– Посмотри, какая пара, как они подходят друг другу.

Вскоре после ужина пан Юрковский пригласил Люцию танцевать. У нее, разумеется, не было повода, чтобы отказать ему. Оказалось, однако, что поступила она необдуманно. Он уже прилично выпил, так как сразу же, не успев сделать и одного круга, с откровенным умыслом спросил:

– Ну, и как же там профессор Вильчур? Вы оставили его дома?

– Профессор чувствовал себя уставшим,- ответила она.- Он не любит шумных развлечений.

– Однако нашел для этих развлечений подходящего для себя заместителя...

Люция молча пропустила это замечание.

– И заместитель не чувствует себя, по крайней мере, озабоченным своей миссией.

Профессор, может быть, не был бы этим доволен, как вы думаете?

В его голосе прозвучала откровенная ирония. Люция слегка пожала плечами и, желая сменить тему, сказала:

– Доктор Кольский – ученик и друг профессора. А почему вы не танцуете?

– О, я не танцую потому, что передо мной такое зрелище, которого я еще в жизни не видел. Я должен присматриваться, чтобы на будущее знать...

– Что знать? - удивилась Люция.

– Да знать, как выглядит влюбленная женщина. Вы же не сводите глаз с этого Кольского, а он смотрит на вас как кот на сало. Черт возьми! Глаз оторвать друг от друга не могут! И что же вы мне говорили о профессоре, когда вы влюблены в этого докторишку?

Люция чувствовала, что бледнеет. Слова Юрковского были настолько неожиданными и настолько поразили ее, что она даже не подумала о том, как далеко преступает Юрковский нормы приличия, вмешиваясь в ее личные дела.

– Вы ошибаетесь,- ответила она.- С доктором Кольским меня связывает работа и старая дружба и ничего более.

– О-ля-ля! Ничего себе коллеги! Вы же полыхаете рядом с ним, слепой бы заметил!

Собственно, вы даже можете думать, что я говорю это из чувства ревности. Пусть и так. Я ревнивый, но ревность не может настолько заслонить мне глаза, чтобы я не заметил, что вы любите его. Не понимаю только, зачем вы меня тогда в Ковалева обманули, говоря о профессоре? А может быть, профессор для брака, а этот молодой доктор для дружбы?.. Ничего себе, хорошенькая шуточка!

Люция пришла в себя.

– Вы пьяны. Будьте любезны, проводите меня на место.

– Разумеется, я провожу вас. Он там уже ждет, истосковавшийся... Как же можно отрывать вас настолько от любимого!

Он остановился возле Кольского и, галантно кланяясь Люции, добавил:

– Пожалуйста, возвращаю вам одолженное сокровище...

Кольский, совершенно не догадываясь, что произошло, ответил с улыбкой:

– Немного сегодня таких, кто так добросовестно возвращает взятые в долг сокровища. Так добросовестно и так быстро...

Юрковский снова с преувеличенной галантностью поклонился.

– Это решение самого сокровища, которое не могло уже больше выдержать без хозяина.

Сказав это, он повернулся и вышел из гостиной. Только сейчас Кольский обратил внимание на взволнованное лицо Люции.

– Что случилось, пани Люция? Что с вами? – спросил он обеспокоенно.

Она покачала головой.

– Да ничего, ничего. Здесь душно,- ответила она.- А в довершение этот пан был пьян и говорил глупости.

Кровь бросилась в лицо Кольскому.

– Но, я надеюсь, он не оскорбил вас?!

– Нет-нет, Боже упаси! Давайте выйдем отсюда.

Он поспешно согласился.

– Сейчас поищем комнату, где побольше воздуха. Вы так бледны...

В галерее они встретили Павлицкого, который их остановил.

– Устали танцевать?

– Нет,- пояснил Кольский.- Панна Люция не совсем хорошо себя чувствует и хотела бы немного отдохнуть.

– Отдохнуть? К вашим услугам,- пригласил Павлицкий.- Я провожу вас в комнату жены. Вы даже сможете прилечь на диван.

– Со мною все в порядке,- протестовала Люция.

Однако отказываться было неловко, и Павлицкий проводил их в большую комнату, которая служила чем-то средним между спальней и кабинетом. На столике горела лампа. Здесь никого не было.

– Здесь вы отдохнете и наберетесь сил для дальнейших развлечений,- сказал Павлицкий.- И прошу извинить меня, но я должен вернуться к гостям.

– Большое спасибо,- кивнул головой Кольский, а когда дверь за Павлицким закрылась, обратился к Люции:

– Может быть, вы бы на самом деле прилегли на минутку?

Люция покачала головой и отвернулась: она не могла на него смотреть. Резкие слова Юрковского, точно ударом кулака, разнесли в ней все так мучительно, так старательно и точно возведенные заграждения, за которыми ей хотелось укрыться, спрятать от самой себя растущее в ней чувство.

– Это неправда, неправда... – лихорадочно повторяла она про себя, но голословное отрицание не могло уже разубедить ее в том, что стало ясно, поразительно ясно.

Как отчетливо представилось ей сейчас все, все! С самого начала. Значит, так. Она

ревновала его к Добраниецкой, а позднее даже к этой юной Донке. Радовалась каждому дню

пробытия Кольского в больнице и боялась, да, боялась минуты его отъезда. А возвращение профессора... Это подло, низко... Возвращение профессора испугало ее. Сколько же усилий она затратила, чтобы убедить себя в том, что она по-прежнему любит Вильчур и по-прежнему хочет стать его женой! С каким упорством она закрывала глаза на его старость! Как была она благодарна ему за то, что не позволил Кольскому сразу же уехать! Она прятала это в себе, прятала от себя, но, вероятно, не смогла скрыть от других. В ней все обмирало при мысли, что и профессор мог заметить это. Как она презирала себя! Она продемонстрировала ничтожество своей души, всю слабость характера. Она поддалась чувству, которое должна была в себе победить, которое могла вовремя искоренить. Как низко и недостойно было позволить ему развиваться! Заслоняя его разными предложениями, она позволила расцвести ему в своем сердце, в том сердце, которое было обещано другому. – Я обещала и должна обещание выполнить, даже если бы земля рушилась! Даже если бы я должна была умереть!

Эти слова все с большей выразительностью запечатлевались в ее мозгу. Эх, если бы речь шла не о профессоре, а о ком-нибудь другом, например о Юрковском. Тогда она бы вовсе не колебалась. Она ведь знала, как невыносимо одинок Вильчур. Бросить его было равносильно предательству. Не сдержать данное ему обещание было бы преступлением. – Я должна с ним остаться и останусь... останусь!..

Это ее последнее слово, слово, которого уже ничто не изменит. Она повернулась и взглянула на Кольского. Сердце ее судорожно сжалось, и она произнесла дрожащим голосом:

– Вы должны как можно быстрее, завтра же, возвращаться в Варшаву. Обязательно.

– Почему, панна Люция? Что случилось? – тревожно спросил он.

Она покачала головой.

– Ничего, ничего, но если вы питаете ко мне хоть самую малость добрых чувств, то уедете сразу.

– Но почему?

Люция уже не смогла справиться с собой. Слезы навернулись на глаза, из груди вырвалось сдавленное рыдание. Пораженный Кольский схватил ее в объятия и сильно прижал к себе.

– Любимая! – повторял он. – Успокойся, любимая!

Однако она не могла подавить рыдания. Она ощущала поддерживающие ее руки, но не имела

сил, чтобы вырваться из них. Она чувствовала на волосах его нежные, сердечные и такие желанные поцелуи, и тем явственнее отзывалось в ней сознание того, что она должна отказаться от них навсегда, до конца жизни.

Кольский усадил Люцию в кресло и, став на колени, самыми ласковыми словами умолял успокоиться. Постепенно она приходила в себя. Он вытирал ей глаза и щеки своим платком.

– Я не оставлю тебя никогда, родная, – говорил он. – Я не отдам тебя никому.

– Янек... Янек, – прошептала она и обвила его шею руками.

Во внезапном порыве он привлек ее к себе.

– Ты любишь меня! Я знаю, что любишь!

– Тебя, только тебя!

– Вот видишь, какое это счастье! Какое это большое счастье, – говорил он голосом, охрипшим от волнения. – Мы поженимся и уже не расстанемся никогда! Ничто не разлучит нас, дорогая моя и единственная!..

Люция, кусая губы, оттолкнула его от себя и покачала головой.

– Нет, Янек... Нет... Я люблю тебя, но ведь ты же хорошо знаешь, что я несвободна, что не могу распоряжаться собой, и мы должны смириться с этим. И ничего тут не поделаешь... Он смотрел на нее со страхом.

– Как я должен понимать, что ты несвободна? Что ты этим хочешь сказать?

– Что у меня есть обязательства, от которых я не могу отказаться.

Он взял ее за локоть.

– Люция, это значит, что ты его... что тебя связывает с ним...

Она поняла вопрос, который он не мог выдать из себя, и живо запротестовала:

– Ах, нет, Боже упаси! Но есть обязательства во сто крат сильнее того...

– Никакие обязательства,- вспыхнул он,- не могут быть сильнее настоящего чувства. Она возразила движением головы.

– Это слишком простой подход. Нет, я не могу так. Я не смогла бы начать разговор с ним об этом. Эти слова не смогли бы произнести мои уста. Достаточно только подумать о том, какой трагичной была у этого человека жизнь, сколько обид совсем незаслуженно обрушилось на него, сколько несчастий встретило его, этого добрейшего человека с чутким сердцем, человека удивительной душевной чистоты. Нет, Янек, я полюбила тебя, к сожалению, слишком поздно. И сейчас я уже не могу ничего сделать. Я бы презирала себя, пополнив компанию тех людей, которые обидели его. Нет, Янек, я не смогла бы жить, сознавая, что совершила подлость... Мне тяжело, видит Бог, как тяжело, но этому не сможешь.

– Люция,- заговорил он, но она прервала его.

– Не будем больше говорить об этом. Зачем напрасно терзать себя?

– Но выслушай меня. Я совершенно убежден, я знаю о том, что профессор, по крайней мере, не собирается требовать, чтобы ты выполнила обещание.

– Откуда ты можешь знать об этом? - спросила она удивленно.

– Он сам мне об этом сказал.

– Как это?.. Ты говорил с ним об этом?! Это невозможно!

– Не об этом. Но я убежден в том, что он умышленно хотел дать мне понять, чтобы я не терял надежды вернуть тебя.

– Хотел дать понять... - сказала она с печальной улыбкой.

Кольский потерял терпение.

– Ну, так я повторю тебе наш разговор. Ни с того ни с сего он спросил меня, сколько мне лет и почему я не женюсь. А потом начал уговаривать меня жениться и яснее ясного сказал, что не нужно жениться в старшем возрасте и что нельзя жениться на женщине значительно моложе себя. Это совершенно явно прозвучало как предложение: если любишь ее, то увози; с моей стороны не встретишь никаких препятствий, так как я на ней не женюсь.

На какое-то мгновение в глазах Люции сверкнула радость. Она не сомневалась в правдивости слов Кольского. Наверняка Вильчур сказал ему об этом и сказал, возможно, умышленно. Однако это не развязывало рук Люции, не открывало свободную дорогу.

Люция поняла ситуацию. Профессор по возвращении пришел к выводу, что за время его отсутствия ее чувства претерпели изменения. Так же, как и пан Юрковский, как и тот пожилой мужчина, который назвал ее и Кольского подходящей парой, Вильчур увидел ее любовь к Кольскому. И этот благородный человек, жизнь которого была сплошной полосой самопожертвований на благо других, и на этот раз решил поступить так же. Новое отречение, и еще одна болезненная страница в дневнике жизни. Но она не могла, просто не имела права подписать эту страницу. Ни за что на свете! Конечно, он вправе сделать благородный и, может быть, самый искренний жест отречения, но она была бы существом без уважения и совести, если бы приняла этот дар от него, от человека, который уже раздал все, у которого отняли все. Она с ним и должна с ним остаться.

Она знала, как нужно поступить. Как можно быстрее следовало отправить Кольского в Варшаву, справиться со своими нервами и каждым словом, каждым жестом день за днем доказывать Вильчуру, что она не изменилась, что, как и прежде, единственное ее желание – стать его женой.

Она встала и, поправляя перед зеркалом волосы, спокойно сказала:

– Нет, пан Янек. Это нисколько не меняет ситуации.

– Как это не меняет? - удивился он.- Ведь он откровенно возвращает вам свободу. Люция, что вы говорите?

– Возвращает, но почему? Какими мотивами он руководствуется?

– Это не имеет значения.

– Имеет. Он отказывается только потому, что считает, что я вас... люблю.

– Но ведь это же правда!

– Но если бы он не догадывался об этом, я уверена, не отказался бы от меня.

– Однако догадался,- заметил Кольский,- и все для него стало ясно. Что же вы сделаете?

– Я постараюсь убедить его, что он ошибается.

Кольский возмутился.

– Это бессмысленно! Это преступление против собственных чувств!

– Еще большим преступлением было бы обречь его на одиночество, растоптать его чувства, лишить его остатков надежды. Нет, пан Янек, вы не можете требовать этого от меня. Если бы я так поступила, то воспоминание об этом отравило бы всю мою жизнь, исковеркало бы каждую минуту нашего счастья. Нет, пан Янек, мы не можем так поступить.

– Ради Бога, панна Люция! А знаете ли вы о том, что, оставаясь с ним, вы раз и навсегда перечеркиваете свое и мое счастье?

Она покачала головой.

– Знаю. Но до сих пор все перечеркивали счастье профессора. Его бросила жена из-за какого-то юнца. Долгие годы он жил в страшной нужде. Им помыкали, его сажали в тюрьму. И наконец, когда к нему вернулась память, он стал мишенью самых омерзительных чудовищ, подлой клеветы, отвратительных интриг. Его лишили дома, работы, вынудили оставить столицу. Даже родная дочь почти забыла его. Нет, пан Янек, нет. Я бы согласилась лучше умереть, чем оказаться среди всех тех, кто за его великодушие, за его безграничную доброту и благородство отплатили ему подлостью. Если вы этого не поймете, то я действительно буду убеждена в том, что у вас черствое сердце, и мы не найдем с вами никогда общего языка.

В ее голосе прозвучала горечь. Кольский опустил голову и после паузы сказал:

– Я понимаю это, как же я могу не понимать? Только смириться с этим я не могу.

В комнату вошел Павлицкий.

– Ну, как же моя дорогая коллега чувствует себя? Не лучше? – участливо спросил он.

– Вы знаете, мне неприятно доставлять вам хлопоты, но, откровенно говоря, не совсем хорошо. По всей вероятности, в последние дни очень много работала.

– Ах, это и моя вина! – воскликнул Павлицкий. – В последние дни забросил я больницу. Торжественно обещаю исправиться. Но очень жаль, что вы чувствуете себя плохо, сейчас будет объявлен котильон.

Люция грустно улыбнулась.

– Мне очень жаль, что не смогу присоединиться. Если вы будете так добры, то я бы попросила распорядиться, чтобы запрягли наших лошадей.

После недолгих препирательств Павлицкий согласился и пошел сделать распоряжение. Четверть часа спустя, укутанные в теплые бурки, они сидели уже в бричке. Ночь была темная. Железные обручи колес стучали по замерзшей земле. Кучер, время от времени помахивая кнутом, непрерывно погонял лошадей, которые и без того шли хорошей рысью. Они не проронили ни слова. Кольский всунул руку в рукав бурки Люции и молча сжимал ее ладонь.

В больнице было темно. Лишь скудный огонек ночной масляной лампы тускло освещал окна больничной палаты. Стараясь ступать как можно тише, они вошли в сени и здесь сняли бурки.

– Спокойной ночи, – Люция протянула руку.

Ему хотелось обнять ее и поцеловать, но она решительным движением отстранилась.

– Нет, не нужно... И уезжайте, пожалуйста, завтра.

Ее шепот звучал, казалось, совершенно естественно, но в глазах стояли слезы.

– Люция, Люция! – Кольский сжал ее руку.

– Спокойной ночи. Возьмите лампу, я попаду к себе и в темноте.

Войдя в комнату, Кольский сел и задумался. Он слишком хорошо знал Люцию, чтобы не сомневаться, что она не поменяет своего решения. Да и выслушав ее аргументы, он понял, что не сумеет ее переубедить. Она совершила безумный поступок: отказавшись от счастья, обрекла его и себя на серую, бесцветную жизнь, на постоянное отчаяние, а он не мог найти достаточно убедительных слов, достаточно красноречивых аргументов, чтобы отговорить ее.

Он так и просидел остаток ночи: курил одну сигарету за другой и думал над этой безнадежной ситуацией. Когда забрезжил рассвет, он встал и начал собирать вещи. Он должен был выполнить просьбу Люции. Собственно, он и сам понимал, что нужно как можно быстрее уехать.

После завтрака он пойдет на мельницу и попросит подвезти его до станции.

Кольский не мог больше оставаться в этой комнате и, набросив пальто, вышел пройтись.

Воздух был морозный, а все вокруг: деревья, заборы, крыши и земля – было покрыто густым серебристым инеем. На востоке в бледной зелени неба загорались первые пурпурные лучи. День обещал быть ясным и морозным. Кольский повернул к прудам. Они еще не замерзли. Только у берегов, на мелководье, как стекло, поблескивала поверхность льда. Он подошел к краю последнего пруда, а когда повернулся, увидел столб дыма над трубой больницы. Вероятно, уже пришла Донка и готовит завтрак.

На крыльце он встретился с профессором.

– Добрый день, коллега,- приветствовал его Вильчур.- Удивительный сегодня восход солнца. Я вижу, что и вы любите ранние прогулки в одиночестве. Я стучался к вам, а потом заглянул. Что это значит? Зачем вы собрали свои вещи?

Кольский, не глядя на него, ответил:

– Я уже должен ехать. Обязательно должен. Я слишком задержался здесь.

– Об этом не может быть и речи. Я не пушу вас. Если речь идет о клинике, то не беспокойтесь, пожалуйста. В конце концов, профессор Добранецкий хоть как-то обязан мне, и если я вас задерживаю, то он не может обижаться, тем более что и по отношению к вам у него неоплаченный серьезный моральный долг.

– Я знаю все это, но, к сожалению, хоть мне здесь так приятно, дольше остаться я не могу.

Вильчур взял его под руку.

– Хорошо, об этом мы поговорим позднее. А сейчас расскажите мне, как вы там веселились вчера у Павлицких. Судя по тому, что вернулись вы рано, там было не слишком весело.

– Напротив,- сказал Кольский.- Собралось много гостей, подали отменный ужин, много танцевали...

Вильчур присмотрелся к нему внимательно.

– А выражение лица у вас, коллега, такое, точно вы не с бала, а с похорон вернулись.

Кольский неловко усмехнулся и сказал:

– Может, вы и правы, профессор.

Вильчур кашлянул. Некоторое время оба молчали. Кольский лихорадочно думал, не лучше ли будет наперекор Люции сейчас же откровенно рассказать профессору о том, что случилось, передать свой разговор с ней и попросить помочь. Дорого ему стоило заставить себя молчать.

Первым заговорил Вильчур:

– Вы посмотрите, как удивительно красиво всходит солнце. Здесь, в пограничных районах, даже поздняя осень необыкновенно прекрасна. В этом живительном воздухе легкие дышат иначе, чем в городе, особенно старые легкие.

Он сделал паузу и потом добавил:

– И хотя у вас они молодые, так легко я вас не отпущу.

– Но, пан профессор...- начал Кольский.

– Не о чем даже говорить,- прервал его Вильчур.- Что это за нарушение субординации? Ну, пойдёмте, там уже, наверное, завтрак готов.

В комнате Люции уже действительно был приготовлен завтрак. Люция наливала молоко в кружки. Донка крутилась вокруг стола.

Люция поздоровалась с Кольским непринужденно, однако выглядела бледной.

– Так как повеселились у Павлицких?- спросил Вильчур, целуя руку Люции.

Она улыбнулась ему в ответ.

– Ах, замечательно, профессор. Портило мне вечер лишь то, что на нем не было вас. Все спрашивали, почему вы не приехали, а хозяйева были искренне огорчены. В самом деле я чувствовала себя счастливой, слыша, как все говорят о вас. На следующей неделе мы должны будем поехать туда обязательно с вами...

Кольский присматривался к Люции с удивлением, которое с трудом скрывал. Она вела себя как кокетка. За завтраком обращалась только к профессору, с улыбкой подавала ему хлеб и масло, много и оживленно говорила.

Когда завтрак был закончен, она безразличным тоном обратилась к Кольскому:

– Вы уже были у Прокопа и попросили лошадей?

– Нет еще,- опуская глаза, ответил Кольский.

– Если вы хотите успеть на поезд, нужно выехать до девяти часов.

– Хорошо, я сейчас пойду на мельницу.

Вильчур кашлянул.

– Коллега Кольский сегодня еще не уедет. Я уговорил его остаться: он должен мне помочь. У нас ведь две серьезные операции, а я сомневаюсь, что Павлицкому после бала захочется приехать к нам. Наверное, он устал и лежит в постели.

На это никто не отреагировал.

В сенях уже ждали пациенты. Их было немного: три бабы, закутанные в толстые платки, один литовец из Бервинт и двое детей с грыжами из Нескупы. Кроме них, был еще рыжий Вита-лис, работник с мельницы, который утром поскользнулся и, падая, вывихнул ногу. До двенадцати часов Вильчур и Люция приняли всех пациентов. Кольский был еще занят в операционной составлением сложного перелома руки одной из пациенток. У нее было слабое сердце, поэтому операцию пришлось проводить без наркоза. Время от времени раздавались крики оперируемой.

Профессор снял халат, помыл руки и сказал:

– Зайдите ко мне сейчас, панна Люция, я покажу вам кое-что.

– Да? Ах, я догадываюсь. Вчера же должна была прийти посылка с закупленными аппаратами.

– Да, посылка действительно пришла, - подтвердил Вильчур, - но, кроме нее, я получил еще кое-что, что-то очень интересное.

– Вы и в самом деле заинтриговали меня.

– Вы знаете, когда я был в Вильно, то познакомился с доктором Юзьвиньским, который преподает в университете. Очень прогрессивный и милый человек. Он уже знал о нашей больнице и заинтересовался ею. Я много рассказывал о нашей работе, и сейчас он прислал мне письмо. Я хочу вам его показать.

Они зашли в комнату Вильчура, и профессор подал Люции сложенный лист бумаги. Она развернула его и прочла:

"Уважаемый профессор и дорогой коллега!

Вчера получил Ваше сообщение и обрадовался, что смогу Вам как-нибудь пригодиться вместе со своими питомцами. Я уже разговаривал с некоторыми из них. Большинство принимают Ваше предложение с энтузиазмом. Работать под Вашим руководством, откровенно говоря, это честь для каждого врача, не говоря уже о начинающих. Я только не совсем согласен с Вами, что следует выбирать кандидатов, имеющих какие-нибудь доходы. Сейчас у меня три кандидата. В первую очередь пришло Вам самого способного из них, доктора Шимона Ясиньского. Это молодой парень из хорошей семьи, трудолюбивый, честный и многообещающий врач. Я уверен, что под Вашей опекой он действительно станет хорошим специалистом. Полугодичный стаж в Вашей клинике будет ему полезен. Через шесть месяцев я пришлю Вам следующего. Я уже разговаривал с деканом, и он, конечно, без всяких возражений согласился засчитать ему практику в Вашей больнице. Вы можете быть уверены, дорогой профессор, что мы помним Вас и не оставим одного без помощи ни на один день. Доктор Ясиньский выезжает послезавтра. Самые сердечные пожелания плодотворной работы.

Искренне Ваш Ф.Юзьвиньский" Люция закончила читать и посмотрела на профессора.

– Как вам это нравится? - спросил Вильчур.

– В принципе... - начала Люция, - в принципе это действительно очень хорошая мысль, но...

– Что но?

– Я не понимаю здесь одного: почему в письме сказано, что не оставят вас одного? Если вы рассказывали там о нашей больнице, наверное, вы вспоминали там и обо мне?

Голос Люции слегка дрогнул. Она предчувствовала, что услышит от Вильчура. Профессор кивнул головой.

– О да! Я не только вспоминал. Вашу жертвенность я вознес до небес, дорогая панна Люция. Я не представляю себе лучшей помощи, чем та, которую вы оказывали мне.

Люция закусила губу.

– Почему вы говорите в прошедшем времени?

Вильчур спокойно ответил:

– Потому, панна Люция, что от этой помощи, к сожалению, я должен буду отказаться.

– Профессор!..

– Ведь мы оба понимаем, панна Люция.

Она нахмурила брови.

– Я этого... не понимаю,- убежденно сказала она.- Не понимаю и никогда не пойму. Если вы были довольны мной, а я убеждена в этом, так почему вы хотите избавиться от меня? Профессор! Как вы можете, даже не согласовав со мной, перечеркнуть все наши совместные планы!

Вильчур улыбнулся, а в его глазах мелькнула грусть.

– Не я перечеркнул их. Их перечеркнула судьба, предназначение. А перечеркнуты они оказались потому, что никогда не имели права на существование.

– Это неправда,- запротестовала она.

– Самая правдивая правда,- профессор покачал головой.

– Значит, я докажу вам это.

– Каким образом?

– Самым простым. Я останусь с вами. Останусь навсегда. Клянусь вам, что ничего иного я не желаю, что была бы глубоко несчастной, если бы вы меня сейчас оттолкнули. Я продумала все свое будущее и вижу его только рядом с вами. Не хочу иного, не могу принять иного. Конечно, если вы хотите, чтобы сюда приезжали молодые врачи на практику, я ничего против не имею, но и я тоже останусь. Останусь вашей помощницей, вашей женой. Иначе быть не может.

На лице Люции появился яркий румянец. Ее руки дрожали...

– Я не знаю, что заставило вас изменить решения, принятые уже давно,- сказала она.- А впрочем, и не хочу знать этого. Вероятно, вы поддались каким-то сомнениям. Но вы ошибаетесь, думая, что сможете так легко отказаться от того, на что я имею право.

Вильчур нежно взял ее за руку.

– Панна Люция, давайте поговорим спокойно.

Она вскочила с места.

– Ах, нет, нет! Здесь не о чем говорить. Вы причинили мне боль.

Она хотела отойти, но Вильчур не выпустил ее руки.

– Сядьте, пожалуйста, дорогая панна Люция, и выслушайте меня.

Почти силой он усадил ее снова на стул. Она вся дрожала, а в глазах стояли слезы.

– Я хочу сказать,- говорил он спокойным голосом,- что вы совершаете одну ошибку. В своих расчетах вы абсолютно исключаете мою особу, совершенно не принимаете во внимание, что существую еще и я, что я тоже думаю, чувствую. Вы хотите воспринимать меня как нечто абстрактное, но ведь я же живой человек, очень старый, но все же живой. Почему вы не хотите считаться с тем, что и я имею право голоса?

– Я не понимаю вас. О чем вы?

– Вы хотите остаться. И хотите остаться здесь в качестве моей жены, считая, что я должен быть счастлив. Вы не даете себе отчета в том, что я могу иметь по этому вопросу совершенно противоположное мнение.

– Когда-то...- начала Люция. Вильчур перебил ее:

– Когда-то и я мог так думать, но сегодня у меня иное мнение.

– Почему сегодня?- она смело посмотрела ему в глаза.

– Потому что сегодня я знаю, что вы любите другого.

Губы Люции дрожали. Сердце разрывалось в груди. Однако она справилась с собой и уверенно сказала:

– Я не хочу никого любить, кроме вас и только вас.

Вильчур засмеялся.

– Ах, дорогая панна Люция! Это одна из тех областей, где хотеть не значит мочь, где даже самое большое желание ничуть не поможет. К сожалению, ни один человек не является хозяином своего сердца. Панна Люция, даже тогда, когда вам казалось, что вы любите меня, и тогда я был убежден, что вы неверно оцениваете свои чувства. Я всегда был и буду благодарен вам за ту дружбу, за сердечную привязанность, за безграничную доброту и душевное тепло, которыми вы одаривали меня. Но это была не любовь. Вы сами убедились в этом сейчас, когда полюбили Кольского. Нет-нет, не возражайте. Не нужно это скрывать. Более того, это невозможно скрыть.

Люция покачала головой.

– Это ваши домыслы.

– Нет, панна Люция. Это несомненная правда. А сейчас постарайтесь меня понять, войдите в мое положение. Вопреки своему сердцу, вы хотите остаться со мной. Как вы представляете себе мою роль?.. Вы не считаете, что для меня будет непосильной тяжестью знать, что я оказался преградой на пути к вашему счастью, что вы со мной только потому, что плохо представляете себе чувство долга?.. Ведь у меня не было бы ни дня спокойного, ни ночи. Я чувствовал бы себя обидчиком. Нет, панна Люция, ваше присутствие здесь и ваша жертвенность ничего не принесли бы, кроме зла. И вам, и мне, и Кольскому. Это было бы просто безумием обрекать на страдание троих ради какого-то принципа, который не имеет никакого смысла. Люция плакала, закрыв лицо руками.

– Я не могу вас оставить, не могу.

– И еще я хочу вам сказать,- продолжал Вильчур,- что такая жертвенность с вашей стороны была бы просто оскорбительной для меня. Это означало бы, что вы считаете меня беспомощным стариком, который уже не в состоянии позаботиться о себе. Ваше желание посвятить свою жизнь мне основано на жалости, но я думаю, вы не считаете, что я заслуживаю только жалости...

– Не считаю,- ответила она, сдерживая рыдания.- Но почему вы всегда жертвуете всем? Вильчур пожал плечами.

– Здесь о жертвенности с моей стороны не может быть и речи. Я не отказываюсь от вас, милая Люция, прежде всего потому, что вы не были, не являетесь и не можете быть моей собственностью, не можете, потому что не принадлежите сами себе. Ваше сердце уже собственность другого. Дорогая Люция, я не стану скрывать, что мне здесь будет грустно без вас. Конечно, я часто буду грустить и вспоминать вас, но, по крайней мере, мне будет радостно оттого, что я не стал на пути к вашему счастью, что не обидел вас.

Она все еще не могла успокоиться.

– Зачем он сюда приехал? Зачем приехал?..

– Это как раз очень хорошо. Вы только подумайте, Люция: ведь было бы гораздо хуже, если бы он или кто-нибудь другой появился не сейчас, а через год или два. А это было неизбежно, это рано или поздно должно было произойти. Поэтому лучше, что случилось раньше, лучше и для вас и для меня.

Люция продолжала плакать. Вильчур встал и, глядя ее волосы, говорил:

– Такая уж судьба, дорогая Люция, и не нужно с ней бороться. Покоримся ей. Те годы, которые мне остались, я проведу в тишине и покое, а у вас впереди целая жизнь: муж, дети, собственный дом. Кольский действительно толковый парень, толковый и порядочный. Вам будет хорошо вместе. И чем лучше будет вам, тем радостнее на сердце будет у меня, потому что я люблю вас обоих, а к вам, дорогая девочка, я сохраню самые теплые чувства до конца жизни.

Она схватила его руку и приникла к ней губами. Вильчур не запретил ей и сказал:

– Я надеюсь, что вы будете приезжать сюда, чтобы навестить меня. Это будет для меня настоящий праздник... Ну, а сейчас нужно успокоиться. Все уже позади. Вытрите, пожалуйста, слезы. Сейчас придет Донка, потому что, наверное, уже готов обед. Не нужно перед людьми демонстрировать наши проблемы. Ну, прошу вас, вытрите слезы.

Вильчур молча закурил. Люция постепенно приходила в себя. После долгого молчания она сказала:

– Я не прощу себе этого никогда. Никогда...

– Но чего, дорогая девочка? Этой любви? Этой счастливой любви, которая спасла и вас и меня от неверного шага?.. Мы должны благословить ее. Давайте поговорим сейчас о практических делах. Сейчас Кольский действительно должен возвращаться в Варшаву. Разумно поступите, если поедете вместе. Я думаю, что до вечера вы успеете собраться. А завтра утром выедете.

Люция снова разрыдалась.

– Почему... ну почему вы хотите так быстро избавиться от меня? Вы, наверное, презираете меня?..

– Что за глупости!- возмутился Вильчур.- Как вы можете говорить такие глупости, дорогая Люция! Я просто хочу, чтобы вы как можно быстрее соединились, и думаю, чем быстрее вы уедете, тем лучше будет еще и потому, что и вам, и мне, и Кольскому нужно иметь немного времени, чтобы сжиться с новой ситуацией, чтобы переосмыслить ее... Поезжайте завтра...

– Наверное, у меня разорвется сердце, когда я буду уезжать отсюда!- воскликнула Люция в отчаянии.

Она стояла посреди комнаты вся в слезах и совершенно подавленная. Вильчур обнял ее и привлек к себе.

– Успокойся, дорогая девочка... Тише, тише... И для меня это расставание будет нелегким, но что поделаешь, это необходимость.

В дверь постучали. Донка пришла узнать, можно ли подавать обед. Вильчур попросил ее подождать немного, а сам пошел в амбулаторию, где застал Кольского. Не глядя ему в глаза, профессор сказал:

– Я просил вас, коллега, остаться еще. Вы, наверное, догадались почему.

– Да,- тихо ответил Кольский.

– Панна Люция поедет вместе с вами... Я знаю, что вы любите друг друга, и искренне желаю вам большого счастья...

Он замолчал. Кольский стоял бледный как полотно и тоже не мог выдать из себя ни единого слова.

– Итак, договорились,- сказал после долгой паузы Вильчур,- вы уезжаете завтра утром. Так будет правильнее всего. А сейчас, коллега, позвольте поздравить вас. У вас будет замечательная жена, просто сокровище. Дай вам Бог...

И не смог закончить. Выйдя из комнаты, он возвратился к себе, но Люции уже там не застал. Он тяжело опустился на постель и, подперев голову руками, сидел долго и неподвижно.

В тот день в больнице никто не обедал. Уже смеркалось, когда Люция с помощью Донки начала складывать свои вещи. Ужинали на веранде. Вильчуру пришлось почти силой привести Люцию. У всех было мрачное настроение. Только Емел тянул свои длинные монологи, делая вид, что ничего не замечает. В конце ужина Люция снова разрыдалась и убежала к себе. Всю ночь она не сомкнула глаз. Не спал и Вильчур, а когда вышел утром, то выглядел как после тяжелой болезни.

К восьми часам утра у крыльца больницы остановилась телега, на которую Василь и Кольский стали укладывать вещи Люции. И хотя весть об отъезде Люции еще вчера дошла до мельницы, никто, кроме Василя, который должен был отвезти ее на станцию, не пришел проститься с нею.

Когда уже все было готово, Вильчур еще раз обнял Люцию и пожелал ей счастья. Они оба не могли сдержать слез. Кольский уже сидел на телеге, нетерпеливо поглядывая на часы. Василь помог Люции сесть рядом с Кольским. Сам вскочил на переднее сиденье, взмахнул кнутом над лошадиными спинами, и телега двинулась по дороге в сторону тракта. На крыльце остались Вильчур и Емел. Когда телега уже скрылась за поворотом, Емел сказал:

– Вот и уехали...

– Уехали,- после минутного молчания откликнулся Вильчур.- Все уезжают... Все... И ты уедешь.

Емел покачал головой.

– Не уеду. Останусь. Как хочешь, а я полюбил тебя. Полюбил тебя за то, что ты глупый, император.

Вильчур усмехнулся.

– Глупый...- повторил он.

– Да. А в нынешние времена, когда разум существует лишь для того, чтобы творить зло, что же такое глупость, если не высшее проявление добра? А что же такое добро, если не мудрость? Жизнь становится парадоксом. Может, это и мудро, что ты, вождь, живешь, чтобы приносить счастье другим.

– Может быть, для этого я и был создан,- задумчиво сказал Вильчур.

– Ты живешь для других, а другие – для самих себя. И только я не знаю, для кого и для чего живу... Много лет я ищу ответ, ищу ответ на этот вопрос на дне каждой бутылки. И не нахожу... Наверное, не могу напасть еще на ту единственную. Но не беспокойся! Придет очередь и для нее. Я опрокину ее, и в последнем глотке мне откроется правда...